

ДЖОН
ГОЛСУОРСИ

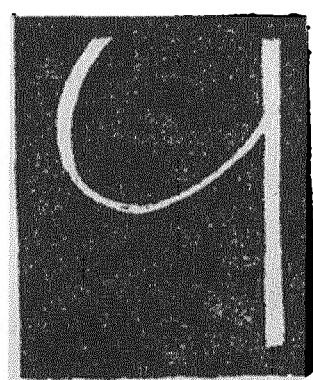
ДЖОН
ДОЛСУОРСИ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТНАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ 11

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» • МОСКВА • 1962

**Переводы с английского
под редакцией
М. А б к и н о й и В. Х и н к н с а.**



Человек из Девона

ЧЕЛОВЕК ИЗ ДЕВОНА

I

Муэ, 20-е июля.

...Здесь тихо, вернее, сонно: тихо на ферме никогда не бывает; к тому же море отсюда всего в четверти мили и, когда погода ветреная, шум его проникает в лощину. До Бриксема четыре мили, до Кингсуэра — пять, но и там ничего примечательного не найдешь. Ферма расположена в укрытом месте, будто в нише, выдолбленной высоко на склоне лощины; за фермой ползут вверх поля, а потом начинается широкий скат. Кажется, будто видно отсюда очень далеко, но чувство это обманчиво, в чем легко убедиться, стоит только пройти немного вперед. Пейзаж типично девонширский: холмы, ложбины, живые изгороди, тропы, то сбегające круто вниз, то взбирающиеся вверх, словно по отвесной стене, перелески, возделанные поля и ручьи, ручьи всюду, где только сумеют пробиться; но склоны обрыва, заросшие дроком и папоротником, еще не тронуты рукой человека. Лощина выходит к песчаной бухте, где с одной стороны встает черный утес, а с другой до самого мыса тянутся розовые скалы — там находится пост береговой охраны. Сейчас, когда наступает страдная пора, все исполнено великолепия: и наливающиеся яблоки и зеленые, слишком уж зеленые, деревья. Погода стоит жаркая, безвет-

репная; кажется, что и море и земля дремлют на солнце. Перед фермой растет с полдюжины сосен, они здесь словно пришельцы из чужой страны, а позади раскинулся фруктовый сад — буйно разросшийся, ухоженный по всем правилам, — о лучшем трудно и мечтать. Дом, длинный, белый, с трехскатной крышей, весь в бурых пятнах, точно врос в землю. Тростниковую крышу перекрывали года два назад — вот и все нововведения; говорят, что дубовой входной двери с железными скобами по меньшей мере лет триста. До потолка рукой можно достать, да и окна вполне могли бы быть побольше; и все же это прелестный уголок прошлого, овеванный запахом яблок, дыма, шиповника, копченой свинины, жимолости, а надо всем этим еще запах старины.

Владельца зовут Джон Форд; ему под семьдесят, а весу в нем семнадцать стоунов¹ — крупный человек, ноги длинные, седая борода торчком, глаза серые, выцветшие, шея короткая, лицо всегда багровое: у него астма. В обращении он очень вежлив и деспотичен. Носит костюм из пестрого твида — кроме воскресных дней, когда надевает черный, — перстень с печаткой и тяжелую золотую цепь. В нем нет ничего низкого или мелкого; подозреваю, что сердце у него доброе, хотя близко он к себе никого не подпускает. Родом он с севера, но всю жизнь провел в Новой Зеландии. Эта девонширская ферма — все его достояние теперь. В Новой Зеландии, на Северном Острове, у него была большая овцеводческая ферма, дело его процветало, дом был всегда открыт для гостей, он делал все, что отвечало его узкому представлению о широте. Беда пришла сразу, как, в точности не знаю. Кажется, его сын, потеряв состояние на торфе, не посмел после этого взглянуть отцу в глаза и пустил себе пулю в лоб; если бы вам довелось видеть Джона Форда, вы бы легко представили себе это. И жена его скончалась в тот же год. Он выплатил долги сына до единого пенни, вернулся на родину и поселился на этой ферме. Позавчера вечером он признался мне, что на свете у него осталась единственная родная душа — его внучка, которая живет здесь вместе с ним. Пейснс

¹ С т о у н — английская мера веса $\approx 6,33$ кг.

Войси — теперь это имя произносится Пейшнс, а по-здешнему Пэшьенс — сидит сейчас со мной на простой крытой галерее, которая выходит во фруктовый сад. Рукава у Пейшнс засучены, она чистит черную смородину для смородинного чая. Время от времени она облакачивается о стол, отправляет в рот ягоду, недовольно надувает губы и тянется за новой. У нее маленькое круглое лицо, она высокая, тонкая, щеки словно маки; волосы пушистые, темно-каштановые; глаза темно-карие, почти черные; нос слегка вздернут; губы яркие, довольно полные; и все движения у нее быстрые и мягкие. Она любит яркие цвета. Чем-то она напоминает кошку; то она — сама приветливость, то вдруг делается неприступной, как черепаха в своем панцире. Она вся порыв, но, правда, чувства свои выказывать не любит. Порою я даже сомневаюсь, есть ли они у нее вообще. Она играет на скрипке.

Странно видеть их вместе, странно и чуть грустно. Старик ее обожает, в ней — вся его жизнь. Я вижу, как нежность борется в нем с ужасом холодного северянина перед своими чувствами; их совместная жизнь — невольная пытка для него. Она — неумное, своенравное создание: минуту бывает сдержанной, потом — взрыв колкостей и злых насмешек. И все же по-своему она очень любит его; я видел, как она целовала его спящего. В общем, она его слушается, только при этом делает вид, что все это ей нелегко. Образование она получила странное — история, география, основы математики, вот и все; в школу никогда не ходила; недолго училась играть на скрипке, но почти все, что знает, выучила сама. Ей хорошо знаком мир птиц, цветов, насекомых; у нее есть три кошки, которые всюду следуют за ней; от нее можно ждать любых проделок. Как-то она окликнула меня: «А у меня что-то есть для вас! Протяните руку и закройте глаза». Это оказался большой черный слизняк! Она ребенок единственной дочери старика, которую в свое время отослали с Новой Зеландии на родину, чтобы она училась в Торки, но она сбежала и обвенчалась с неким Ричардом Войси, фермером средней руки, с которым познакомилась на охоте. Джон Форд пришел в ярость; как выяснилось, предки этого фермера были главарями разбойничьих шайк по ту сторону камбер-

лендской границы¹, и поэтому он смотрел на «сквайра» Рика Войси свысока. А величался тот «сквайром», как мне удалось узнать, потому, что каждый вечер играл в карты с местным священником, прозывавшимся Чорт Хокинс. Нельзя сказать, чтобы род Войси был достоин презрения. Этой фермой они владели с тех пор, как она была пожалована одному из Ричардов Войси, что записано в соответствующем документе от 8 сентября 13-го года царствования Генриха VIII. Миссис Хопгуд, жена управляющего фермой, славная чудаковатая старушка со щеками, как румяные сушеные яблоки, безгранично преданная Пейшнс, показывала мне эту самую дарственную.

— Я ее храню, — сказала она. — Мистер Форд больно уж гордый, да только и другие горды не меньше, чем он. И семья эта приличная, старинная: у них всех женщин звали Марджори, Пэшьенс или Мэри, а мужчин — Ричард, или Джон, или Роджер. Старинная семья, под стать ихним яблоням.

Рик Войси был человек непутевый и к тому же заядлый охотник; свою старую ферму он заложил всю, вплоть до тростниковой крыши. Джон Форд проучил его, купив все его просроченные закладные, однако предложил дочери и Войси остаться жить на ферме безвозмездно; они безропотно подчинились и жили здесь, пока не погибли оба в дорожной катастрофе восемь лет назад. Старый Форд разорился годом позже, и с тех пор он живет здесь с Пейшнс. Мне представляется, что она такая неугомонная и одержимая именно из-за того, что в ней скрещиваются две крови: была бы она здешней уроженкой, она бы и чувствовала себя здесь вполне счастливой или уж совсем чужой, как сам Джон Форд, а так эти две крови борются в ней и не дают ей покоя. Такая теория может показаться надуманной, но я-то знаю, что все это верно. То она застынет на месте с плотно сжатыми губами, прижав руки к груди, и словно смотрит сквозь окружающие ее предметы; потом вдруг что-то привлечет ее внимание, и мгновенно в глазах заискрится смех — сперва добродушный, потом язвительный. Ей восемнадцать, в лодке она ниче-

¹ Имеется в виду граница между Англией и Шотландией в графстве Камберленд.

го не боится, зато сесть на лошадь вы ее не заставите — к великому огорчению деда. Он большую часть дня проводит верхом на тощем пони-полукровке, который носит его, словно перышко, несмотря на его вес.

Они дали мне здесь приют из уважения к Дэну Треффри; но с миссис Хопгуд у нас есть тайная договоренность, что я заплачу им некоторую сумму. Они вовсе не богаты; ферма эта самая большая в округе, однако больших доходов она не приносит. Глядя на Джона Форда, невозможно представить себе, что он испытывает денежные затруднения, — он как-то слишком велик для этого.

В восемь у нас молитва в семейном кругу, потом завтрак, после чего — полная свобода, можно писать или заниматься еще чем-нибудь до самого ужина и вечерних молитв. В полдень каждый заботится о еде сам. По воскресеньям нужно дважды ходить в церковь в двух милях от дома, иначе впадешь в немилость у Джона Форда... Сам Дэн Треффри живет в Кингсуэре. По его словам, состояние себе он уже сколотил; здесь ему нравится — это будто спокойный сон после стольких лет бодрствования; в Новой Зеландии он хлебнул горя, пока не разбогател на одном прииске. Вы его вряд ли помните; он похож на своего дядю, старого Николаса Треффри: та же ленивая манера говорить, словно нехотя, и привычка то и дело повторять в разговоре ваше имя; он тоже левша, и в глазах тот же ленивый огонек. У него темная, короткая борода и румяные, смуглые щеки; на висках небольшие залысины и седина, но он еще крепок, как железо. Почти каждый день он ездит верхом в сопровождении черного спаньеля, который отличается удивительным нюхом и отвращением к юбкам. Дэн рассказал мне уйму интересных историй про Джона Форда ранних скваттерских времен: слава о том, как он объезжал лошадей, жива и по сей день; он участвовал и в войнах с племенами маори; по выражению Дэна, он «человек во вкусе дядюшки Ника».

Они большие друзья и уважают друг друга; Дэн относится к старику с глубоким почтением, но влечет его сюда Пейшнс. Когда она в комнате, он почти не разговаривает, а искоса бросает на нее страстные взгляды. Отношение же Пейшнс к нему могло бы показаться же-

стоим, но от нее все стерпишь. Дэн хлопает дверью, но потом волей-неволей возвращается — тихо, но упорно.

К примеру, вчера вечером, после ужина, сидели мы на галерее. Пейшнс перебирала струны скрипки, и вдруг Дэн (это был отчаянный шаг с его стороны) попросил ее сыграть.

— Что? — возмутилась она. — Играть перед мужчинами? Нет уж, благодарю!

— Почему же нет?

— Потому что я их ненавижу.

Кулак Джона Форда опустился на плетеный стол.

— Ты забываешься! Ступай-ка спать!

Бросив взгляд на Дэна, она ушла; нам было слышно, как она играет у себя в спальне; словно пляска духов, звучала ее музыка; и когда казалось, что вот она уже кончила, музыка раздавалась вновь, точно взрыв смеха. Вскоре Джон Форд церемонно попросил у нас извинения и, тяжело ступая, ушел в дом. Скрипка смолкла; мы слышали, как он сердито выговаривает ей; потом он спустился обратно. Не успел он усесться в кресло, как раздался легкий шелест, и что-то темное упало вниз, задевая ветви яблонь. Скрипка! Вы бы посмотрели на его лицо! Дэн хотел было подобрать скрипку, но старик не позволил. Позже из окна моей комнаты я видел, как Джон Форд вышел и остановился над скрипкой. Он поднял ногу, будто собирался раздавить ее. В конце концов он ее поднял, осторожно вытер и понес в дом...

Моя комната рядом с комнатой Пейшнс. До меня долго доносился ее смех и какой-то шум, словно она переставляла вещи. Потом я заснул, но проснулся, как от толчка, и подошел к окну глотнуть свежего воздуха. До чего черная, глухая ночь! Не видно ни зги, только скрюченные черные ветви деревьев; не шелохнется лист, вокруг ни звука, только иногда донесется чуть слышное похрюкивание из свинарника, да время от времени легкий вздох. Странное чувство беспокойства и страха возникло у меня — столь неожиданное для подобной ночи. Есть здесь что-то такое, что тревожит; словно идет глухая борьба. В жизни я не встречал существа более безрассудного, чем эта девушка, или более непримиримого, чем старик; до сих пор не могу забыть, как он

вытирал эту скрипку. Кажется, достаточно легкой вспышки, и пламя поглотит все. Надо всем нависла угроза трагической развязки... иль, может... все это от жары и от слишком обильного ужина матушки Хопгуд...

II

Вторник.

...У меня новый знакомый. Я лежал в саду, и он, не заметив меня, прошел совсем рядом — мужчина среднего роста, с удивительно ровной и бесшумной походкой, в довольно потертых синих брюках и фланелевой рубашке без галстука, башмаки коричневые, кепка с кожаным козырьком сдвинута на затылок. Лицо длинное, узкое, с бронзовым оттенком, загорелое до черноты; лоб высокий. Каштановые усы, острая бородка, обрамляющая щеки; подбородка не видно, но, судя по величине бороды, он должен быть широким; рот, по-моему, чувственный. Нос правильной формы, прямой; глаза серые, взгляд открытый, не то, чтобы искренний, а скорее вызывающий; две параллельных борозды на каждой щеке: одна — от уголка глаза, другая — от ноздри; лет ему, наверное, тридцать пять. В лице, осанке, движениях чувствуется жизнерадостность, слаженность, отвага, свобода от условностей.

Покусывая костяшки пальцев, он остановился перед галереей — своего рода пират девятнадцатого века, — и я недоумевал, что ему здесь надо. Говорят, можно отличить уроженца Кента от уроженца Сомерсетшира; и уж, конечно, нетрудно узнать йоркширца; так вот, этот парень мог быть только человеком из Девона, он принадлежал к одному из двух самых распространенных типов этого графства. Он свистнул, и тут же из дома появилась Пейшнс в платье цвета герани — и сама, словно вытянувшийся мак, — вспомните, как мак чуть склоняет свою головку и как гнется от ветра его стебель... Вся она, словно мак среди людей, ее пушистые темные волосы напоминают черную, матовую сердцевину мака; она такая же недотрога, и есть в ней та же дразнящая привлекательность, что и в маке, нечто роковое или, скорее, отмеченное роком. Она было направилась к

этому человеку, но тут вдруг увидела меня и замерла на месте.

— Это Эхери Пирс,— сказала она мне.— А это,— сказала она ему,— наш жилец.

Она сказала это удивительно мягко и в то же время со злостью. Она хотела задеть меня, и ей это удалось. Полчаса спустя, когда я был на скотном дворе, туда зашел этот самый Пирс.

— Рад был с вами познакомиться,— сказал он, задумчиво оглядывая свиней.— Ведь вы писатель, правда?

— Да, как будто,— ответил я.

— Если случайно вы ищете материал, я бы мог вам кое-что показать,— предложил он вдруг.— Спустимтесь со мной на берег, и я все расскажу; мой тендер стоит на якоре, небольшое, но самое быстроходное судно для этих краев.

Было очень жарко, и мне вовсе не хотелось спускаться на берег, но я все же пошел. Не успели мы сделать несколько шагов, как на тропинке появились Джон Форд и Дэн Треффри. Наш друг, казалось, чуть смутился, но быстро овладел собой. Встреча произошла на середине тропы, где разойтись можно было с трудом. Джон Форд, державшийся очень надменно, надел пенсне и уставился на Пирса.

— Добрый день!— сказал Пирс.— Хороша погодка! Я заходил, чтобы пригласить Пейшнс покататься. Пожалуй, поедem в среду, если день будет погожий; этот господин едет с нами. Может, и вы присоединитесь, мистер Треффри? Вы никогда у меня не бывали. Я угощу вас завтраком и познакомлю с моим отцом. Он стоит того, чтобы совершить двухчасовое плавание.

Это было сказано так странно, что невозможно было возмутиться его дерзостью. Джон Форд чуть не задохнулся, и казалось, вот-вот взорвется; но он поглядел на меня и сдержался.

— Вы очень любезны,— произнес он холодно,— но у моей внучки есть другие дела. А вы, господа, поступайте, как знаете.— И, едва поклонившись, он тяжело зашагал по направлению к дому.

Мы с Дэном переглянулись.

— Поедете? — с тоской спросил Пирс.

Дэн пробормотал:

— Благодарю вас, мистер Пирс; я лучше себя чувствую в седле, чем в лодке, однако благодарю.—Припертый к стенке, он оказался осторожным и покладистым.

Пирс благодарно улыбнулся.

— Так, значит, в среду, в десять. Не пожалеете.

Я услышал, как Дэн буркнул себе в бороду: «Настырный тип!» — и снова зашагал по тропинке рядом с Пирсом. Я задал ему вопрос, как это он осмелился сказать, что я еду, не спросив даже моего согласия. Он без смущения ответил:

— Видите ли, мы со стариком не в ладах, но я знал, что по отношению к вам он не будет невежлив, поэтому и взял на себя такую смелость.

У него был настоящий талант обращать ваш гнев в любопытство. Мы уже спустились на дно лощины; начинался отлив — вода отступала, увлекая за собой мелкую мокрую гальку, шлифуя подводные скалы. В море на расстоянии четверти мили от берега, покачиваясь на волнах, стоял тендер с приспущенным рыжеватым парусом. Солнце рождало самую причудливую игру красок на розовых скалах и разбрасывало по всей поверхности моря блестящие пятна, похожие на стремительные стаи золотых рыбок. Пирс спустился в свой ялик и посмотрел на воду из-под руки. Казалось, он весь во власти восхищения.

— Вот бы наловить сетью этих блесток,— сказал он,— да превратить их в золото! Тогда можно и работу побоку. В серьезное дело я впутался,— продолжал он немного погодя.— В среду расскажу вам о нем. Мне нужен журналист.

— Но я не пишу для газет,— сказал я.— Я занимаюсь другим. Мой конек — археология.

— Неважно,— возразил он,— чем больше воображения, тем лучше. Для вас это будет чертовски полезно.

Его уверенность была поразительна, но уже давно настал час ужина, голод заглушил мое любопытство, и я откланялся. Оглянувшись, я увидел, что он все на том же месте, стоит в своем ялике и смотрит на море. Очень странный малый, но чем-то привлекательный.

В тот вечер о нем не было сказано ни слова, и только старый Форд, бросив долгий взгляд на Пейшнс, пробормотал как бы между прочим: «Неблагодарные де-

ти!» Она была смирной, как никогда; спокойно прислушивалась к нашему разговору и улыбалась, если обращались к ней. Когда настала пора идти спать, она сама подошла к деду, не дожидаясь его обычного зова: «Подойди и поцелуй меня, дитя».

Дэн ужинать не остался и с тех пор не появлялся больше. Сегодня утром я спросил у матушки Хопгуд, кто такой Зэхери Пирс. Она истая девонширка, и если чего не выносит, так это когда от нее требуют точных сведений. Она долго ходила вокруг да около, а потом наконец рассказала мне, что он «...сын старого капитана Джона Пирса с Черной мельницы. И семья их старинная, из Дартмута и Плимута,— продолжала она, разговарившись.— Люди болтают, будто пятеро Пирсов ходили с Фрэнсисом Дрейком на испанцев. По крайности, я слышала, как говорил об этом мистер Зэхери; да вы у Хэ-эпгуда спросите!»

Бедный Хопгуд, сколько раз на день она заставляет его пускаться в объяснения! Дав таким образом мне понять, что сама она больше ничего не знает, она тут же продолжала:

— Капитан Джон Пирс все путешествовал. Теперь он старик, говорят, ему без малого сто лет. Да вы у Хэ-эпгуда спросите.

— Ну, а его сын, миссис Хопгуд?

В глазах ее вдруг появился лукавый огонек. Она, как ни в чем не бывало, переменяла разговор:

— А что вам подать сегодня к обеду? Есть утка; но, может, вы лучше хотите бифштекс в тесте и яблочный пирог; или есть еще... Ладно, посмотрим, что бы еще такое придумать.

И, не дожидаясь ответа, она ушла.

Завтра среда. Что ж, я не прочь взглянуть еще разок на этого молодого Пирса...

III

Пятница, 29-е июля.

...Зачем вы задаете мне столько вопросов и подбиваете меня писать об этих людях, отвлекая от главного моего дела? Но если вам и в самом деле интересно все знать, я расскажу, что произошло в среду.

Утро выдалось чудесное. Дэн, к моему удивлению, объявился, хотя мне следовало бы знать, что раз он обещал, то свое слово сдержит. Джон Форд вышел, чтобы пожать ему руку, потом, вспомнив, зачем тот пришел, громко вздохнул, ничего не сказал и вернулся в дом. Пейшнс не показывалась, и мы вдвоем спустились к от-мели.

— Послушайте, Джордж, не нравится мне этот Пирс,—признался по дороге Дэн.— Очень глупо, что я согласился поехать, теперь поздно отказываться, но зачем ему это? Не такой он человек, чтобы делать что-либо без умысла, уверяю вас.

Я заметил, что скоро все должно выясниться.

— Не очень я в этом уверен — подозрительный он тип; каждый раз, когда я вижу его, мне вспоминаются пираты.

Тендер стоял в бухте, словно никогда оттуда и не выходил. Зэхери Пирс тоже был на месте — сидел на борту своего ялика.

— Бриз в пять узлов,— сказал он.— Доставлю вас к месту часа через два.

О Пейшнс он ничего не спросил, а посадил нас в свою «скорлупу» и стал грести к тендеру. Нас встретил загорелый человек по имени Прол, со впалыми щеками, острой торчащей бородкой и чисто выбритой верхней губой — словом, заправский моряк.

На тендере царила образцовая чистота: предназначенный служить тральщиком в Бриксеме, он сохранил свой номер — Д ХІІІ. Мы нырнули в каюту, просторную, но темную, где стояли две койки и маленький столик, на котором теснились пузатые бутылки; еще там стояли ящики и вешалки для платья. Прол, приведший нас сюда, казалось, был преисполнен гордости своим паровым подъемником для парусов. Прошло несколько минут, прежде чем мы снова вышли на палубу; там, в ялике, пришвартованном к судну, сидела Пейшнс.

— Если бы я знал,— пробормотал, краснея, Дэн,— я бы ни за что не поехал.

Она перехитрила нас, и тут уж ничего нельзя было поделать.

Прогулка получилась очень приятная. С юго-востока дул легкий бриз, солнце пригревало, воздух был чист и прозрачен. Вскоре Пейшнс запела:

Умер Колумб и спит в могиле,
О! Хэй-хоу! и спит в могиле;
Над головой его яблоню посадили —
О! Хэй-хоу! яблоню посадили...

Яблоки зреют — вот упадут,
О! Хэй-хоу! вот упадут;
Но люди не дремлют, за ними придут,
О! Хэй-хоу! за ними придут.

Яблоки сняты, лежат на скамье,
О! Хэй-хоу! лежат на скамье;
Хотите знать дальше, пойте сами себе,
О! Хэй-хоу! пойте сами себе.

Ветер уносил звуки ее высокого голоса, неровные, вибрирующие, словно песня жаворонка, затерянного в небе. Пирс подошел к ней и что-то шепнул на ухо. На лице ее я уловил испуганное выражение, как у пойманного зверька; она как-то сразу замкнулась в себе и, рассмеявшись, откинула назад волосы. Больше она не пела, а сидела, сгорбившись, подперев подбородок руками, и солнце освещало одну ее щеку, круглую, бархатную, яркую, как персик...

Мы миновали Дартмут и спустя полчаса вошли в небольшую бухту, окруженную лесом. На невысоком, красноватом утесе среди сосен стоял дом. У подножия утеса выступала часть разрушенного мола. Мы причалили и пришвартовались к нему. Сверху спустился старик, похожий на рыбу, и встал на место хозяина. Пирс повел нас к дому, Пейшнс последовала за ним, вдруг ужасно оробев.

У дома была темная, низко нависающая крыша из тростника, который рос в окрестных болотах; более ничего примечательного в нем я не заметил. Он казался не новым и не старым, не красивым и не таким уж уродливым, не опрятным и не очень запущенным; всеми своими окнами он смотрел на море, презрительно повернувшись спиной к суше.

На веранде, рядом с огромнейшей подзорной трубой, сидел дряхлый старик в панаме, опершись на трость из

ротанга. Белые, как лунь, борода и усы и почти черные брови делали взгляд его маленьких, беспокойных темно-серых глаз странным и проницательным; красные щеки и шею покрывала целая сетка мелких морщин. Он сидел совершенно прямо на ярком солнце, лишь чуть прищурившись.

— Отец! — сказал Зэхери. — Это Пейшнс Войси.

Старик перевел взгляд на нее и пробормотал:

— Милости просим, мэм, — и больше внимания на нее не обращал.

Видно, Пейшнс это обидело, и вскоре она ускользнула с веранды и отправилась бродить среди сосен. Какая-то старушка принесла тарелки и несколько бутылок, расставила их на столе; мы расселись вокруг старого капитана Пирса, не проронив ни слова, будто замороженные.

Перед завтраком между Зэхери Пирсом и Дэном произошла небольшая стычка: кому из них звать Пейшнс? В конце концов пошли оба и вернулись без нее. Никакого завтрака ей не нужно, она останется там, под соснами.

За завтраком мы ели отбивные, диких голубей, грибы и тутовое варенье, пили восхитительную мадеру из простых стаканов. Я спросил старика, где он раздобыл ее? Он подозрительно поглядел на меня и, чуть наклонив голову, ответил:

— Она обошлась мне по два шиллинга бутылка, здесь ни у кого больше такой нет. В начале тридцатых... по два шиллинга бутылка... сейчас вина такого не сыщешь, да и людей таких тоже, — прибавил он, взглянув на Зэхери.

Зэхери улыбнулся и сказал:

— Никогда, отец, не доводилось вам совершать таких серьезных дел, к каким готовлюсь я сейчас!

В глазах старика мелькнуло презрение.

— Стало быть, в дальнее плавание собрался, Зэк, на своей «Волшебнице»?

— Да, — ответил Зэхери.

— И куда же ты думаешь идти на этой старой галоше?

— В Марокко.

— Фью! — присвистнул старик. — Там ничего нет; я

знаю тот берег, как свои пять пальцев.— И он вытянул вперед свою жилистую, волосатую руку.

Вдруг Зэхери словно прорвало:

— Под Могадором, там есть человек один... мой друг... уже два года. Концессии, контрабанда, порох... корсары, междоусобицы, деньги... вожди, пулеметы, султан... оружие... восстание... золото...— Он подробно изложил нам отчаянно дерзкий план, как с помощью торговых махинаций управлять колесом политической жизни.

— Тебе не дадут туда даже добраться,— заметил старый Пирс.

— Не дадут? — вскинулся Зэхери.— Ну да, еще как дадут, только бы уехать. Когда произойдет смена власти, я стану там богатым человеком.

— Ты не уедешь,— сказал на это старик.

Зэхери вытащил лист бумаги, испещренный цифрами. У него уже все было рассчитано. Столько-то на снаряжение, столько-то на товар, столько-то на концессии, столько-то на непредвиденный случай.

— До последнего гроша! — заключил он.— Без малого тысяча. Судно готово, но если я не доберусь туда за месяц, все дело провалится.

Ему нужны деньги — вот чем объяснялась его откровенность; мы отнеслись к этому так, как и подобает в подобных случаях.

— Безрассудство,— пробормотал старик, обратив взгляд к морю.

— Нет,— возразил Зэхери.

И одно это слово было красноречивее всех, сказанных ранее. Нет, этот парень не мечтатель. Возможно, план его и рискованный и не совсем законный, но сам он твердо знает, чего добивается.

— Ладно! — промолвил старый Пирс.— Пять сотен из своего кармана я тебе выложу, хотя бы ради того, чтобы узнать, на что ты годишься. Отвези меня в дом!

Зэхери отвез его туда в кресле, но вскоре вернулся.

— Вот чек на пятьсот фунтов! — сказал он, показывая его.— Мистер Треффри, дайте мне такой же, и вы получите треть прибыли.

Я ожидал, что Дэн откажет наотрез. Однако он лишь спросил:

— Это даст вам возможность уехать?

Зэхери ответил:

— Это позволит мне выйти в море через две недели.

— Хорошо! — медленно проговорил Дэн.— Дайте мне расписку. Через четырнадцать дней быть в море и честно вернуть мою долю — пятьсот фунтов, ни больше, ни меньше.

Я опять было подумал, что Пирс ухватится за такое предложение, однако он подпер рукой подбородок и поглядел на Дэна, а Дэн на него. Пока они так сверлили друг друга взглядом, вошла Пейшнс с котенком на руках.

— Смотрите! — сказала она.— Ну разве не прелесть?

Котенок, цепляясь коготками, карабкался вверх по ее шее. Я заметил выражение глаз обоих мужчин, когда они смотрели на Пейшнс, и вдруг понял, чего оба добиваются. Котенок потерся о щеку Пейшнс, потерял равновесие и полетел вниз, цепляясь за ее платье. Она подхватила его и вышла. Один из нас — кто, не знаю,— вздохнул, а Пирс воскликнул:

— По рукам!

Сделка состоялась.

— Прощайте, мистер Пирс,— сказал Дэн.— Полагаю, это все, чего вы хотели от меня. Моя лошадь ждет меня в деревне. Вы проводите Пейшнс домой, Джордж?

Мы услышали на дороге быстрое цоканье копыт; Пирс вдруг попросил извинения и исчез.

Его предприятие может показаться романтическим и бессмысленным, однако оно вполне практично. Он гонится за наживой! Вспомните Дрейка, Рэйли, Хоукинса, Оксенхему! Но чем это романтичнее, тем подозрительнее. А что, если и они тоже лишь гнались за наживой?..

Я ушел в сосняк. Земля там, подобно спинке пчелы, вся в золотисто-черную полосу; внизу синее море, а над вереском белые ленивые облака и гудящие шмели; во всем такая нега, настоящий летний день в Девонне. Неожиданно я наскочил на Пирса, который стоял на краю обрыва, а под ним, в пещерке, сидела Пейшнс, глядя на него. Я услышал, как он позвал:

— Пейшнс... Пейшнс!

Звук его голоса и нежное, удивленное выражение ее

лица взбесили меня. Что она понимает в любви, в ее-то возрасте? Да и что общего между ними?

Он поспешил сказать мне, что она уже на пути домой, и подвез меня на старой серой лошадке до переправы. По дороге он снова вернулся к своему недавнему предложению.

— Едемте со мной,— сказал он.— Прессой нельзя пренебрегать; а возможности вы сами можете себе представить. Это одна из немногих доступных для нас стран. Только бы мне начать дело, вы себе не представляете, какой размах оно примет. Вы сможете ездить, куда захотите, у вас будет все, что душе угодно, но, конечно, в пределах разумного.

Я ответил со всею резкостью, на какую был способен (и все же не так резко, как мне хотелось бы), что считаю его план безрассудным. На самом же деле он кажется мне даже слишком трезвым; но каким бы ни казался этот план на первый взгляд, суть его отражает характер того, кто его придумал.

— Подумайте,— настаивал он, словно читая мои мысли.— Можете пользоваться своим положением, как вздумаете. На страницах газет, разумеется. Это уж вопрос ремесла — и только; я бы и сам справился, было б у меня время. В остальном... в остальном будете сами себе хозяином.

В этих трех словах вся суть этого малого, Пирса,— «Сам себе хозяин!» Ни правил, ни законов, ни даже таинственных уз, связанных с понятием мужской чести. «Сам себе хозяин!» Никаких идеалов; никаких принципов; никакого поклонения идолам; никаких непреодолимых преград! Но упорства у этого малого, что у старого английского дога. С ответом «нет» он никогда не примирится.

— Подумайте,— повторил он.— Ответите в любой день — у меня их впереди целых четырнадцать... Глядите! Вон она!

Я подумал, что это он о Пейшнс, но оказалось,— о своей старой посудине, неподвижно черневшей на середине реки в ярких лучах солнца, с желто-белой трубой и без всяких признаков жизни на палубе.

— Вот она, моя «Волшебница»! Двенадцать узлов делает; кто бы мог подумать! Ну, всего хорошего! Захо-

дите. Жду ответа в любое время. А сейчас тороплюсь на борт.

Переправляясь через реку, я видел, как он уселся на корму своей утлой лодчонки, и солнечный венец окружал его соломенную шляпу.

Пройдя по дороге около мили, я наткнулся на Пейшнс, сидевшую возле изгороди. Мы пошли вдвоем меж холмов,— девонширских холмов, высоких, как дома, поросших плющом и папоротником, ежевикой, орешником и жимолостью.

— Вы верите в бога? — вдруг спросила она.— Дедушкин бог — он страшный. Вот когда я играю на скрипке, я *чувствую* бога; но дедов бог такой строгий... Вы понимаете, что я имею в виду: море, ветер, деревья и краски — они заставляют вас *чувствовать*. Но я не верю, что смысл жизни только в доброте. Разве самое важное—это быть доброй? Когда я бываю добрая, то меня просто зло разбирает.— Она протянула руку, сорвала с живой изгороди цветок и медленно оборвала лепестки.— Как бы вы поступили,— зашептала она,— если бы вам чего-то хотелось, но вы этого боитесь? Хотя, наверное, вы никогда ничего не боитесь! — прибавила она, желая меня поддеть.

Я признался, что иногда и я боюсь, но чаще боюсь, как бы не испугаться.

— Как здорово! И я не боюсь ни болезней, ни дедушки, ни его бога; но... я хочу быть независимой. А когда чего-нибудь очень хочешь, то боишься, что этого не будет.

Я вспомнил, как говорил о независимости Зэхери Пирс: «Сам себе хозяин!»

— Почему вы так смотрите на меня? — спросила она.

Я пробормотал:

— Что такое для вас независимость?

— Знаете, что я сделаю сегодня ночью? — спросила она вместо ответа.— Спущусь из окна по яблоне, уйду в лес и буду играть!

Мы шли вниз по крутой тропинке вдоль опушки леса, где всегда стоит запах сочной листвы и слышится шумное дыхание коров, которые подходят к самой опушке в поисках тени.

Внизу стояла хижина, а перед ней прямо в пыли играл мальчуган.

— Здравствуй, Джонни! — сказала Пейшнс. — Вытяни-ка ногу и покажи этому дяде, где у тебя болит!

Мальчуган размотал на своей босой и грязной ножке повязку и с гордостью показал болячку.

— Ужас, правда? — воскликнула Пейшнс горестно и снова замотала ему ногу. — Бедняжка! Смотри, Джонни, что я тебе принесла! — Она вытащила из кармана шоколадку, некое подобие солдатики, сделанное из сургуча и обрывка холстины, и еще погнутый шестипенсовик.

Ее словно подменили. Всю дорогу домой она рассказывала мне историю семьи маленького Джонни; дойдя до смерти его матери, она разгорячилась.

— Просто стыд и срам, они ведь так бедны... лучше бы уж кто-нибудь другой умер. Я люблю бедных людей, а богатых ненавижу... самодовольные свиньи.

Миссис Хопгуд глядела через калитку на дорогу; чепец сполз у нее набок, а один из котов Пейшнс терся об ее юбку. Она обрадовалась, увидев нас.

— Где дедушка? — спросила Пейшнс. Старая леди покачала головой. — Он сердится?

Миссис Хопгуд мялась, мялась, наконец произнесла:

— Ты уже пила чай, голубка? Нет? Эка жалость; не евши-то. каково...

Пейшнс вскинула голову, подхватила котенка и убежала в дом. А я все стоял, глядя на миссис Хопгуд.

— Милушка, милушка... — позвала было она. — Бедная овечка. Ведь и то сказать... — И вдруг у нее вырвалось: — Так разошелся, прямо кипит. Ну и дела!

Смелость изменила мне в этот вечер. Провел я его на сторожевой станции, где мне дали хлеба с сыром и какого-то ужасного сидра. Вернувшись, я прошел мимо кухни. Там еще мерцал огонек, и две фигуры в полумраке бесшумно двигались по ней, чему-то украдкой посмеиваясь, словно духи, которые боятся, как бы не застали их за земной трапезой. То были Пейшнс и миссис Хопгуд; запах яиц и бекона был так восхитителен, а сами они так явно упивались этим ночным пиршеством, что у меня слюнки потекли, когда я, голодный, пробирался к себе в спальню.

Посреди ночи я проснулся, и мне почудились какие-то крики; затем будто деревья зашумели от ветра, потом словно отдаленные удары бубна и звуки высокого женского голоса. Вдруг все смолкло — две длинные ноты простонали, словно рыдая, и воцарилась полная тишина; хотя я прислушивался, наверное, более часа, больше не раздалось ни звука...

IV

4-е августа.

...За три дня после того, что я описал, никаких событий здесь не произошло. По утрам я сидел на утесе, читал и наблюдал, как сыплются в море искры солнечного света. Здесь, наверху, чудесно, среди дрока, рядом с греющимися на скалах чайками; в полях кричат перепелки, изредка нет-нет да залетит сюда молодой ястребок. Время после полудня я провожу во фруктовом саду. Дела на ферме идут своим чередом — доят коров, пекут хлеб, Джон Форд то приезжает, то уезжает, Пейшнс собирает в саду лаванду и болтает с работниками; пахнет клевером, коровами и сеном; подают голос клушки, поросята, голуби; слышатся тихие, небыстрые речи, глухой стук телег; а яблоки день ото дня наливаются. Но в минувший понедельник Пейшнс где-то пропадала с утра до вечера; никто не видел, когда она ушла, никто не знал, куда. То был день удивительный, необычный: по серебристо-серому с просинью небу не спеша плыли облака, деревья робко вздыхали, по морю перекачивались длинные, низкие волны, звери тревожились, птицы примолкли, кроме чаек, которые то смеялись по-стариковски, то как-то по-кошачьи мяукали.

В воздухе чувствовалось что-то неистовое; оно словно катилось через ложбины и овраги прямо в дом, подобно буйному напеву, который доносится до вашего уха сквозь сон. Ну кто бы подумал, что исчезновение на несколько часов этой девчушки вызовет такое смятение! Мы бродили как неприкаянные; миссис Хопгуд с ее щеками, румяными, точно яблоки, даже осунулась прямо на глазах. Я случайно натолкнулся на доярку и

еще какую-то работницу, которые тупо и с мрачным видом обсуждали это происшествие. Даже сам Хопгуд, выдавший виды широкоплечий великан, настолько изменил своей невозмутимости, что запряг лошадь и отправился на поиски, хотя сам и уверял меня, что это пустая затея. Джон Форд долго не показывал виду, что заметил неладное, однако к вечеру я застал его сидящим неподвижно, руки он сложил на коленях и глядел прямо перед собой. Увидев меня, он тяжело поднялся и неслышно вышел. Вечером, когда я собрался уже идти на пост береговой охраны, чтобы просить обыскать утес, Пейшнс появилась: она шла, с трудом переставляя ноги. Щеки ее пылали; она кусала губы, чтобы не заплакать от смертельной усталости. В дверях она прошла мимо меня, не сказав ни слова. Волнение, которое пережил старик, казалось, лишило его дара речи. Он лишь шагнул вперед, взял ее лицо в свои руки, запечатлел на нем долгий поцелуй и вышел. Пейшнс опустилась в темной прихожей на ступеньки и уронила голову на руки.

— Оставьте меня! — Вот единственное, что она сказала.

Через некоторое время она поднялась к себе. Позже ко мне пришла миссис Хопгуд.

— Ни словечка от нее... и не съела ни кусочка, а я-то приготовила паштет — пальчики оближешь. Что с ней — одному богу известно... она коньяку просит. Есть у вас коньяк, сэр? Мой Хопгуд не пьет его, а мистер Форд не признает ничего, кроме цветочной настойки.

У меня было виски.

Добрая старушка схватила бутылку и вышла, крепко прижав ее к себе. Вернула она ее мне наполовину пустой.

— Сосала, как котенок молоко. Ведь оно, небось, крепкое... бедная овечка... зато потом разговорилась. «Я это сделала, — сказала она мне. — Тс-с, я сделала это», — и засмеялась, ровно безумная; а потом, сэр, она заплакала, поцеловала меня и вытолкала за дверь. О господи! Ну что же такое она сделала?..

На другой день, не переставая, лил дождь, и на третий тоже. Вчера около пяти дождь прекратился; я отправился на лошадке Хопгуда в Кингсуэр повидать Дэ-

на Треффри. С деревьев, с кустов ежевики, с папоротника у дороги капала вода; птицы заливались вовсю. Я все думал о Пейшнс. Причина ее исчезновения в тот день все еще оставалась тайной; каждый ломал себе голову, что же такое она все-таки сделала. Бывают люди, которые никогда не взрослеют — такие не имеют права совершать поступки. Всякий поступок ведет к каким-то последствиям, но детям нет дела до последствий.

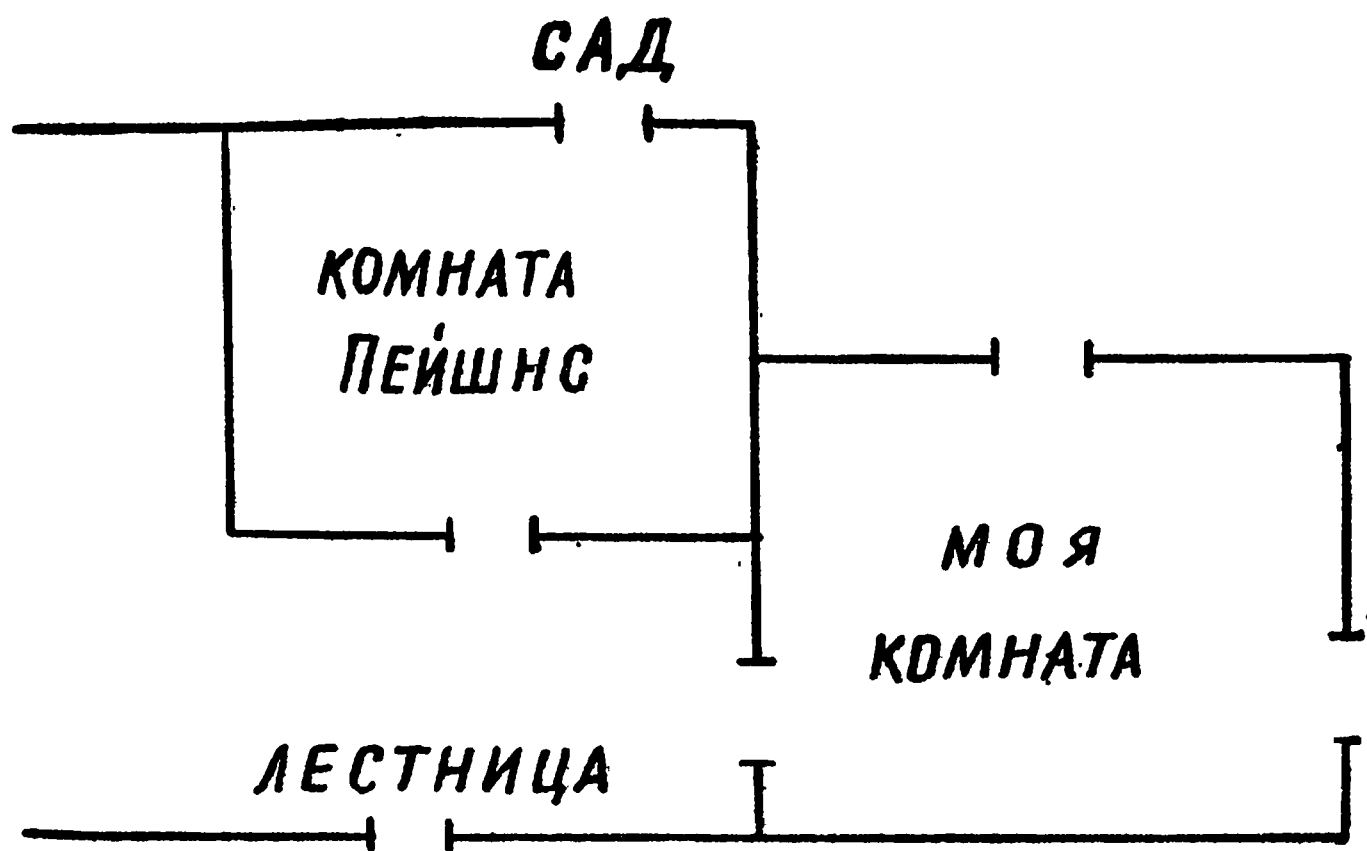
Дэна не было. Я поужинал в гостинице и, не торопясь, поехал домой. Все время, пока тянулась в сумерках дорога — до скал, встававших по обе ее стороны, я мог достать кнутом, — я ни о чем не мог думать, кроме Пейшнс и ее деда; было в полутьме нечто такое, что усиливало игру воображения и ощущение неопределенности. Когда я въехал на скотный двор, уже совсем стемнело. Два молодых бычка, сопя, обнюхали меня, сонная курица вскочила и бросилась прочь с громким кудахтаньем. Я поставил в стойло лошадь и обогнул дом со стороны сада. Под яблонями было темно, хоть глаз выколи, окна чернели без света. Я постоял с минуту в саду, после дождя все благоухало; вдруг у меня родилось неприятное чувство, что кто-то следит за мной. Случалось ли вам испытывать такое чувство в темную ночь? Наконец я спросил:

— Есть там кто?

Ни звука! Я дошел до калитки — никого! Лишь с деревьев еще падали капли — тихо, мягко, с журчанием — и все. Я бесшумно вернулся к крыльцу, вошел в дом, заложил дверь на засов и ощупью забрался в постель. Однако уснуть мне не удалось. Я долго лежал без сна; наконец задремал и проснулся, словно от толчка. Где-то совсем рядом чуть слышался сдавленный шепот. Потом все замерло. Прошла минута; вдруг раздался глухой удар, словно что-то упало; я вскочил с постели и бросился к окну. Ничего, только где-то вдали раздался словно бы топот ног. Ухнула сова; затем я услышал кристально чистый, но очень тихий голос Пейшнс, напевавшей в своей комнате:

Яблоки зреют — вот упадут,
О! Хэй-хоу! вот упадут.

Я подбежал к ее двери и постучал.
Комнаты наши расположены так:



- Что такое? — крикнула она.
- Случилось что-нибудь?
- Случилось?
- Что-нибудь случилось?
- Ха-ха-ха! Доброй ночи!

И вслѣд за этим я услышал, как она тайком пытается сдержать тяжелое, прерывистое дыхание. И больше ни слова в ответ, ни звука.

Я снова лег и пролежал несколько часов без сна...

Вечером пришел Дэн; за ужином он вручил Пейшнс свернутые ноты; он достал их в Торки. По словам продавца, сказал он, это нечто замечательное.

Оказалось, что это «Чаконна» Баха. Вы бы видели, как у нее загорелись глаза, и даже руки дрожали, когда она переворачивала ноты. Кажется таким странным, что она преклоняется перед музыкой Баха — таким же странным, как если бы дикий жеребец добровольно дал себя взнуздать; однако это так — от нее никогда не знаешь, чего ждать.

— Божественно! — все время повторяла она.

Джон Форд положил нож и вилку.

— Нечестивый вздор! — пробормотал он и вдруг гаркнул: — Пейшнс!

Она, вздрогнув, подняла глаза, швырнула ноты и вернулась на свое место.

Во время вечерней молитвы, которую всегда читают сразу же после ужина, на лице ее был написан вызов. Она рано ушла спать. Мы разошлись довольно поздно—впервые старик Форд разговорился о скватерских временах. Выходя из дома, Дэн указал на что-то рукой. Лаяла собака.

— Это Лэс,— сказал он.— Она разбудит Пейшнс. Спаньель захлебывался лаем. Дэн бросился унимать его. Вскоре он вернулся.

— Кто-то был в саду и ушел в сторону бухты.

Он побежал вниз по тропе. Я, в сильной тревоге,— за ним. Впереди сквозь тьму слышался лай спаньеля; чуть виднелись огни поста береговой охраны. Я первым очутился на берегу; тут же ко мне подбежала собака, виновато поджав хвост. Послышался стук весел; кроме пенистых волн, не видно было ни зги. За спиной раздался голос Дэна: «Бесполезно! Ушел!» — хрипло, так, словно волнение сдавило ему горло.

— Джордж,— сказал он, запинаясь,— это тот негодяй. С удовольствием всадил бы в него пулю.

Вдруг в темноте на море вспыхнул огонек, помаячил недолго и исчез. Не проронив ни слова, мы поднялись обратно на холм. Джон Форд стоял в воротах неподвижный, безучастный — до него еще не дошло, что случилось.

— Бросьте! — шепнул я Дэну.

— Нет,— возразил он.— Я хочу вам показать.— Он зажег спичку и медленно проследил на мокрой траве сада отпечатки ног.

— Смотрите, вот!

Он остановился под окном Пейшнс и посветил спичкой. Чьи-то следы, то ли от прыжка, то ли от падения, были явственно видны. Дэн поднял спичку над головой.

— А теперь смотрите сюда! — сказал он.

Ветка яблони ниже окна была сломана. Он задул спичку.

Мне были видны белки его злобных, словно у зверя, глаз.

— Хватит, Дэн! — сказал я.

Внезапно он круто повернулся и с трудом выговорил:

— Вы правы.

Но, повернувшись, он попал прямо в руки к Джону Форду.

Старик стоял подобно могучему колоссу, темнее темной ночи, словно потрясенный чем-то, уставившись на окно. Нам нечего было ему сказать. Казалось, он и не заметил нашего присутствия. Он повернулся и пошел прочь, оставив нас стоять на месте.

— За ним! — сказал Дэн. — Ради бога, за ним! Долго ли до беды.

Мы пошли следом. Сгорбившись и тяжело ступая, он поднимался по лестнице. Потом ударил кулаком в дверь Пейшнс.

— Отвори! — потребовал он.

Я втащил Дэна к себе в спальню. Медленно повернулся ключ, дверь ее комнаты распахнулась, и вот появилась она — в ночной рубашке, со свечой в руке, лицо ее — увы! — такое юное из-за коротких кудряшек и пухлых щек — пылало. Старик — рядом с ней он гигант — опустил руки ей на плечи.

— Что это такое? Ты... у тебя в комнате был мужчина?

Она не опустила глаз.

— Да, — ответила она.

Дэн застонал.

— Кто?

— Эхери Пирс, — ответила она голосом, прозвеневшим, как колокольчик.

Он изо всей силы встряхнул ее, опустил руки, потом опять поднял их, словно собираясь ее ударить. Она глядела ему прямо в глаза; он опустил руки и тоже застонал. Насколько я мог видеть, лицо ее не дрогнуло.

— Я его жена, — сказала она. — Слышите? Я его жена. Уходите из моей комнаты!

Она бросила свечу к его ногам и захлопнула перед ним дверь. Мгновение старик стоял, как оглушенный, затем побрел вслепую вниз по лестнице.

— Дэн, — сказал я. — Неужели это правда?

— Э-э! — ответил он. — Конечно, правда; разве вы не слышали, что она сказала?

Я был рад, что не мог видеть его лица.

— С этим покончено,— проговорил он наконец.— Теперь надо думать о старике.

— Что он станет делать?

— Отправится прямо ночью к этому малому.

Казалось, он в этом нисколько не сомневался. И верно: один человек действия всегда понимает другого.

Я пробормотал что-то вроде того, что я здесь посторонний, и выразил сомнение, могу ли я вообще быть чем-нибудь здесь полезен.

— Да-а,— протянул он в ответ,— себя я тоже считаю сейчас только посторонним; но я поеду с ним, если он захочет меня взять.

Он спустился вниз. Через несколько минут они выехали со двора. Я видел, как они миновали выстроенные в ряд стога сена и въехали под темную сень сосен, затем стук копыт постепенно начал затихать во мраке и в конце концов замер вдали.

С тех пор я и сижу здесь у себя в спальне и все пишу вам, а свеча уже догорает. Я, не переставая, думаю, чем же все это кончится, и упрекаю себя в бездействии. И в то же время, что могу я сделать? Мне жаль ее — больше, чем я могу это выразить словами. Ночь такая тихая — за все время до меня не донеслось ни звука; спит она или бодрствует, плачет или торжествует?

Сейчас четыре; я проспал.

Они вернулись. Дэн лежит в моей постели. Я попытаюсь, по возможности точно, передать вам все, что он рассказал, его же словами.

«Мы ехали,— начал он,— по верхней дороге, избегая узких тропинок, и добрались до Кингсуэра в половине двенадцатого. Паром уже не ходил, и нам пришлось искать кого-нибудь, кто бы нас переправил. Мы заплатили перевозчику, чтобы он дожидался нас, и наняли в «Замке» коляску. Когда мы приехали на Черную мельницу, было уже около часу, и тьма кромешная. Я прикинул, что при южном бризе тот парень должен был добраться до места за час, ну за час с небольшим. Старик ни разу со мной не заговорил; и, пока мы еще не прибыли на место, я начал надеяться, что в конце концов мы того малого не застанем. Велев возчику остаться на дороге, мы несколько раз обошли вокруг дома, никак не могли найти дверь. Потом кто-то окликнул нас:

— Кто там?

— Джон Форд.

— Что вам нужно?

То был старый Пирс.

— Видеть Ээхери Пирса.

Высокая дверь, выходящая на веранду, где мы недавно сидели, была открыта, и мы вошли. В конце комнаты была еще дверь, через нее пробивался свет. Джон Форд подошел к ней; я остался снаружи, в темноте.

— Кто это с вами?

— Мистер Треффри.

— Пусть войдет!

Я вошел. Старик был в постели, он неподвижно лежал на подушках; рядом горела свеча. Поглядеть на него — мертвец мертвецом, только глаза живые. Странно мне было там вместе с этими двумя стариками!»

Дэн умолк, как будто прислушиваясь к чему-то, потом решительно продолжал:

«Присядьте, господа,— сказал старый Пирс,— зачем вам понадобилось видеть моего сына?

Джон Форд извинился и сказал, что ему надо поговорить с ним и что дело не терпит.

Они были очень вежливы друг с другом»,— тихо заметил Дэн.

«Может, вы хотите ему что-нибудь передать через меня? — спросил Пирс.

— Нет, я должен говорить с ним лично.

— Я его отец.

— А я дед своей внучки и единственный ее защитник.

— А-а! — пробормотал старый Пирс.— Это дочка Рика Войси?

— Я хотел бы видеть вашего сына.

Старый Пирс улыбнулся. Странная у него улыбка, какая-то вкрадчивая, хитрая.

— Разве когда-нибудь знаешь, где Ээк пропадает,— сказал он.— Думаете, я заступаюсь за него? Ошибаетесь. Ээк сам за себя постоит.

— Ваш сын здесь! — заявил Джон Форд.— Я знаю.

Старый Пирс бросил на нас подозрительный взгляд.

— Вы приходите в мой дом ночью, как воры,— сказал он,— и меня же пытаетесь уличить во лжи, да?

— Это ваш сын, как вор, ночью прокрался в комнату к моей внучке; именно поэтому я и желаю его видеть».

«Потом,— продолжал Дэн,— они долго молчали. Наконец Пирс сказал:

— Что-то не пойму: он, что же, поступил, как подлец? Джон Форд ответил:

— Он на ней женится, или, клянусь богом, я убью его.

Казалось, старый Пирс, лежа неподвижно на подушках, обдумывал эти слова.

— Вы не знаете Ээка,— сказал он.— Я вам сочувствую и сочувствую дочке Рика Войси; но вы не знаете Ээка.

— Сочувствую!—простонал Джон Форд.—Он украл у меня внучку и будет за это наказан.

— Наказан!—вскричал старый Пирс.—Нас наказать нельзя, никого из нашего рода.

— Бог вас накажет, капитан Ян Пирс, вас и весь род ваш, это так же верно, как то, что я стою здесь.

Старый Пирс улыбнулся.

— Возможно, мистер Джон Форд; но только не вы, это так же верно, как то, что я лежу здесь. Вы не можете наказать его, не причинив зла себе, а этого вы никогда не сделаете.

И это сущая правда!»

Дэн продолжал дальше.

«Так вы мне не скажете, где ваш сын?

Но старый Пирс даже бровью не повел.

— Нет,— ответил он.— А теперь уходите. Я старик, лежу здесь один ночи напролет, ноги уже отказали мне, и дом не заперт; зайти может любой мерзавец; и вы думаете, я боюсь вас?

Нам нечем было крыть, и мы ушли, не проронив больше ни слова. Но старик-то! Он из головы у меня нейдет — девяносто два года и лежит вот так один-одинешенек. Кем бы он ни был, а поговаривают о нем всякое, и какой бы ни был у него сын, но он — *мужчина*. Дело не в его словах и не в страхе, какой он мог пережить тогда, но подумать только, что этот старикан вот так все время лежит там. Ну и мужество, ничего подобного никогда не видел...»

После этого мы сидели молча; сквозь густую листву

уже пробивался рассвет. Со всех сторон раздавались шорохи, словно весь мир поворачивался во сне.

Вдруг Дэн сказал:

— Он обманул меня. Я дал ему денег, чтобы он уехал и оставил ее в покое. Как вы думаете, она спит?

Он не просил участия, всякое сочувствие он счел бы за оскорбление; но он очень страдал.

— Устал, как собака,— сказал он под конец и лег на мою постель.

Сейчас уже день, я тоже устал, как собака...

V

Суббота, 6-е августа.

...Продолжаю свой рассказ с того, на чем оборвал его вчера... Мы с Дэном отправились в путь, как только миссис Хопгуд напоила нас кофе. Старая экономка на этот раз была любопытнее, подозрительнее и придирчивее, чем обычно. Она явно тревожилась: «Хэ-эпгуд, которому часто не спится,—судя по тому, что не слышно бывает его храпа,—этой ночью закричал: «Я слышу стук копыт!» А мы слышали его? И куда это мы так спешим сейчас? Ведь еще очень рано, и завтрак не готов. И Хэ-эпгуд сказал, что будет ливень. Мисс Пэшьенс еще не начинала играть на скрипке, а мистер Форд не выходил из своей комнаты. И как? И что? И почему?.. Ну и ну, глядите-ка, клещ! Что-то рановато для них!» Просто диву даешься, как она ловко хватает всякую такую нечисть, когда я даже разглядеть их не могу. Она спокойно зажала его между большим и указательным пальцами и принялась обрабатывать нас по другому поводу. Не успела она добраться до сути дела, как мы уже проглотили кофе и пустились в дорогу. Но когда мы выезжали, она бегом догнала нас, высоко поддерживая одной рукой юбку, глянула на нас своими умными и встревоженными глазами, окруженными густой сеткой мелких морщинок, и спросила:

— Признайтесь, вам жалко ее?

Вместо ответа мы только пожали плечами. Мы пробирались тропинками — мимо запущенных скотных дворов, где полно свиней и грязной соломы, мимо ферме-

ров с гладко выбритой верхней губой и бакенбардами; через засеянные поля, над которыми пели жаворонки. Вверх, вниз, не выпуская поводьев из рук, пока не добрались до гостиницы, где жил Дэн.

Перед нами в радужной дымке, принимавшей самые причудливые очертания, сверкала река. Казалось, небо сливается с землей. Нигде, кроме Девона, не видел я такого удивительно нежного единения. И всякое судно, почерневшее ли от времени, или совсем новехонькое, казалось в этих светлых водах сказочным кораблем. Высокие зеленые леса, красноватая земля, белые дома — все сливалось в опаловом мареве. Шел дождь, но сквозь тучи пробивалось солнце. Над нами проносились чайки — тени умерших мореходов, жадных до наживы.

Мы велели двум лодочникам отвезти нас к «Волшебнице». Они рьяно взялись за весла, но потом бросили грести.

— К «Волшебнице», сэр? — спросил один вежливо. — Это которая же?

В этом весь крестьянин с нашего Запада! Никогда не скажет вам «нет», никогда не упустит своей удачи, никогда не признается, что чего-то не знает или не может, независим, добродушен и всегда на страже своих интересов. Мы называли Пирса.

— Капитан Зэхери Пирс! — Они обменялись полунасмешливым, полудовольным взглядом. — Вы это, небось, о «Подсолнечной». Она и есть. Э-гей, к «Подсолнечной»!

Когда мы перелезали через черный борт, я слышал, как один сказал другому:

— «Волшебница»! Подходящее название, благородное, лучше не придумаешь!

И оба рассмеялись, налегая на весла.

Нас встретил помощник капитана «Подсолнечной», или, как там ее, «Волшебницы», — высокий молодой парень в одной рубашке, дочерна загорелый, с сильными мускулами и татуировкой на руках, с темными кругами вокруг серых глаз от постоянных наблюдений за погодой.

— Капитан как раз на борту, — сказал он. — Как видите, дел у нас по горло. А ну, пошевеливайся, сукины вы дети! — прикрикнул он на двух молодцов, которые

бездельничали. По палубе тут и там волокли груз, увя-
зывали и складывали его.

— Сегодня пятница; в среду при любых обстоятель-
ствах мы выходим. Пройдите, пожалуйста, вот сюда.—
Он проводил нас вниз по трапу в какую-то дыру, назы-
вавшуюся кают-компанией.

— Как мне доложить о вас? Ах, да! — Это относи-
лось к Дэну.— Так вы мистер Треффри? Значит, мы
компаньоны! — И на лице его заиграла мальчишеская
радость.

— Смотрите! — сказал он.— Вам я могу кое-что по-
казать.— И он отпер дверь каюты.

Казалось, там не было ничего, кроме большущего кус-
ка брезента, который, оттопырившись, свисал с верхней
койки. Он откинул брезент. Потом была отодвинута ниж-
няя койка и на ее месте обнаружился уродливый ствол
снятого со станка пулемета.

— У нас таких шесть,— сообщил он шепотом и с та-
кой невероятной таинственностью, что она только под-
черкивала его природное простодушие.

— Наш капитан говорит, они сейчас там на вес зо-
лота. И винтовок у нас тоже порядочно; а боеприпасов
полным-полно. Он и меня взял в долю. Все лучше, чем
служить в пароходной компании да играть на палубе
в крикет с пассажирами. Я уже решил, как повстре-
чался с капитаном: все это побоку и куплю сахарную
плантацию. Душа-человек, наш капитан! Пойду доложу
ему. Всю ночь его не было; вернулся на борт, когда уже
четыре склянки пробили; теперь прилег вздремнуть, но
ради вас разбужу, не заругает.

Он вышел. Я гадал, что в Эхери Пирсе могло прив-
лечь такого вот юнца? Какой-нибудь сынок, один из
двенадцати детей сельского пастора, не иначе, горит
желанием застрелить нескольких негров, вечно ребячли-
вый и простодушный.

Вернулся он с целой грудой бутылок.

— Что вы будете пить? Капитан выйдет через ми-
нуту. А мне надо наверх. Дел по горло.

Минут через пять Эхери Пирс действительно вышел.
Он даже не протянул нам руки, за что я проникся к не-
му уважением. Лицо у него было утомленное и еще более
вызывающее, чем обычно.

— Слушаю вас, господа,— сказал он.

— Мы пришли спросить вас, как вы намерены дальше поступить? — сказал Дэн.

— Не понимаю,— ответил Пирс,— какое вам до этого дело?

Маленькие глазки Дэна сделались совсем злыми, как у кабана.

— Вы получили от меня пятьсот фунтов,— произнес он.— Как вы думаете, почему я их дал вам?

Зэхери хрустнул пальцами.

— Это меня не интересует,— сказал он.— Я отплываю в среду. Ваши деньги в сохранности.

— Знаете, что я думаю о вас? — сказал Дэн.

— Нет, и знать не хочу! — Потом он улыбнулся со свойственной ему удивительной способностью вдруг преображаться.— А впрочем, как вам будет угодно.

Дэн вконец помрачнел.

— Ответьте мне честно,— проговорил он,— какие у вас намерения по отношению к ней?

Зэхери глянул на него из-под насупленных бровей.

— Никаких.

— И у вас хватит низости отрицать, что вы сделали ее своей женой?

Зэхери спокойно посмотрел на него.

— Нет, отнюдь нет,— ответил он.

— Ради всего святого, зачем вы это сделали?

— А что, вы думаете, только у вас есть право стать ее мужем, мистер Треффри?

— Так поступить с совсем еще девочкой! Где ваше мужское великодушие? Красться потихоньку ночью и для чего? О, господи! Неужели вы не понимаете, что поступили по-скотски?

Зэхери весь потемнел и сжал кулаки. Но он как будто сумел подавить в себе гнев.

— А вы бы хотели, чтоб я оставил ее вам? — усмехнулся он.— Я обещал ей, что возьму ее с собой туда, и мы бы потихоньку уехали в среду, если б не явились вы с вашей проклятой собакой и не вынюхали все. А теперь все провалилось! Нет смысла брать ее с собой. Я вернусь к ней богатым человеком или вообще не вернусь.

— А до тех пор? — вмешался я.

Он с видимым облегчением повернулся ко мне.

— Я бы взял ее, чтобы избежать шума, непременно бы взял, вина не моя, что все открылось. Дело у меня рискованное. Если б она была со мной, это могло бы погубить все предприятие; я бы все время нервничал. И для нее небезопасно.

— Ну, а в каком же положении будет она, пока вас нет? — спросил я. — Вы уверены, что она стала бы вашей женой, если бы знала, что вы собираетесь ее вот так оставить? Вам бы следовало отказаться от вашего предприятия. Вы овладели ею. Ее жизнь в ваших руках: ведь она еще дитя!

По его лицу пробежала дрожь; было видно, что он страдает.

— Откажитесь! — настаивал я.

— Но в нем все мое достояние, — со вздохом отвечал он. — От этого зависит будущее.

Он с сомнением и мольбой взглянул на меня, словно впервые вынужден был думать о последствиях, что так несвойственно его характеру. Я решил было, что он готов уступить. Вдруг, к моему ужасу, Дэн буркнул:

— Будьте мужчиной!

Пирс повернул к нему голову.

— В ваших советах я во всяком случае не нуждаюсь, — отрезал он. — Я не позволю мне указывать.

— До последнего вашего дня, — произнес Дэн, — будете вы передо мной в ответе за то, что так обошлись с ней.

Зэхери улыбнулся.

— Видите эту муху? — спросил он. — Так вот, до вас мне такое же дело, как до нее. — И он смахнул муху со своих белых брюк. — Всего наилучшего!

Благородные моряки, составлявшие экипаж нашей лодки, налегли на весла, но не успели они отвалить от борта, как проливной дождь обрушился на тендер, и его как не бывало; в памяти у меня остался лишь помощник капитана, который, перегнувшись через борт и обратив к нам свое загорелое молодое лицо, махал фуражкой, улыбающийся, полный энергии и дружеских чувств.

...До берега мы добрались насквозь промокшие, недовольные собой и друг другом; я угрюмо поехал домой.

Когда я проезжал мимо сада, расшатанная бурей яблоня с грохотом повалилась на землю.

Яблоки зреют — вот упадут,
О! Хэй-хоу! вот упадут...

Я твердо решил собрать вещи и уехать отсюда. Однако есть во всем этом что-то странное, какая-то непреодолимая прелесть. Для вас, не знающего этих людей, это может показаться лишь чем-то жалким и глупым. Но в жизни нас манит к себе не только хорошее, ясное и полезное, но и странное, непостижимое, таинственное — к худу ли это, иль к добру.

Когда я подъехал к ферме, снова выглянуло солнце; желтая тростниковая крыша просвечивала сквозь деревья — можно было подумать, что под ней таятся радость и добрые вести. Дверь мне открыл сам Джон Форд.

Он начал с извинений, и от этого я еще более почувствовал себя незванным гостем; потом он сказал:

— Я пока не говорил с моей внучкой — ждал Дэна Треффри.

Он был суров и печален, как человек, которого гнетет горе. Очевидно, он не спал всю ночь; одежда его была в беспорядке, я думаю, он вообще не раздевался. Он не такой человек, какого можно пожалеть. У меня было чувство, что я поступил бесцеремонно, став свидетелем всей этой истории. Когда я рассказал ему, где мы были, он проговорил:

— Вы очень добры, что беспокоились. Да иначе вы и не могли бы поступить! Но теперь, когда все кончено...

И он сделал жест, полный отчаяния. Казалось, гордость в нем борется с невыносимой болью. Немного погодя он спросил:

— Вы говорите, что видели его? Он во всем признался? Дал объяснения?

Я постарался растолковать ему позицию Пирса. Перед этим стариком с его непреклонностью и суровым понятием о долге я чувствовал себя так, словно держу сторону Зэхери и обязан добиться справедливости.

— Как же это понять? — сказал он наконец. — Он овладел ею, вы говорите, чтобы не потерять ее; и теперь через две недели покидает?

— Он говорит, что хотел взять ее с собой...

— И вы этому верите?

Я не успел ответить, потому что увидел в дверях Пейшнс. Сколько она там простояла, не знаю.

— Это правда, что он собирается уехать без меня?! — воскликнула она.

Я мог лишь кивнуть головой.

— Вы от него это сами слышали?

— Да.

Она топнула ногой.

— Но он же обещал! Обещал!

Джон Форд приблизился к ней.

— Не прикасайся ко мне, дед! Я ненавижу вас всех! Пусть делает, что хочет, мне все равно.

Лицо Джона Форда посерело.

— Пейшнс, — сказал он, — неужели тебе так хочется уехать от меня?

Она поглядела на нас в упор и резко ответила:

— К чему все объяснения? Они только причинят тебе боль, хочу я этого или нет.

— Что ты надеялась найти там, в дальних краях?

Она засмеялась.

— Найти? Не знаю... ничего; по крайней мере никто не стал бы меня угнетать. А теперь ты, наверное, запрешь меня, потому что ведь я слабая девушка, не то, что вы — сильные мужчины.

— Замолчи! — сказал Джон Форд. — Я заставляю его взять тебя.

— Не смей! — закричала она. — Я тебе не позволю. Он волен делать, что хочет. Он свободен — слышите вы все? Свободен!

Она проскользнула в дверь и исчезла.

Джон Форд покачнулся, как будто земля ушла у него из-под ног. Я оставил его. Потом пошел на кухню, где за столом сидел Хопгуд и ел хлеб с сыром. Увидев меня, он встал и очень сердечно предложил мне холодный бекон и кружку эля.

— Я так и думал, сэр, что вы придете, — сказал он, продолжая жевать. — Сегодня в доме никто не заботится о еде. Старуха возится с мисс Пэшьенс. Молодые девицы стали больно уж решительные. — Он утер рукавом свой широкий, жесткий рот и набил трубку. — Особ-

ливо, когда это у них в крови. Сквайр Рик Войси был джентльмен, да и миссис Войси, что ж, настоящая леди, только...— добавил он, перекладывая трубку из одного угла рта в другой,— только страсть какая сварливая.

Сердце у Хопгуда доброе и, я уверен, настолько же нежное, насколько он сам кажется суровым, однако не тот он человек, с которым захочешь обсуждать подобные дела. Я поднялся к себе и начал укладывать вещи, но вскоре бросил, взялся за книгу и в конце концов уснул.

Проснувшись, я поглядел на часы; было пять. Я проспал четыре часа. Одиноким луч солнца пронизывал комнату от одного окна до другого; было слышно, как молоко мерно плещет о стенки ведра; потом вдруг раздался какой-то тревожный шорох и тяжелые шаги.

Я распахнул дверь. Хопгуд и один из дозорных береговой охраны медленно несли вверх по лестнице Пейшнс. Она неподвижно лежала у них на руках, лицо ее было бледнее платя, на лбу ссадина и несколько капель запекшейся крови. Руки ее были сведены судорогой, она медленно сжимала и разжимала пальцы. Когда мужчины, поднявшись наверх, свернули, она разомкнула губы и с трудом произнесла:

— Так хорошо, не опускайте меня. Я могу потерпеть.

Когда они проходили мимо, она, едва улыбаясь глазами, сказала мне что-то, чего я не мог разобрать; дверь закрылась, и опять послышался снизу взволнованный шепот. Я ждал, когда мужчины выйдут, и остановил Хопгуда. Он вытирал со лба пот.

— Бедная девочка! — сказал он.— Упала... с обрыва... на спину... увидели часовые... это они ее подобрали. О, господи, помоги ей... может, она не так сильно разбилась! А мистер Форд ничего не знает! Я еду за доктором.

Прошел час, а то и больше в ожидании, пока приехал врач, совсем молодой, почти мальчик. Когда он вышел из комнаты, вид у него был серьезный.

— Эта старая женщина там... Она предана ей? Ухаживает за ней как следует?.. Говорите, предана, как собака? Прекрасно! Не знаю... ничего не могу обещать! Боюсь, это позвоночник, необходим консилиум! До чего храбрая девушка! Скажите мистеру Форду, чтобы он вы-

звал самого лучшего врача, какого можно найти в Торки... Есть там доктор К... Завтра утром я прежде всего наведаюсь сюда. Ей необходим полный покой. Я оставил снотворное, ночью у нее будет жар.

Джон Форд наконец вернулся. Бедный старик! Нелегко ему было удержаться и не войти к ней из боязни ее потревожить! Я слышал, сколько раз за несколько часов он спускался по лестнице, тяжело дыша и вздыхая, а потом слышал его одинокие шаги, когда он возвращался назад. Около одиннадцати, как раз когда я собирался лечь, к моей двери подошла миссис Хопгуд.

— Вы не сходите к ней, сэр? — сказала она. — Она вас спрашивает. Ничего, ничего не знаю, только видеть вас она хочет; верно, бредит, а? — По щеке старой женщины скатилась слеза. — Сходите; может, ей это и вредно будет, но, не знаю... а иначе она разволнуется.

Я тихонько вошел в ее комнату. Пейшнс лежала на подушках, полузакрыв глаза, и часто дышала. Она никак не обнаружила, что хотела меня видеть или что знает о моем присутствии. Свеча, стоявшая у постели, уже превратилась в огарок и еле светила; окно и дверь были открыты настежь, и все-таки не чувствовалось ни дуновения; слабый, тусклый язычок пламени был совсем неподвижен, отбрасывая на потолок чуть заметное желтое пятно, словно след от пыльцы лютика на подбородке. Потолки здесь очень уж низкие! За широким, начинавшимся от самого пола окном, не шелохнувшись, чернели яблоневетки. Было слишком темно, чтобы разглядеть все хорошенько. В ногах кровати стоял сундук, на нем и сидела миссис Хопгуд, шевеля губами, словно бормоча что-то. К чуть затхлому запаху времени примешивались и другие — аромат резеды, яблок и какого-то душистого мыла. Ковра на полу не было, в комнате не видно было ни одной темной вещи, кроме скрипки, висевшей над кроватью. Торжественно тикали маленькие, круглые часы.

— Почему вы не даете мне того лекарства, ма? — проговорила слабым, отрывистым голосом Пейшнс. — Я хочу уснуть.

— Вам очень больно? — спросил я.

— Да, конечно, все болит. — Она повернула ко мне лицо. — Вы думаете, я это нарочно?.. Нет, нет.

Если бы нарочно, у меня бы лучше получилось. Не было бы этой отвратительной боли.— Она прикрыла глаза пальцами.— Жаловаться нехорошо! Но так тяжело! Больше я не буду... я... обещаю.

Она с благодарностью выпила снотворное, сделав при этом гримасу, как ребенок, которому дали лекарство.

— Как вам кажется, я еще долго не смогу играть? Ах да, забыла... думать теперь надо совсем о другом.— Она протянула мне руку.— Посмотрите на это кольцо. Я замужем — разве не забавно? Ха, ха! Никто никогда не поймет — и это тоже забавно! Бедный дед! Причины не было никакой, поверьте — все я сама. Я вас и позвала, чтобы сказать это; ма сидит здесь, но она не в счет; почему ты не в счет, ма?

Лихорадка боролась со сном; Пейшнс откинула одеяло и то и дело чуть приподнимала свою худенькую руку, словно от этого ей становилось легче; глаза ее сделались огромными и наивными, как у ребенка; пламя свечи разгорелось и ярко светило.

— Ему никто пусть не говорит — никто; обещайте!.. Если бы я не поскользнулась, тогда другое дело. Что бы случилось тогда? Вы не знаете, я тоже... Забавно! Вы думаете, я любила его? Без любви не выходят замуж, правда? Совсем без любви, я имею в виду. Но, понимаете, мне хотелось быть независимой; а он обещал взять меня с собой, а теперь, после всего, решил оставить! А я не хочу, чтобы меня оставляли, не могу! Когда я подошла к обрыву — к тому месту, которое сплошь заросло плющом, — прямо подо мной было море; я и подумала, что, если броситься отсюда, все сразу кончится; и полезла на уступ — оттуда мне казалось легче, но он был так высоко, что мне захотелось назад; и тут я поскользнулась; а теперь все болит... Когда все время болит, думать невозможно.

Я понял, что она впадает в забытие.

— Никто не может спасти вас от... самого себя. Ему не надо говорить... даже если... не надо... я не хочу... чтобы вы уходили, потому...— Веки ее сомкнулись, и она уснула.

Этим утром они, как видно, еще не знают, лучше ей или нет.

Вторник, 9-ое августа.

Кажется, что прошло не три дня, а три недели с тех пор, как я написал все это. Как медленно течет время в доме, где лежит больной!.. Сегодня утром были доктора, они говорят, что жить ей осталось сорок часов. С той минуты, как она все узнала, с ее губ не сорвалось ни единой жалобы. С виду она совсем здорова; щеки ее еще не успели осунуться и поблекнуть. Сильных болей нет, но тело медленно цепенеет... Джон Форд пожелал, чтобы она непременно узнала правду. Сначала она лишь отвернулась к стене и вздохнула; а потом сказала бедной старушке Хопгуд, которая плакала навзрыд: — Не плачь, ма, мне все равно.

Когда они ушли, она попросила скрипку. Велела держать ее, как ей было удобно, и провела смычком по струнам; но звуки у нее полились такие дрожащие и неуверенные, что она бросила смычок и разрыдалась. И с этого мгновения ни жалобы, ни стоны...

Однако вернусь назад. В воскресенье, то есть на другой день после того, что я описал в прошлый раз, возвращаясь с прогулки, я встретил мальчонку, который что-то грустно высвистывал на своей свистульке.

— Пошли, дяденька! — позвал он. — Мисс хочет тебя видеть.

Я пошел к ней. Утром она выглядела лучше, а сейчас казалась всем обессиленной. В руке у нее было письмо.

— Вот, — сказала она. — Сама я никак не разберу. Он чего-то хочет от меня... но мне трудно думать, и глаза плохо видят. Прочитайте мне, пожалуйста.

Письмо было от Эхери. Я прочел ей его тихонько, так как миссис Хопгуд сидела тут же и вязала, не сводя глаз с Пейшнс. Когда я кончил, она заставила меня перечитать письмо еще и еще раз. Сначала она как будто была довольна, даже немного возбуждена, но потом взгляд ее сделался усталым и горько насмешливым, и не успел я дочитать письмо в третий раз, как она уже спала. Письмо было удивительное, в нем словно раскрывался весь человек. Я подсунул его ей под руку, покоившуюся на простыне, и вышел. Любопытство привело меня к тому самому обрыву, с которого она упала. Я оты-

скал на скале место, донизу, сплошь увитое плющом; уступ, на который она поднялась, был чуть правее меня — настоящее безумие. Здесь я понял, какие бурные страсти владели ею! Позади, окаймленное маками, лежало сжатое поле, там копошились и летали рои насекомых; а где хлеб еще не был убран, по-прежнему хлопотали коростели. До самого горизонта распростерлось голубое небо, море сияло во всем своем великолепии под этим черным утесом, там и тут тронутым красным. Над полями с их оврагами и ложбинами повисли огромные белые облака. Здесь небо никогда не бывает медно-красным, как на восточном побережье; вечно оно покрыто здесь сонными, ватными облаками, неуловимо меняющими свою форму и плывущими куда-то. У меня все еще звучали в ушах некоторые фразы из письма Ээхери Пирса. В конце концов он такой, каким его сделала сама жизнь, окружающая среда, семейные традиции. Идеалиста не найдешь там, где даже воздух нежен и все приятно взору (он рождается там, где человек сам должен создавать для себя красоту и покой); поборника закона и порядка не найдешь среди тех, чьи предки тысячами ни днем, ни ночью не сводили глаз с моря — моря, таящего в себе обещание неведомого, этого вечно изменчивого пленника собственных страстей. Ведь человек немногим отличается от животного...

«Жизнь достаточно тяжела и без добровольных оков,— писал он.— Не осуждай же меня! Разве ты будешь счастливее, если я увлеку тебя в гущу опасностей? Добившись успеха, я сделаю тебя богатой женщиной; но с тобой рядом я потерплю неудачу. Я становлюсь мягче, когда гляжу на тебя. В море мужчина мечтает обо всем, что ему дорого на земле, он мечтает о вереске и о меде — они похожи на тебя; он мечтает о яблонях и зеленой траве в саду — они похожи на тебя; порой он только и делает, что лежит на спине и мечтает — и эти мечты больше всего похожи на тебя...»

Помню, когда я читал эти строки, каким удивительным, нежным, чуть насмешливым стало лицо Пейшнс; и она тут же сказала: «Все это глупости, правда?»

Потом он подробно писал, чего он достигнет в случае успеха, и о том, чем он рискует, и уверял, что дело верное, если только он будет сохранять самообладание.

«Мне понадобится не больше двух месяцев,— продолжал он.— Оставайся у себя, родная, или перебирайся к моему отцу. Он тебе будет рад. Там есть комната моей матери. И никто не скажет тебе: «Нельзя»,— ты сможешь играть на берегу моря; а темными ночами звезды будут танцевать для тебя над водой пчелиным роем. Я часто глядел на них, думая о тебе...»

Пейшнс прошептала: «Не читайте этого»,— и в следующий раз я пропустил это место... Дальше он давал волю чувствам.

«Когда я с этим разделаюсь, перед нами откроется весь мир. Я знаю, куда увезти тебя. Есть одно такое место, не слишком жаркое и не слишком прохладное, где ты сможешь сидеть весь день в тени и любоваться лианами и кокосовыми пальмами, а вокруг — тишь, безмолвие; ничего не надо делать, ни о чем не надо заботиться; там есть все плоды, о каких только можно мечтать; там тихо, только кричат попугаи и журчат ручьи, да изредка раздается всплеск, когда какой-нибудь негр ныряет в озеро. Мы туда поедem, Пейшнс! Нет такого моря, в какое нельзя было бы попасть на судне водоизмещением в восемьдесят тонн. Мир прекрасен для тех, кто стремится завоевать его; в нем осталось еще столько неизведанного! Я окружу тебя таким богатством, что ты сама себя не узнаешь. Мужчина создан не для того, чтобы отсиживаться дома...»

В каждой строчке письма — несмотря на подлинную его страстность — чувствовалось непреклонное стремление этого человека к своей цели, в данном случае довольно корыстной. Сам он не отдает себе в этом отчета, так как действительно влюблен в нее; но забыть об успехе своего дела он не может. Он полон энергии — истовой энергии! Теперь мне не кажется удивительным, что ей пришлось ему уступить.

Каких только соблазнительных картин не рисовал он ей! И, конечно, она чувствовала к нему влечение — я не забыл ее взгляда, который перехватил тогда на Черной мельнице. Но в конечном счете женой его она стала потому, что она — Пейшнс Войси: сделает что-нибудь, а потом хочет «повернуть назад». И вот теперь она умирает; ни он, ни кто другой уже не увезет ее. Горько думать о трепетном чувстве, переполнявшем его, когда он

писал в своей темной каюте письмо этой обреченной на смерть девушке.

«Я всегда хотел разбогатеть,— писал он,— с тех самых пор, когда еще мальчишкой пас на лугу коров... Теперь я хочу этого для тебя и добьюсь своего. Я готовился два года; и все, что мне нужно знать, я теперь знаю... Отправив это письмо, я уеду в Лондон. Надо еще о многом позаботиться; вблизи от тебя я больше не могу себе доверять, пока мы не поднимем якорь. Когда я окрестил свое судно «Волшебницей», я думал о тебе — ты моя волшебница...»

Дальше он заклинал ее быть на тропе, ведущей к бухте, ровно в семь вечера в среду (то есть завтра)—он сойдет на берег, чтобы попрощаться с ней. Письмо было подписано: «Твой любящий муж Зэхери Пирс...»

Я долго лежал на краю поля; вокруг царил полный покой. В церкви заблаговестили. От снопов крадучись тянулись длинные тени; лесные голуби один за другим упорхнули в свои гнезда; небо на западе покрылось багряными полосами, овраги и ложбины купались в последних лучах солнца. Погода прекрасная для сбора урожая; но всюду какая-то гнетущая тишина — тишина ожидания...

Жизнь на ферме течет как обычно; утром и вечером молитвы. Джон Форд читает их с ожесточением, словно он вот-вот готов возроптать на бога. Утром и вечером он навещает ее, тяжело вздыхая, выходит из ее комнаты и идет к себе — наверное, молиться. С сегодняшнего утра я избегаю встречаться с ним. Он сильный старик, но это его ломит....

VII

Кингсуэр, суббота, 13 августа.

Все кончено — завтра я уезжаю отсюда за границу. Тихий полдень — на кладбище ни дуновения ветерка. Я пришел туда раньше всех на целых полчаса. Несколько рыжих коров забрели в соседний сад и чесались головами о церковную ограду. Пока я стоял там, пришла какая-то старушка и прогнала их; потом, нагнувшись, она стала подбирать яблоки, упавшие раньше времени.

Яблоки зреют — вот упадут,
О! Хэй-хоу! вот упадут;
Люди придут, их соберут,
О! Хэй-хоу! их соберут.

...Пейшнс хоронили совсем просто — слава богу, обошлось без этого мерзкого катафалка, — несли ее работницы фермы, а провожали только Джон Форд, чета Хопгудов, я и молодой доктор. Над могилой прочли молитву. До сих пор я слышу голос Джона Форда: «Аминь!» Когда все было кончено, он молча пошел прочь, прямо по солнцепеку, не покрыв головы. Вечером я еще раз пошел на кладбище и долго бродил между могилами. «Ричард Войси», «Джон, сын Ричарда и Констанс Войси», «Марджори Войси» — столько поколений в одном этом углу; потом Ричард Войси и Агнесса, его жена, а рядом этот свежий холмик, по которому, нахохлившись, уже прыгал воробей и метались тени яблонь.

Еще немного, и рассказ мой будет окончен...

В среду днем она опять позвала меня.

— Осталось ждать всего только до семи, — прошептала она. — Он обязательно придет. Но, если я... умру раньше... скажите тогда ему... что мне его жаль. Они все твердят мне: «Нельзя разговаривать, нельзя разговаривать! Разве это не глупо? Как будто когда-нибудь будет можно! Только сегодня вечером, и больше я не буду уже говорить. Пусть все придут, пожалуйста... я хочу их всех видеть. Когда умираешь, чувствуешь себя свободнее, чем когда бы то ни было, — никто не ждет от тебя поступков, всем безразлично, что ты скажешь... Он обещал мне, что я буду делать, что захочу, когда выйду за него замуж, — я никогда не верила этому до конца, а сейчас... я могу делать, что захочу, и говорить, что мне вздумается.

Она откинулась на подушки и смолкла; выдать самые сокровенные свои мысли — какие есть у каждого из нас, — столь священные, что словами их не выразить, она не могла.

Я навсегда запомню ее вот такой: с едва уловимой улыбкой в полузакрытых глазах и с приоткрытым пунцовым ртом — на ее маленьком, круглом, запрокинутом вверх лице было странное выражение насмешки, радости, сожаления; светлая комната, наполненная свежестью цветов, легкий ветерок бьет зеленой веткой яблони

об окно. Ночью скрипку сняли с гвоздя и унесли; она этого и не заметила... Когда пришел Дэн, я уступил ему свое место. Он осторожно взял ее руку в свою огромную ручищу, не проронив ни слова.

— Какой маленькой кажется вот так моя рука,— сказала она.— Слишком маленькой.

Дэн тихо положил ее руку обратно на постель и вытер себе лоб. Пейшнс тут же воскликнула шепотом:

— Разве здесь так жарко? Я не замечала.

Дэн наклонился, прикоснулся губами к ее пальцам и вышел из комнаты.

Длинный это был день, самый длинный в моей жизни. Иногда казалось, что она уснула, иногда она тихо разговаривала сама с собой о матери, о своем деде, о саде, о кошках — словно ее одолевали всякие беспорядочные, пустячные и даже смешные воспоминания; и ни разу, мне помнится, она не говорила о Зэхери, только время от времени спрашивала, который час... С каждым часом она заметно слабела. Джон Форд сидел рядом с ней неподвижно, слышно было лишь его тяжелое дыхание; порой она, не произнося ни слова, гладила пальцами его руку. Это был итог всей их жизни вдвоем. Один раз он стал громко хриплым голосом молиться за нее; потом ее жалостный нетерпеливый взор обратился ко мне.

— Скорей,— прошептала она.— Я хочу видеть его; мне так... холодно.

Я вышел и бросился бегом по тропе к бухте.

Зэхери стоял, опершись о калитку изгороди, он пришел на час раньше назначенного срока; на нем был его обычный старый синий костюм и фуражка с кожаным козырьком, как и в тот день, когда я увидел его впервые. Он ничего не знал о случившемся. Но я убежден, что с первых же слов он понял все, хотя не мог примириться с этим. Он все время повторял:

— Не может быть. Через несколько дней она будет здорова,— она растянула связки! Как вы думаете, морское путешествие... У нее хватит сил, чтобы отправиться сейчас же?

Больно было смотреть на него, предчувствие боролось в его душе с надеждой. Лоб его покрылся испариной. Когда мы поднимались по тропе, он повернулся и указал на море. Там стоял его тендер.

— Я мог бы взять ее на борт хоть сейчас. Нельзя? Что же с ней такое? Позвоночник? О господи! Доктора... Иногда они делают чудеса!

Нельзя было без жалости смотреть, как он пытается закрыть глаза на правду.

— Это невозможно, она ведь так молода! Мы идем слишком медленно.

Я сказал ему, что она умирает.

На мгновение мне показалось, что он хочет убежать. Потом он тряхнул головой и бросился к дому. У лестницы он схватил меня за плечо.

— Это неправда! — вымолвил он. — Теперь ей будет лучше, раз я здесь. Я остаюсь. Пусть все пропадает. Я остаюсь.

— Настал миг, когда вы можете доказать ей свою любовь, — сказал я. — Возьмите себя в руки, дружище!

Он вздрогнул.

— Да!

Вот все, что он ответил.

Мы вошли в ее комнату. Казалось невероятным, что она умирает; щеки ее ярко горели, губы трепетали и чуть припухли, словно от недавних поцелуев, глаза блестели, волосы были такие темные и вьющиеся, лицо такое юное...

Через полчаса я подкрался к открытой двери ее комнаты. Она лежала неподвижная и бледная, как простыня. В ногах кровати стоял Джон Форд; рядом, склонившись к самым подушкам и положив голову на сжатые кулаки, сидел Зэхери. Было очень тихо. Листья больше не шелестели за окном. Когда кризис уже наступил, как мало человек чувствует — ни страха, ни сожаления, ни скорби, лишь сознание, что игра окончена, и острое желание поскорее уйти!

Вдруг Зэхери вскочил, пробежал мимо, не видя меня, и ринулся вниз по лестнице.

Через несколько часов я вышел на тропу, ведущую к бухте. Было совершенно темно; трепетный огонек «Волшебницы» все еще оставался на месте и казался не более светлячка. Потом впереди я услышал рыдания — плакал мужчина; ничего страшнее мне не приходилось слышать. В каких-нибудь десяти шагах от меня из-под холма поднялся Зэхери Пирс.

Идти за ним я не осмелился и присел у изгороди. В едва родившейся тьме этой молодой ночи что-то неуловимо напоминало ее: мягкий песчаный холм, запах жимолости, прикосновение папоротника и ежевики. Всех нас настигает смерть, и если уж приходит конец, что поделаешь, но для тех, кто остается, это всегда непостижимо!

Через некоторое время тендер дал два свистка, неясно замелькали его огни по правому борту — и все исчезло...

VIII

Торки, 30-е октября.

...Помните письма, которые я писал вам с фермы в Муэ около трех лет тому назад? Сегодня я туда ездил верхом. По дороге я остановился в Бриксеме позавтракать и спустился пешком к причалу. Недавно прошел ливень, но солнце уже снова выглянуло, освещая море, бурорыжие паруса и сплошной ряд шиферных крыш.

Там стоял траулер, по всей очевидности, побывавший в переделке. Парень с острой бородкой и тонкими губами, одетый в драную синюю фуфайку и морские сапоги, наблюдал за ремонтными работами и сказал мне с некоторой гордостью:

— Попали в переделку, сэр; желаете взглянуть? — Потом, сощутив вдруг свои маленькие голубые глаза, добавил: — Эге, да я вас помню. В тот раз, когда я вел это самое судно, на борту была еще молодая леди.

Это оказался Прол, подручный Зэхери Пирса.

— Ну да, — продолжал он, — это то самое судно.

— А капитан Пирс?

Он прислонился к поручням и сплюнул:

— Настоящий мужчина был; никогда больше не встречал таких.

— Ну как, удачное было плавание?

Прол поглядел на меня со злостью.

— Удачное? Нет, сплошные неудачи с начала и до конца, только одни неприятности. Капитан сделал все, что в человеческих силах. Когда не везет, то говорят: «Провидение!» Чепуха все это! Только вот что я скажу,

слишком много развелось в наше время людей, беспокойных людей; мир стал тесен.

При этих словах мне вдруг представился Дрейк, ворвавшийся в нашу современную жизнь, потому что мир словно перевернулся; Дрейк, опутанный сетями бюрократизма, электрических проводов и всех прочих достойных изобретений нашей цивилизации. Неужели человеческий тип может пережить свое время? Сохраниться в веках, где ему уже нет места? Он живет — и иногда рвется к прошлому... Все игра воображения! Так ведь?

— Значит, вы засыпались? — сказал я.

Пролла передернуло.

— Так бы я не сказал, сэр... слово уж больно мерзкое. Проклятие! — продолжал он, уставившись на свои сапоги. — Конечно, и я тут был виноват. Нас окружили враги, а меня угораздило сломать себе ногу. Капитан меня не бросил. «Мы оба из Девона, — сказал он мне, — и друг друга не бросим». Мы пробыли там шесть дней вместо двух; а когда вернулись к судну... оказалось, его конфисковала полиция за незаконный ввоз оружия.

— А что случилось с капитаном Пирсом?

— Думаю, сэр, он уехал в Китай, но наверняка не могу сказать.

— Но он жив?

Пролл поглядел на меня как-то зло и тревожно.

— Его убить нельзя! Когда-нибудь все мы умрем, это верно. Но не было еще человека с такой хваткой, как у капитана Зэхери Пирса.

В это я верю; его убить трудно. Я вижу его перед собой, невозмутимого, с вызывающим взглядом и пленительной улыбкой; чуть вьющаяся борода и темные бакенбарды; и всегда он внушал чувство отчаяния, что никогда и никому не одолеть его и никогда ему не одолеть самого себя.

Я ушел, дав Пролу полкроны. Уходя, я слышал, как он заговорил с какой-то дамой. «Попали в переделку, мэм! Желаете взглянуть?»

Позавтракав, я поехал в Муэ. Старый дом совсем не изменился; только на яблонях не было яблок, и листья на них начинали желтеть и опадать. В саду мимо меня прошмыгнул один из котов Пейшнс, все еще с бантом на шее, он охотился за какой-то пташкой. Джон Форд

показал мне все свои последние усовершенствования, но ни разу ни словом, ни жестом не намекнул на прошлое. Без особого интереса он осведомился о Дэне, который теперь опять живет в Новой Зеландии; его щетинистая борода и волосы поседели; он стал очень грузным, и я заметил, что ноги не всегда слушаются его; он часто останавливается, опершись на палку. Прошлой зимой он очень болел; говорят, что иногда он засыпает прямо на полуслове.

Мне удалось несколько минут побыть с Хопгудами. Мы говорили о Пейшнс, сидя в кухне под полкой с посудой, где застоялся запах дыма, копченой свинины и времени, а запахи, как известно, особенно остро будят воспоминания. Волосы доброй женщины, так мило спадающие двумя прядями на лоб из-под чепца, еще сильнее тронула седина; и на лице чуть прибавилось морщин. На глаза ее все еще навертываются слезы, когда она заговаривает о своей «овечке».

О Эхери я не узнал ничего, но она рассказала мне про смерть старого Пирса.

— Так его там и нашли, на солнце... можно сказать, уже мертвым. Да вот Хэ-эпгуд вам все расскажет.

И Хопгуд, перекидывая, как всегда, во рту свою трубку, что-то пробормотал с застывшей улыбкой.

Когда я уезжал, он пошел проводить меня до ворот.

— Все мы смертны, сэр,— сказал он, упираясь своим огромным плечом в оглоблю.— Мистер Форд держится молодцом! Старики смерти никогда не ждут... Да! Ужасно все получилось; с тех пор моя старуха никак не придет в себя. Вот вам и все новости, только нечего слишком много думать об этом.

Я свернул с дороги, чтобы пройти мимо кладбища. Там росли цветы, хризантемы и астры, они ничуть не увяли; над ними возвышался белый памятник, уже с надписью:

«ПЕШЬЕНС»
ЖЕНА ЭХЕРИ ПИРСА
«Бог дал, бог и взял»

Рядом, как и прежде, паслись рыжие коровы; в небе теснились большие белые облака, две-три пичужки высвистывали чуть печально, в воздухе стоял запах опавших листьев...

СПАСЕНИЕ ФОРСАЙТА

I

Суизин Форсайт лежал в постели. Углы его рта под седыми усами были опущены до самого двойного подбородка. Тяжело дыша, он сказал:

— Доктор говорит, что я серьезно болен, Джемс. Джемс, его брат-близнец, приложил к уху ладонь.

— Не слышу. Говорят, мне надо лечиться. Вечно надо лечиться от чего-нибудь. Эмили тоже лечилась...

Суизин сказал:

— Как ты бормочешь, Джемс, ничего не разобрать. Вот моего лакея, Адольфа, я хорошо слышу. Я его выучил... А тебе надо обзавестись слуховым рожком. Ты совсем расклеился, Джемс.

Они помолчали. Потом Джемс Форсайт, вдруг оживившись, сказал:

— Ты, наверно, уже написал завещание и оставил все деньги семье, ведь больше тебе их завещать некому. А то вот третьего дня умер Денсон и завещал все свои деньги на больницу.

Седые усы Суизина ошетинились.

— Этот дурак доктор тоже говорил, чтобы я составил завещание,— сказал он.— Терпеть не могу, когда ко мне лезут с советами насчет завещания. Ем я хорошо: вчера вечером я съел куропатку; и с каждым днем аппетит у меня улучшается. Доктор сказал, что мне нельзя пить шампанское! А я плотно завтракаю. Мне еще

нет и восьмидесяти. И тебе ведь столько же лет, Джемс. А ты выглядишь неважно.

Джемс Форсайт сказал:

— Тебе нужно посоветоваться с другим доктором. Пригласи Бланка, лучше него не найти врача. Я приглашал его к Эмили. Мне это обошлось в двести гиней. Он отправил ее в Хомбэрг — лучшего места тоже не найти. Туда сам принц ездит — все туда ездят.

Суизин Форсайт сказал:

— Я совсем не бываю на воздухе и очень плохо сплю. А ведь я купил новую коляску за большие деньги. Ты болел когда-нибудь бронхитом? Говорят, что шампанское вредно, а мне кажется, — нет целебнее лекарства.

Джемс Форсайт встал.

— Тебе все-таки следует пригласить другого доктора. Эмили просила передать тебе привет. Она хотела навестить тебя, но ей пришлось уехать в «Ниагару». Сейчас все туда ездят — это в моде. Рэчел ездит туда каждое утро, а это уже слишком, боюсь, как бы не слегла. Там сегодня маскарад, и герцог будет раздавать призы.

Суизин Форсайт сказал сердито:

— У меня отвратительно готовят, никак не могу их выучить. А вот в клубе подают отличный шпинат.

Было видно, как у Суизина дрожат под одеялом ноги.

— Ты, наверное, неплохо заработал на картинах Тинторетто? Да и земельная рента дает немало. У тебя сейчас столько денег, что ты, пожалуй, не знаешь, куда их девать, — сказал Джемс Форсайт, причмокивая мокрыми губами.

Суизин Форсайт бросил на него уничтожающий взгляд.

— Деньги! — проворчал он. — Один доктор во сколько обходится.

Джемс Форсайт протянул ему холодную влажную руку.

— До свидания! Ты все же пригласи другого врача. Не могу так долго держать лошадей на улице — у меня новая пара, стоила мне три сотни. Береги себя. Я говорю с Бланком. Тебе надо его пригласить — все говорят, что лучше нет врача. До свидания.

Пристально глядя в потолок, Суизин Форсайт подумал: «Бедный Джемс! Ну и скряга же он! А у самого, наверно, не меньше двухсот тысяч!»

Он задремал, раздумывая о жизни...

Он был болен и одинок. Много лет он был одинок, а последние два года к тому же еще и болен; но он хотел прожить жизнь так же, как он выкурил свою первую сигару,— стойко, до самого конца. Каждый день его возили в клуб. Он торжественно восседал на пружинном сиденье своего экипажа, сложив руки на коленях, слегка наклонившись вперед и чуть-чуть покачиваясь. Пряча складки подбородка под воротничком, опираясь на трость и стараясь держаться прямо, он поднимался по ступеням в мраморную залу. Потом он обедал, сидя перед ведерком со льдом, в котором стояла бутылка шампанского; обедал величественно, смакуя еду, завесив грудь салфеткой и косясь на лакея. Изредка он оглядывался по сторонам, но ни разу не позволил себе опустить голову или сгорбить спину.

Он был стар и глух, а поэтому ни с кем не разговаривал. И никто не разговаривал с ним. Клубный сплетник, ирландец, говорил каждому новичку:

— Посмотрите на старика Форсайта! Что-то у него было в прошлом — вот оттого он такой угрюмый.

Но у Суизина в жизни не было ничего такого, отчего можно было стать угрюмым.

Вот уже много дней Суизин лежал в своей спальне, пропахшей опопонаксом и сигарами, сверкавшей серебром, пурпуром и электрическим светом. Шторы были спущены, в камине тлели угли; на столике у кровати стоял кувшин с ячменным отваром и лежал номер «Таймса». Суизин попытался читать, но не мог и снова погрузился в раздумье. Его бледное, словно пергаментное лицо с тяжелым квадратным подбородком было похоже на маску, покоившуюся на подушке. Как он был одинок! Если бы в этой комнате была женщина, все было бы иначе! Почему он не женился! Суизин глубоко вздохнул, глядя в потолок,— и вспомнил. Это было давно — сорок с лишним лет тому назад, а казалось, что это было только вчера...

Случилось это, когда Суизину было тридцать восемь лет и когда он в первый и последний раз в жизни пу-

тешествовал по Европе вместе с братом Джемсом и неким Тракером. По пути из Германии в Венецию он остановился в Зальцбурге в гостинице «Золотые Альпы». Был конец августа, погода стояла чудесная: солнечные лучи и тени листьев дикого винограда играли на стенах, а по ночам лунный свет и снова тени от листьев на стенах. Суизин не был расположен слушать чужие советы и потому не пошел осматривать цитадель; весь этот день он провел в спальне у окна в полном одиночестве и выкурил одну за другой множество сигар, неодобрительно поглядывая на прохожих. После обеда, не выдержав скуки, он вышел погулять. Он шел важно, выпятив грудь, как голубь выпячивает зоб, и оглядывая холодным и вопрошающим взглядом людей в военной форме; обилие военных на улице было неприятно и казалось оскорбительным. Его сплин только увеличился при виде всей этой толпы бородатых иностранцев, которые говорили на непонятном языке и курили скверный табак. «Ну и публика», — думал он. Внимание его привлекла музыка, доносившаяся из маленького кафе; он вошел и сразу почувствовал какую-то жажду приключений, но без малейшего желания испытать неудобства, какие обычно им сопутствуют; возбуждение после хорошего обеда только усиливало его желание изведать что-нибудь необычное. Он очутился в Bier-halle¹, каких много было в Германии в пятидесятых годах. Зал был освещен большим деревянным фонарем и имел два выхода. На небольшой эстраде играли три скрипача. В табачном дыму за дюжиной столиков поодиночке или небольшими группками сидели люди, взад и вперед сновали официанты, заменяя пустые кружки. Суизин сел и резко потребовал: «Вина!» Удивленный официант принес вина. «Сюда!» — все так же сердито сказал Суизин, указывая на пивную кружку, стоявшую на столе. Официант наполнил кружку. «Вот как, — подумал Суизин. — Они прекрасно все понимают, если только захотят». Недалеке громко смеялась группа офицеров, он недовольно посмотрел на них и вдруг почти над самым ухом услышал сухой кашель. Слева от него сидел человек и читал, опершись локтями на расстеленную газету; его

¹ Пивная (нем.).

худые плечи поднялись почти вровень с глазами; тонкий длинный нос резко расширялся у ноздрей, окладистая каштановая борода закрывала грудь и почти все морщинистое, словно пергаментное лицо. Странное это было существо — злобное и надменное! Суизину не понравилось, как он одет — так одевались журналисты или странствующие актеры! Как мог человек в такой одежде произвести на него, Суизина, впечатление? Незнакомец тем временем протянул волосатую руку и взял бокал, наполненный темной жидкостью. «Коньяк», — подумал Суизин и вздрогнул от грохота упавшего стула — его сосед встал с места. Он оказался невероятно высоким и очень худым. Необъятная борода словно выплывала у него изо рта, он гневно смотрел на группу офицеров и что-то говорил. Суизин разобрал только слова: «Hunde! Deutsche Hunde!» «Собаки! Немецкие собаки! — мысленно перевел он. — Гм! Довольно сильно!» Один из офицеров вскочил из-за стола и выхватил саблю. Незнакомец поднял стул, размахнулся им и швырнул его в офицеров. Из-за столов вскакивали люди и окружали его. Незнакомец закричал: «Мадьяры, ко мне!»

Суизин улыбнулся. Против его воли этот огромный человек, бесстрашно напавший на столь многочисленных врагов, вызывал у него восхищение. Суизин даже подумал, не помочь ли ему, но, решив, что в лучшем случае ему разобьют нос, сглянулся, отыскивая безопасный уголок. Но в этот миг брошенный кем-то лимон угодил ему в щеку. Суизин вскочил и ринулся на офицеров. Поймав благодарный взгляд венгра, все еще размахивавшего стулом, Суизин на мгновение даже восхитился собой, но тут чья-то сабля оцарапала ему руку, и он сразу потерял всякое расположение к венгру. «Это уж слишком!» — подумал он и, схватив стул, швырнул его в фонарь. Раздался треск — лица и сабли исчезли. Суизин зажег спичку и при ее свете бросился к двери. Через секунду он был на улице.

II

Кто-то сказал по-английски: «Спасибо, брат мой!» Оглянувшись, Суизин увидел венгра, который протягивал ему руку. Суизин пожал ее, думая: «Какого я сва-

лял дурака!» Своим жестом венгр как бы давал понять: «Мы с тобой ровня!» Это было досадно, но в то же время почему-то лестно. Незнакомец показался ему еще выше ростом: у него была рассечена щека, и кровь каплями стекала по бороде.

— Англичане? — сказал он. — Я видел, как вы забрасывали камнями Гейнау, и видел, как вы приветствовали Кошута. Свободолюбивый дух вашего народа близок нам. — Оглядев Суизина, он добавил: — Вы большой человек, и душа у вас большая. И вы сильный, как здорово вы их расшвыряли! Ха!

Суизину захотелось бежать без оглядки.

— Моя фамилия — Бóлешке, — сказал венгр. — Вы — мой друг.

По-английски он говорил хорошо.

«Балешке, Белешке, — подумал Суизин. — Вот так фамилия!»

— А моя — Форсайт, — сказал он мрачно.

Венгр повторил фамилию.

— У вас здорово поранена щека, — пробормотал Суизин. Спутанная, мокрая от крови борода венгра вызывала у него отвращение.

Тот потрогал щеку, посмотрел на пальцы, испачканные кровью, и с равнодушным видом приложил клоч бороды к ране.

— Фу! — сказал Суизин. — Вот возьмите платок!

— Благодарю! — сказал венгр, поклонившись. — Я не смел и подумать об этом. Тысяча благодарностей!

— Да берите же! — проворчал Суизин. Почему-то сейчас это казалось ему самым важным. Он сунул платок венгру и почувствовал боль в руке. «Ну вот! — подумал он. — Наверное, растянул сухожилие».

Венгр продолжал что-то бормотать, не обращая внимания на прохожих:

— Свиньи! Как вы их расшвыряли! Двум или трем мы, кажется, проломили головы. Трусливые свиньи!

— Послушайте, — сказал вдруг Суизин, — как мне добраться до «Золотых Альп»?

— Как, разве вы не зайдете ко мне выпить вина? — сказал венгр.

Опустив глаза, Суизин про себя решил: «И не подумаю».

— А! — произнес венгр с достоинством. — Значит, вы отвергаете мою дружбу?

«Гордый малый, хоть и нищий!» — подумал Суизин и, заикаясь, нерешительно начал:

— Конечно, если вы так ставите вопрос...

Венгр поклонился и пробормотал:

— Простите меня!

Не успели они пройти и десяти шагов, как их остановил безбородый юноша с впалыми щеками.

— Ради Христа, помогите мне, господа! — сказал он.

— Ты немец? — спросил Бóлешке.

— Да, — ответил юноша.

— Так подыхай же!

— Господин, посмотри на меня! — И, распахнув пальто, юноша показал голое тело, туго перетянутое ремнем.

Суизин снова почувствовал желание бежать. Его не покидало ужасное чувство, что он слишком близко соприкоснулся с тем, с чем не подобает иметь дела истинному джентльмену.

— Брат, пойдем с нами! — перекрестившись, сказал венгр юноше.

Суизин недоверчиво покосился на своих спутников, но пошел за ними. Почти в полной темноте, ощупью они поднялись по лестнице и очутились в большой комнате, освещенной лунным светом, проникавшим через окно. Тускло горела лампа. В комнате стоял запах спирта и табака, смешанный с легким ароматом роз. В одном углу лежала кipa газет, в другом — стояли цимбалы. На стене висели старинные пистолеты и янтарные четки. Мебель в комнате была аккуратно расставлена, но всюду лежала пыль. Около камина стоял стол, заваленный объедками. Потолок, пол и стены были из темного дерева. Но, несмотря на случайно подобранную мебель, в обстановке все же было некоторое изящество. Венгр достал из буфета бутылку, наполнил стаканы и предложил один из них Суизину. «Если б знать, где упасть, да уж ладно, была не была!» — подумал он и медленно поднес стакан к губам. Вино было густое, приторно сладкое, но букет хорош.

— Ваше здоровье, братья! — сказал венгр, вновь наполняя стаканы.

Юноша не заставил себя ждать и опрокинул стакан. Суизин последовал его примеру; теперь ему стало жаль беднягу.

— Зайдите завтра, — сказал он. — Я дам вам пару рубашек.

Но, когда юноша ушел, Суизин с облегчением вспомнил, что забыл дать ему свой адрес.

«Так лучше, — подумал он. — Конечно, это какой-нибудь мошенник».

— Что вы ему сказали? — спросил он у венгра.

— Я сказал ему, — ответил венгр: — «Ты сыт и выпил вина, а теперь ты мой враг».

— Верно! Совершенно верно! Нищие — враги каждого из нас, — сказал Суизин.

— Вы не поняли меня, — вежливо возразил венгр. — Пока он был просто нищим и голодным... Мне ведь тоже приходилось просить милостыню. (Суизин подумал: «Бог мой! Это становится невыносимым»). Но теперь, когда я его накормил, что он такое? Обыкновенный немецкий пес. Я не позволю ни одной австрийской собаке осквернить мое жилище!

Суизин заметил, что у Бёлешске при этом почему-то охрип голос и неприятно раздулись ноздри. А тот продолжал:

— Я изгнанник. Весь мой род в изгнании. А все из-за них, из-за этих проклятых псов!

Суизин поспешно согласился с ним.

В это время в комнату кто-то заглянул.

— Роза! — крикнул венгр.

Вошла молодая девушка. Она была невысокого роста, хорошо сложена, кругленькая, с толстой косой. Широко поставленными блестящими серыми глазами она поглядывала то на одного, то на другого и улыбалась, показывая ровные белые зубы. Лицо у нее было тоже круглое, брови слегка приподняты, скулы широкие, на щеках играл нежный румянец, похожий на цвет дикой розы. Увидев кровь, девушка испуганно приложила руку к щеке и позвала: «Маргит!» Вошла еще одна девушка, постарше и повыше ростом. У нее были красивые руки, большие глаза и прелестный рот, а нос «утиный», как

после называл его Суизин, вспоминая Маргит. Нежно воркуя, девушки занялись раной своего отца. Суизин повернулся к ним спиной. У него болела рука.

«Вот что бывает, когда суешься, куда не следует,— мрачно размышлял он.— Так недолго и шею сломать!» И вдруг он ощутил в своей руке чью-то мягкую ладонь, и глаза его встретились с глазами девушки — в них было восхищение, смешанное с робостью. Но кто-то позвал: «Рози!» — дверь хлопнула; Суизин, взволнованный ощущением неясной тревоги, опять остался наедине с венгром.

— Вашу дочь зовут Розой? — спросил он. — У нас в Англии тоже есть такое имя. Роза — это цветок.

— Ее зовут Рози, — поправил венгр. — Английский язык очень трудный. Труднее французского, немецкого или чешского, труднее даже русского или румынского, других я не знаю.

— Что? — сказал Суизин. — Вы знаете шесть языков?! — и подумал: «Здорово же он врет».

— Вы бы не удивлялись, если бы вам довелось жить в такой стране, где все против вас, — прошептал венгр. — Мы свободный народ, мы умираем, но еще не умерли!

Суизин никак не мог понять, о чем он говорит. Лицо этого человека с белой повязкой и черная растрепанная борода, его угрюмый взгляд, яростное бормотание и глухой кашель — все это было неприятно Суизину. Он казался помешанным. Его смелая манера открыто выражать свои чувства была неприлична, но чувства эти были так глубоки и, вне всякого сомнения, искренни, что Суизин невольно испытывал благоговейный трепет. У него даже появилось непонятное ощущение, какое бывает у человека, когда его заставляют заглянуть в пылающий горн. Бóлешке перестал шагать взад и вперед по комнате и сказал:

— Вы думаете, что все кончено? Знайте же... в душе каждого мадьяра горит огонь. Что дороже жизни? Что драгоценнее воздуха, воздуха, которым мы дышим? Родина!..

Он произнес это так медленно и так торжественно, что Суизин даже рот открыл, но тут же поспешил изобразить зевок.

— Скажите, что вы стали бы делать, если бы вас победили французы? — спросил Бóлешке.

Суизин улыбнулся, а потом крикнул, как будто его ударили:

— Что? Лягушатники? Пусть только сунутся!

— Пейте! — сказал Бóлешке. — Такого вина нигде не найдете. — Он наполнил стакан Суизина. — Я вам расскажу о себе.

Суизин торопливо поднялся.

— Уже поздно, — сказал он. — А вино замечательное. У вас много его?

— Это последняя бутылка.

— Как? И вы угощали им нищего?

— Меня зовут Стефан Бóлешке, — сказал венгр, гордо подняв голову. — Я из рода Коморонских Бóлешке.

Простота этих слов говорила сама за себя — какие еще нужны были объяснения; они произвели большое впечатление на Суизина, и он не ушел. А Бóлешке все говорил и говорил. Низкий голос его рокотал.

— Сколько было издевательств, сколько несправедливости... трусости!.. Я видел, как собирались на небе моей родины тучи и клубились над ее полями... Австрийцы хотели задушить нас, отнять у нас даже тень свободы. Тень — это все, что мы имели... Два года назад, в сорок восьмом году... брат, будь они прокляты! В тот год с оружием в руках поднялись на защиту родины все — и стар и млад. Весь мой род, а я... Я должен был сражаться пером! Таков был приказ. Они убили моего сына, бросили в тюрьму моих братьев, а меня выгнали, как собаку. Но я продолжал писать. Я писал кровью сердца... всей своей кровью.

Бóлешке казался гигантской тенью. Он стоял посередине комнаты, исхудавший и измученный, устремив гневный и мрачный взгляд в одну точку.

Суизин поднялся и пробормотал:

— Очень вам признателен. Это было так интересно...

Бóлешке, задумавшись, все смотрел прямо перед собой и не задерживал его.

— До свидания! — сказал Суизин и, тяжело ступая, начал спускаться по лестнице.

Добравшись наконец до гостиницы, Суизин увидел у входа встревоженных брата и приятеля. Тракер, преждевременно состарившийся мужчина с бакенбардами, говоривший с сильным шотландским акцентом, заметил:

— Рано же ты возвращаешься, дружище!

Суизин что-то пробурчал в ответ и отправился спать. На руке он обнаружил небольшой порез и разозлился. Судьба заставила его увидеть то, чего он не хотел видеть. Но сквозь раздражение нет-нет пробивалось приятное и почему-то лестное для него воспоминание о Розе и о ее мягкой ладони. Утром за завтраком его брат и Тракер объявили о своем намерении ехать дальше. Джемс Форсайт объяснил, что «коллекционеру» тут делать нечего, так как все лавки со «старьем» в руках у евреев и всяких перекупщиков, — он это сразу понял. Отодвинув чашку с кофе, Суизин сказал:

— Делайте, что хотите, а я остаюсь здесь.

Джемс Форсайт начал скороговоркой:

— Зачем ты здесь останешься? Тебе тут делать нечего! Здесь и взглянуть не на что. Разве только на цитадель. Но ты не хочешь осматривать даже цитадель!

— Кто это тебе сказал? — проворчал Суизин.

Настояв на своем, он несколько успокоился. Рука его висела на шелковой повязке, он коротко объяснил это тем, что поскользнулся и упал. После завтрака Суизин отправился гулять и дошел до моста. На фоне жемчужных холмов блестели залитые солнцем шпили. Городок был чистенький и радовал глаз. Суизин взглянул на цитадель и подумал: «Неплохая крепость! Ничуть не удивлюсь, если она окажется неприступной» По какой-то таинственной причине эта мысль доставила ему удовольствие. И неожиданно для самого себя он решил найти дом венгра.

Около полудня, побледневший от жары и измученный двухчасовыми поисками, но еще более закосневший в своем упрямстве, Суизин стоял на какой-то улице и беспомощно озирался, как вдруг услышал у себя над головой голос: «Мистер!» Он посмотрел вверх и увидел Розу. Она, подперев круглый подбородок круглой руч-

кой, смотрела на него лукавым взглядом своих глубоких глаз. Когда он поклонился, она захлопала в ладоши, и Суизин почувствовал: он нравится и его поощряют. С непринужденностью, довольно нелепой при его долговязой и угловатой фигуре, Суизин подошел к дверям дома, где его уже ждали обе девушки. И вдруг ему захотелось заговорить на каком-нибудь иностранном языке.

— Мадмуазель,— начал он,— гм... э... э... *bonjour*¹ ээ... ваш отец — *père, comment?*²

— Мы ведь тоже говорим по-английски,— ответила старшая.— Пожалуйста, входите.

Суизин подавил в себе дурное предчувствие и вошел. Днем комната выглядела запущенной и неуютной, как будто она всегда служила прибежищем людям с трагической или превратной судьбой. Суизин сел. Его взгляд, казалось, говорил: «Я иностранец, но меня не проведешь. Не выйдет». Девушки молча глядели на него. На Розе была коротенькая черная юбка и белая блузка; на плечи она накинула вышитую шаль; у ее сестры, одетой в темно-зеленое платье, на шее были коралловые бусы. Волосы у обеих девушек были заплетены в косы. Минутку помолчав, Роза дотронулась до его поврежденной руки.

— Пустяк,— пробормотал Суизин.

— Отец дрался стулом, а у вас ничего не было,— как бы удивляясь, сказала Роза.

Суизин крепко сжал в кулак здоровую руку и сильно взмахнул ею. К его удивлению, Роза засмеялась. Он обиделся и, подсунув здоровую руку под тяжелый стол, приподнял его. Роза захлопала в ладоши: «А! Вот теперь я вижу — вы очень сильный!» Сделав книксен, она упорхнула к окну. Ее быстрый и смысленный взгляд смущал Суизина; когда Роза, как ему казалось, смотрела мимо него, на что-то невидимое, он смущался еще больше. От Маргит он узнал, что все они около двух лет жили в Англии и что отец зарабатывал преподаванием иностранных языков. Теперь уже целый год они живут здесь, в Зальцбурге.

— Мы ждем,— неожиданно заявила Роза, и Маргит торжественно повторила:

¹ Искаженное *bonjour* — добрый день (франц.).

² ...отец, понимаете? (франц.)

— Мы ждем.

Суизин даже глаза вытаращил: так ему захотелось узнать, чего же они ждут. Какие они странные и как странно смотрят куда-то, как будто сквозь него. Он внимательно поглядел на девушек. «А ее стоило бы приодеть»,— подумал он и попытался представить себе Розу в модной юбке с оборками, в узком лифе и с гладкой прической. Да, Роза с ее гибкой фигуркой, пышными волосами и с такими маленькими ручками действительно стоило приодеть! И, вспомнив о своих руках, лице и одежде, он почувствовал беспокойство. Теперь эта уютная, пыльная, поблекшая комната вызывала у него отвращение. Он встал и стал осматривать pistols, развешанные по стенам. «Воняет, как в пивной»,— с досадой подумал он и снова подсел поближе к Розе. Она спросила:

— Вы любите танцевать? Танец — это жизнь. Услышишь музыку, и ноги сами просятся в пляс. Чудесно! Начинаешь сперва медленно... потом быстрее, быстрее... и вот летишь в воздухе и ничего больше не замечаешь... Ах! Как чудесно!

Суизин медленно краснел. Не сводя с него глаз, Роза продолжала:

— Ах! Когда я танцую... я вижу там, далеко, поля, простор... а ногами раз-два-три... раз-два-три... быстро, быстро, еще быстрее и летишь...

Она выпрямилась, и по всему ее телу пробежала дрожь. «Маргит, станцуем!» — и, к ужасу Суизина, девушки, положив руки друг другу на плечи, принялись шаркать ногами по полу и покачиваться из стороны в сторону. Они танцевали, полузакрыв глаза и откинув назад головы; потом неожиданно ноги их стали двигаться все быстрее и быстрее, они повернулись в одну сторону, потом в другую и наконец закружились прямо перед ним. Легкий аромат розовых лепестков окутал Суизина. Девушки все еще кружились, когда в комнату вошел Бóлешке. Он обеими руками пожал Суизину руку и сказал:

— Добро пожаловать, брат! А, у вас рука повреждена! Я не забыл вчерашнего.— Его глубоко запавшие глаза и пожелтевшее лицо, не теряя достоинства, выра-



«ЧЕЛОВЕК ИЗ ДЕБОНА»



«СПАСЕНИЕ ФОРСАЙТА»

жали благодарность.— Разрешите представить вам моего друга — барона Кастелица.

Суизин поклонился низколобому, незаметно появившемуся человеку, который стоял, прижав к груди руки в перчатках. Во всем его облике было что-то кошачье. Суизин сразу же почувствовал к нему неприязнь и даже презрение. В Болешке было что-то такое, что исключало презрение. Возможно, это был его огромный рост, может быть, чувство товарищества к человеку, вместе с которым ему пришлось драться, может быть, что-то величественное и свирепое в его лице или же просто неясное, интуитивное ощущение, что этого человека нельзя презирать. Но истинно английское чувство собственного превосходства охватило Суизина при виде этого Кастелица, его тонких губ, низкого лба и бархатных бегающих глаз. «Ваши друзья — мои друзья», — учтиво промолвил Кастелиц. Суизин заметил, что он шепелявит. В этот миг в комнате раздался долгий вибрирующий звон. Обернувшись, Суизин увидел Розу за цимбалами; из-под молоточков, которые она держала в руках, непрерывно возникали резкие металлические звуки; они то взлетали, то падали, рождая какую-то странную мелодию. Кастелиц не сводил с Розы сверкающих глаз. Болешке, кивая головой, смотрел себе под ноги; побледневшая Маргит стояла неподвижно, как статуя.

«Что они в этом находят? Разве это музыка?» — подумал Суизин и взялся за шляпу. Роза, заметив это, перестала играть, и губы ее слегка приоткрылись от огорчения. Чувство обиды в душе Суизина как-то сразу улеглось, и он даже пожалел Розу. Она вскочила и отвернулась, надув губки. И тут Суизина словно осенило.

— Позвольте пригласить вас на обед, — сказал он Болешке. — Приходите завтра в отель «Золотые Альпы» вместе с вашим другом.

Он ощущал на себе взгляды присутствующих. На него смотрели и красивые глаза венгра, и широко раскрытые глаза Маргит, и прищуренные, сердитые глаза Кастелица, и, наконец, глаза Розы. Суизин был очень доволен собой. Однако, выходя на улицу, он мрачно подумал: «Что я наделал!» Он заставил себя пройти несколько шагов, прежде чем обернулся, и, натянуто улыбаясь, поклонился девушкам, смотревшим ему вслед из окна.

Несмотря на это мгновенное уныние, Суизин весь день был очень взволнован и за обедом загадочно поглядывал на своего брата и Тракера. «Ну что они знают о жизни? — думал он. — Проживи они здесь хоть целый год, все равно ничего не увидят». Он был весел, шутил, даже прищиплил меню к фалдам официанта и, наконец, заявил:

— Мне здесь нравится. Я остаюсь еще недельки на три.

Джемс, который уже раскрыл рот, чтобы положить туда сливу, посмотрел на него с испугом.

IV

В день обеда Суизин сильно волновался. Он мрачно размышлял о том, как будет одет Болешске, он умышленно назначил час обеда пораньше, когда в ресторане мало народу. Сам Суизин оделся особенно тщательно и, несмотря на то, что рука все еще болела, снял повязку...

Часа три спустя он вместе со своими гостями покинул «Золотые Альпы». Солнце садилось, вдоль берега реки на фоне гаснущего неба резко выступали очертания домов; улицы были полны людей, спешивших по домам. У Суизина в голове стоял туман, он смутно видел пустые бутылки, землю у себя под ногами, и ему казалось, что все в мире ему доступно. Лицо его расплывалось в улыбке при воспоминании обо всех тех умных вещах, которые он сказал за столом, и о кислых физиономиях брата и Тракера, которые где-то в стороне ели свой будничный обед и удивленно глядели на него. Суизин старался идти не шатаясь, чтобы доказать свое превосходство над гостями. Он сознавал, правда, очень неясно, что он куда-то идет с определенной целью. Перед его глазами танцевало улыбающееся лицо Розы, оно манило к себе. Раз или два Суизин бросил на Кастелица уничтожающий взгляд. К Болешске он, наоборот, чувствовал дружеское расположение и с восхищением вспоминал, как тот раз за разом опрокидывал бокал. «Нравится мне, как он пьет, — думал Суизин. — Все-таки он джентльмен».

Болешске шагал как-то ожесточенно, ни на кого не обращая внимания. Кастелиц еще больше стал похож

на кошку. Почти совсем стемнело, когда они добрались до узенькой улочки неподалеку от собора и остановились у какого-то дома. Дверь им открыла пожилая женщина. Ее встревоженные взгляды, жаркая духота коридора после свежего воздуха и стук захлопнутой двери отрезвили Суизина.

— Я сказал ей, что ручаюсь за вас, как за родного сына,— обратился к нему Болешске.

Суизин рассердился: какое право имеет этот человек ручаться за него!

Они прошли в большую комнату, полную мужчин и женщин; Суизин заметил, что все смотрят на него. В свою очередь, он принялся рассматривать присутствующих; здесь были представители всех классов: одни во фраках и шелках, другие в рабочей одежде; был и сапожник в кожаном фартуке, словно он прибежал сюда прямо с работы. Болешске положил руку на плечо Суизину и, как видно, стал объяснять собравшимся, кто он такой. К Суизину потянулось множество рук, а те, что стояли подальше, поклонились. Суизин ответил на приветствия сдержанным кивком и, увидев, что все садятся, тоже опустился в кресло. Кто-то прошептал его имя—позади него были Маргит и Роза.

— Добро пожаловать,— сказала Маргит, но Суизин смотрел на Розу.

Ее лицо было таким трепетным и оживленным! «Чем это они так взволнованы? — думал он.— И до чего же она хороша!» Роза зарделась, быстрым и нервным движением спрятала за спину руки и опять устремила взгляд куда-то мимо него. «В чем дело?» — подумал Суизин, ему страстно захотелось откинуться в кресле и поцеловать ее в губы. Сердясь на себя, он старался понять, что видит она на всех этих лицах, повернутых в одну сторону.

Болешске встал и заговорил. Все замерли; не было слышно ни единого звука, кроме его низкого, сильного голоса. Болешске говорил гневно и торжественно, и чем громче гремел его голос, тем больше лица присутствующих, бледные и смуглые, озарялись единым чувством. Суизин видел на них холодную ярость, и это было неприлично. Из всей речи он понял только одно слово — «мадьяры», которое повторялось снова и снова. Под ко-

нец Суизин чуть было не заснул, но его разбудил звон цимбал. «Что? Опять эта адская музыка?» — подумал он. Наклонившись к нему, Маргит прошептала: «Слушайте, это Ракоци! Запрещенный марш!» Суизин заметил, что Роза уже нет позади него. Это она играла запрещенный мотив. Он огляделся — его окружали неподвижные, восторженные лица и гневное молчание. Мелодия звучала глухо, как будто и ей было больно. Суизину стало не по себе. Куда он попал? В логово тигров? То, как эти люди слушали музыку, их ужасающая неподвижность были страшны...

«Надо вырваться отсюда, — подумал Суизин, весь в поту, крепко сжимая подлокотники кресла. — Когда музыка кончится, будет свалка». Но наступила еще более глубокая тишина. У Суизина мелькнула мысль, что, появившись здесь враг, его растерзали бы на части. Потом зарыдала какая-то женщина. Это было невыносимо. Суизин поднялся и стал, крадучись, пробираться к выходу. Кто-то закричал: «Полиция!» И, толкая друг друга, все бросились к дверям. Суизин был почти у дверей, но вдруг увидел, что Роза сбили с ног. Он рассвирепел, увидев ее полные ужаса глаза. «Этого она не заслужила, хоть и довела их до белого каления», — подумал он со злостью и стал пробиваться назад, к Розе. Она прижалась к нему, и от ее близости Суизина охватила дрожь. Он крепко держал ее, пока проталкивался через толпу, и отпустил только на улице.

— Я так испугалась! — сказала Роза.

— Еще бы, — пробормотал Суизин.

Теперь, когда он уже не прикасался к ней, к нему снова вернулось скверное настроение.

— Вы такой сильный, — прошептала она.

— Вам здесь оставаться нельзя, — пробурчал Суизин. — Я провожу вас домой.

— Ой! А как же папа и Маргит? — воскликнула Роза.

— Это уж их забота! — сказал Суизин и повел ее прочь.

Роза взяла его под руку. Он чувствовал каждое легкое прикосновение ее тела и от этого еще больше сердился. Он был несправедлив в своей злобе, страсти кипели в нем и, казалось, готовы были выплеснуться наружу;

подобно яду, они растекались по всему его телу. Всю дорогу Суизин упрямо молчал. Роза тоже не проронила ни слова, а когда они подошли к ее дому, она высвободила руку.

— Вы сердитесь? — спросила она.

— Сержусь? — пробормотал Суизин. — Нет... С чего вы это взяли? — Его охватило мучительное желание поцеловать Розу.

— Нет, вы сердитесь, — повторила она. — Я подожду здесь папу и Маргит.

Прислонившись к стене, Суизин тоже остался ждать. У него были острые глаза, и раза два он заметил, как Роза украдкой бросала на него умоляющие взгляды, и это доставляло ему невольное удовольствие. Минут через пять появились Блешке, Маргит и Кастелиц. Увидев Розу, они вздохнули с облегчением, а Кастелиц, косясь на Суизина, поднес ее руку к губам. В глазах Розы Суизин прочел: «А вам не хотелось бы?» Круто повернувшись, он зашагал прочь.

V

В ту ночь Суизин почти не спал — впервые в жизни он был так взволнован. Посреди ночи он вдруг вскочил с постели, зажег свечу и долго, внимательно разглядывал себя в зеркало. После этого ему удалось заснуть, но его мучили кошмары. Проснувшись, он сразу же подумал: «У меня не в порядке печень». Окунув голову в холодную воду, он поспешно оделся и вышел на улицу. Скоро гостиница осталась далеко позади. Все кругом было покрыто росой; в кустах заливались черные дрозды, воздух был чист и свеж. Он не вставал в такую рань с самого детства. Зачем он бродит по сырому лесу в такой ранний час? С ним, должно быть, стряслось что-то непонятное и ужасное. Кто в здравом уме поступил бы так! Суизин остановился, как вкопанный, потом неуверенным шагом побрел обратно. Добравшись до гостиницы, он снова лег. Ему приснилось, что он живет в какой-то дикой стране, — в комнате так и кишат насекомые, а горничная, Роза, стоит со щеткой в руках и смотрит на него печальными глазами. Как видно, ему нужно было спешно уехать, потому что он просил ее сложить и

отправить багажом вещи, предварительно их почистив. Он должен был уплатить за багаж двадцать два шиллинга, и это показалось ему непомерно дорого. Он мучился, не зная, как быть, и наконец пробормотал: «Нет! Упакую все сам и возьму с собой». Горничная вдруг превратилась в какое-то тощее существо, и он проснулся с тяжелым чувством.

Первое, что бросилось ему в глаза, были промокшие ботинки. Все наводило на него страх, и, вскочив с постели, он начал беспорядочно бросать вещи в чемоданы. Было уже двенадцать часов, когда он спустился вниз, где застал брата и Тракера, обсуждавших маршрут путешествия; к их удивлению, он заявил, что тоже едет; не вдаваясь в объяснения, он принялся за еду. Джемс слышал, что неподалеку есть соляные копи, и он предлагал немедленно выехать, чтобы по пути осмотреть их, потратив на это полчаса или час. «Все будут спрашивать, видел ли я соляные копи,— сказал он.— Мне было бы очень неприятно говорить, что я их не видел. Скажут, какой толк было ехать в такую даль и не осмотреть соляные копи?» Кроме того, он был озабочен: давать ли на чай второму официанту — уж больно он ленив!

Начался спор. Суизин жевал с угрюмым видом, а про себя думал, что он-то занят более важными вещами. Вдруг он увидел на другой стороне улицы Розы и Маргит, они шли с маленькими корзинками в руках. Суизин вскочил со стула, и в этот миг Розы обернулась — личико ее было само очарование: вздернутый подбородок, капризно выпяченная нижняя губка, плавный изгиб круглой шеи. Суизин проворчал: «Договаривайтесь сами, на меня не рассчитывайте», — и стремительно вскочил из зала, бросив Джемса, который был вне себя от тревоги и любопытства.

Однако, когда Суизин вышел на улицу, девушки уже исчезли. Он кликнул извозчика и, взмахнув тросточкой, приказал: «Гони!» Как только колеса пролетки застучали по булыжникам, Суизин откинулся на подушки и стал зорко глядеть по сторонам. Вскоре он отказался от мысли найти девушек, но продолжал гонять извозчика по городу. Он ездил весь день, кружа по улицам, выехал далеко за окраины города и все время понуждал извозчика погонять лошадей. Его охватило какое-то ли-

кующее нетерпение. Все кончилось тем, что он пообедал в маленьком деревенском трактире, и это переполнило чашу — обед был отвратительный.

Поздно вечером, вернувшись домой, Суизин нашел у себя в номере записку от Тракера: «В здоровом ли ты уме, дружище? Мы больше не можем терять время попусту. Если хочешь присоединиться к нам, приезжай в Венецию, отель Даниелли». Суизин прочитал записку, усмехнулся и, почувствовав, что страшно устал, лег спать. Спал он как убитый.

VI

Прошло три недели, а Суизин все еще был в Зальцбурге, правда, жил он теперь не в «Золотых Альпах», а в квартирке над лавкой, неподалеку от Болешске. За это время у Суизина, наверное, целое состояние ушло на цветы. Маргит восхищалась его букетами, но Роза принимала их как нечто должное и, равнодушно бросив: «Большое спасибо!» — подолгу стояла у зеркала, прикалывая к волосам цветок. Суизин перестал удивляться — он теперь не удивлялся, что бы они ни делали. Однажды вечером он застал Болешске за серьезным разговором с каким-то бледным, взъерошенным субъектом.

— Наш друг, мистер Форсайт. Граф Д... — представил их Болешске.

Граф невольно внушил Суизину некоторое уважение но, присмотревшись к его брюкам, он подумал: «Не очень-то этот тип похож на графа!» Он отвесил иронический поклон молчавшим девушкам и взялся за шляпу. Но, спустившись в темную переднюю, он услышал шаги на лестнице. Это была Роза. Она сбежала вниз, выглянула за дверь и, огорченная, прижала руки к груди. Потом она быстро обернулась и увидела Суизина. Он поймал ее руку, Роза отняла руку, и все лицо ее как бы заискрилось от задорного смеха. Она быстро взбежала на несколько ступенек, остановилась, оглянулась на него через плечо и исчезла. Суизин ушел озадаченный и раздосадованный.

«Что она хотела мне сказать?» — упорно думал он.

За последние три недели Суизин без конца задавал себе множество вопросов: не дурачат ли его? Влюблена

ли в него Роза? И зачем он здесь вообще? Иногда по ночам он зажигал в комнате все свечи, будто ему в самом деле нужен был свет, и, овеваемый легким ветерком, часами сидел у окна с погасшей сигарой в руке, уставившись взглядом в стену. Каждое утро он говорил себе: «Хватит!» Дважды он упаковывал вещи, раз даже заказал карету, но на другой же день отменил приказание. На что он надеялся, что намеревался делать, на что ему решиться — он не знал и все время думал о Розе, но никак не мог понять загадочного выражения ее лица. Она как будто держала его в тисках, хотя все, что было с ней связано, угрожало самому святому, что только было в его жизни. А Болешке? Стоило Суизину увидеть его, как он тоскливо думал: «Будь он хотя бы немного почище!» — и машинально дотрагивался до своего безукоризненно повязанного галстука. Говорить с этим человеком все равно, что смотреть на то, чего не должен коснуться дневной свет. Свобода, равенство, самопожертвование!

«Почему он не займется каким-нибудь настоящим делом вместо всей этой болтовни?» — думал Суизин. Его раздражали в Болешке и внезапная неуверенность и приступы самоуничижения и отчаяния. «Проклятый оборванец, — ворчал он. — Слава богу, я не такой чувствительный! А как горд! При его-то бедности! Непостижимо!» Как-то вечером Болешке вернулся домой пьяный. Суизин вынужден был отвести его в спальню, помочь раздеться и ждать, пока тот заснет. «Это уж слишком! — размышлял он. — Пьян, да еще при дочерях!» Вот после этого случая Суизин и заказал карету. Во второй раз он упаковал свои вещи, когда за ужином не только Болешке, но даже Роза обгладывала куриную ножку, держа ее в руках.

По утрам Суизин часто ходил в парк «Мирабель», чтобы выкурить сигару на свежем воздухе. Низко нагнув шляпу, чтобы защитить лицо от солнца, он приятно проводил там час-другой, бесстрастно созерцая ряды мраморных статуй, изображавших полугероических мужчин, которые похищали полунесчастных женщин. На другой день после того, как Роза убежала от него на лестнице, Суизин, как обычно, пришел в парк. В то утро небо было безоблачно и солнце ярко сияло над

старым парком, над развесистыми тисами, трагикомическими статуями и изгородями, почти скрытыми абрикосовыми и сливовыми деревьями.

Когда Суизин дошел до скамейки, на которой обычно сидел, он увидел на ней Розы.

— Доброе утро,— запинаясь сказал он.— Вы знали, что это моя скамейка?

Розы потупилась.

— Да,— тихо ответила она.

Суизин был озадачен.

— А вам не кажется, что вы очень странно со мной обращаетесь?

К его удивлению, Розы положила свою маленькую нежную ручку на его руку, а потом, не сказав ни слова, вскочила со скамейки и бросилась бежать. Он не сразу пришел в себя. Кругом были люди, и ему не хотелось бежать, но все же он нагнал ее на мосту и взял под руку.

— Зачем вы это сделали? — проговорил он.— Не надо было убегать.

Розы засмеялась. Суизин выдернул свою руку, ему захотелось схватить Розы и хорошенько ее встряхнуть. Он долго шагал молча, а потом спросил:

— Скажите на милость, зачем вы пришли в парк?

Розы бросила на него быстрый взгляд.

— Завтра будет карнавал,— сказала она.

Суизин пробормотал:

— И это все?

— Если вы не пригласите нас, мы не пойдем.

— А если я откажусь,— сказал он мрачно,— найдется сколько угодно других...

Розы опустила голову, ускорив шаги.

— Нет,— прошептала она.— Если вы не пойдете, я тоже не пойду.

Суизин снова взял ее под руку. Какая это была круглая и гладкая ручка! Он старался заглянуть ей в лицо. Неподалеку от дома он попрощался, по какой-то непонятной причине ему не хотелось, чтобы их видели вместе. Он смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду, а затем медленно пошел назад, к парку. Дойдя до скамейки, где сидела Розы, Суизин сел, неторопливо раскурил сигару и, выкурив ее, еще долго сидел в тишине, окруженный мраморными статуями.

Около дощатых балаганов толпился народ, и Суизин счел своим долгом взять девушек под руки. «Как клерк из лондонского предместья на воскресной прогулке!» — подумал он. Но девушки не заметили его раздражения. Они смеялись и щебетали, и казалось, что в этой толчее любой звук, любое зрелище от души им нравится. Суизин иронически поглядывал на девушек: их возбужденные голоса и восторженное воркование казались ему вульгарными. В толпе он незаметно отнял свою руку у Маргит, но только он подумал, что избавился от нее, как непрошенная рука опять ухватила за него. Он попытался еще раз, и снова Маргит, веселая и спокойная, повисла на его руке. На этот раз он отнесся к своей неудаче иронически. Но когда Роза льнула к нему, близость ее разгоряченной щеки, улыбающиеся губы и загадочное мерцание ее серых глаз наполняли желанием все его существо. Ему пришлось стоять около девушек, пока они говорили на непонятном языке с цыганкой, чьи космы и костлявые руки возбуждали у него законное отвращение. «Глупости!» — проворчал он, когда Роза протянула цыганке ладонь. Старуха что-то пробормотала и бросила на него злобный взгляд. Роза вдруг отдернула руку и перекрестилась. «Глупости!» — снова подумал Суизин и, подхватив девушек под руки, поспешно увлек их прочь.

— Что сказала эта старая карга? — спросил он. Роза только покачала головой. — Неужели вы им верите? Глаза Розы наполнились слезами.

— Цыганки очень мудрые, — прошептала она.

— Ну, ну... Что же она вам сказала?

Роза быстро оглянулась вокруг и скользнула в толпу. После недолгих поисков они нашли ее, но Суизин был испуган и ворчал:

— Вы не должны убегать, это неприлично.

На возвышении посреди круглой площадки играл военный оркестр. За привилегию попасть в этот волшебный круг Суизин уплатил три кроны, но выбрал, разумеется, лучшие места. Кроме того, он заказал вина и, разливая его по бокалам, уголком глаза наблюдал за Розой. В этой грубой, шумной толпе исчезла его вчераш-

няя покровительственная нежность. В конце концов каждый за себя! У Розы порозовели щеки, она смеялась и забавно надувала губы. Неожиданно она отставила бокал.

— Благодарю вас,— сказала она.— Больше не надо.

Маргит, чьи прелестные губы беспрестанно улыбались, воскликнула: «Lieber Gott! ¹. Разве это не чудесно—жить?» На этот вопрос Суизин не считал нужным отвечать. Оркестр заиграл вальс. «Сейчас будут танцевать! Lieber Gott! Фонарики—что за прелесть!» Под деревьями, словно рой светлячков, перемигивались фонари. Толпа гудела, как гигантский улей. Перед ними появлялись и исчезали лица гуляющих, и Роза стояла и смотрела на них, как зачарованная, словно это доставляло ей огромное удовольствие.

Вокруг оркестра закружились пары. Роза стала покачивать головой в такт музыке.

— О Маргит! — прошептала она.

На лице Суизина появилось выражение важности и недовольства. Какой-то мужчина, приподняв шляпу, предложил руку Маргит. Оглянувшись через плечо, она успокоила Суизина:

— Это друг.

Суизин смотрел на Розу — глаза у нее блестели, губы дрожали. Он протянул через стол руку и дотронулся до ее пальцев. Она бросила на него взгляд: призыв, укор, нежность — все было в этом взгляде. Чего она хотела от него? Чтобы он пошел танцевать? Не хочет ли она сама замешаться в толпу этого сброда? Не желает ли, чтобы он выставил себя напоказ в этой орущей толпе? Рядом чей-то голос произнес: «Добрый вечер!» Перед ними в наглухо застегнутом черном сюртуке стоял Кастелиц.

— Вы не танцуете, Rozsi Kisaszony (мисс Роза)? В таком случае окажите мне честь,— и он подал ей руку.

Суизин не смотрел на них. Уходя с Кастелицем, Роза бросила на него взгляд, который говорил яснее слов: «А вы?» Вместо ответа Суизин отвел глаза, а когда опять посмотрел в ее сторону, Роза уже не было. Он заплатил по счету и стал пробираться через толпу. Глубоко дыша и раздумываясь, Роза в танце приближалась

¹ Боже милостивый! (нем.)

к нему, как бы пытаюсь его остановить. Суизину даже показалось, что на глазах у нее были слезы. Потом он снова потерял ее из виду. Бросить его в первую же минуту, как только они остались наедине, и ради кого? Ради этого выскочки с маленькой головой и бегающими глазами! Это уж слишком! Вдруг он подумал, что Роза осталась одна с Кастелицем, одна ночью и так далеко от дома.

«А мне-то какое дело? — думал Суизин, проталкиваясь через толпу. — Так мне и надо, нечего путаться с такими людьми». Он ушел с карнавала, но с каждым шагом все сильнее разжигал свое негодование, все яснее представлял себе ее измену и все больше ревновал ее. «Барон, а нищий», — думал он.

Неожиданно рядом с ним откуда-то появился Болешке. Суизин все понял, с первого взгляда. Опять пьян! Это была последняя капля.

К несчастью, Болешке узнал его. Он был сильно взволнован:

— Где они? Где мои дочери? — начал он. Суизин хотел пройти мимо, но Болешке схватил его за руку. — Послушай, брат! — сказал он. — Вести с моей родины! Послезавтра...

— Оставьте меня в покое! — прорычал Суизин и вырвал руку.

Он пошел прямо к себе на квартиру и, не зажигая света, улегся на жестком диване в темной гостиной, предаваясь горьким размышлениям. Но надутые губки Розы, ее лукавые, умоляющие глаза, ее гибкая фигура долго еще преследовали Суизина, несмотря на весь его гнев.

VIII

Наутро карету заказать не удалось, и Суизину пришлось отложить отъезд. День был пасмурный и туманный, Суизин бродил по городу, глядя на прохожих напряженным и вопрошающим взглядом заблудившейся собаки.

К вечеру он вернулся домой. В углу гостиной стояла Роза. Суизин почувствовал радость и облегчение, но лишь едва заметно улыбнулся. Роза молчала, закрыв лицо руками. От этого молчания Суизину стало не по

себе. Она принуждала его заговорить первым! Отчего она скрывается? Его лицо ведь открыто! Почему она молчит? Зачем она здесь, и одна? Тут явно что-то не так.

И вдруг Роза опустила руки — все лицо ее пылало и дрожало, казалось, одно слово, даже одно движение — и слезы польются ручьем.

Суизин отошел к окну. «Надо дать ей время прийти в себя», — подумал он, но, охваченный безотчетным ужасом перед этим молчанием, быстро повернулся и схватил ее за руки. Роза откинулась назад, потом подалась вперед и уронила голову ему на грудь...

Полчаса спустя Суизин задумчиво ходил взад и вперед по комнате, где еще сохранился аромат розовых лепестков. На полу валялась перчатка. Он поднял ее и долго стоял, держа ее в руке. Мысли и чувства его безнадежно спутались. Эта минута после того, как она ему отдалась, была минутой самого чистого самоотречения в его жизни. Но преклонение перед ее пламенным самозабвением сменилось чувством неловкости и мелкого торжества. Он все еще держал в руке маленькую перчатку, когда в комнату кто-то вошел. Это был Кастелиц.

— Чем могу служить? — иронически осведомился Суизин.

Венгр был возмущен. Почему Суизин не выполнил своих обязанностей вчера вечером? Чем он может оправдать свой поступок? И как можно назвать такое поведение?

Суизин, очень похожий в ту минуту на бульдога, спросил у Кастелица, какое ему до всего этого дело.

— Какое дело? Дело джентльмена! По какому праву англичанин преследует девушку?

— Преследую? — проговорил Суизин. — Значит, вы шпионили за мной?

— Шпионил? Я, Кастелиц... Маурус Иоганн Кастелиц? Это оскорбление!

— Оскорбление, — издевался над ним Суизин. — Вы хотите сказать, что вы не торчали здесь под окном?

Кастелиц прошипел в ответ:

— Если вы не уедете сами, я заставляю вас это сделать своей шпагой, понятно?

— А если вы немедленно не уберетесь отсюда, я вышвырну вас в окно!

Несколько минут Кастелиц говорил по-венгерски, а Суизин ждал с натянутой улыбкой, глядя на него остановившимся взглядом. Он не знал венгерского.

— Если завтра вечером вы еще будете в городе,— закончил Кастелиц по-английски,— я плюну вам в лицо на улице.

Суизин смотрел в окно на удаляющегося Кастелица, который заставил его так сердиться и беспокоиться, но в то же время забавлял его. «Ну что ж,— решил он.— А ведь мне, пожалуй, не поздоровится».

Думать об этом было неприятно, но эта мысль не покидала его и еще больше укрепила его решимость. Теперь он думал только о том, как увидеть Розы: в нем кипела кровь от ее поцелуев.

IX

На другой день Суизин долго раздумывал, как быть. И решил пойти к Розы не раньше пяти часов. «Нельзя унижаться»,— думал он. Было начало шестого, когда он наконец вышел на улицу и с замирающим сердцем направился к дому Болешке. Подходя, он был почти уверен, что увидит Розы в окне, но ее не было. К его удивлению, окно было закрыто; даже цветы под ним казались привядшими. Он постучал. Никто не ответил. Тогда он принялся колотить в дверь кулаками. Наконец вышел мужчина с рыжеватой бороденкой и желчным лицом, которое чаще всего можно встретить у сапожников, ведущих свой род от тевтонов.

— Что за шум? Чего вам надо? — спросил он по-немецки.

Суизин указал на лестницу. Человек усмехнулся и покачал головой.

— Мне нужно пройти наверх,— сказал Суизин.

Сапожник пожал плечами, и Суизин бросился вверх по лестнице. В комнатах никого не было. Мебель стояла на месте, но нигде ни души. Один из его букетов увядал в стеклянной вазе; зола в камине остыла, и каминная полка была усыпана мелкими клочками бумаги. В комнате уже стоял нежилой запах. Суизин прошел в спальню, где долго и бессмысленно глядел на кровати девушек, стоявшие рядом у стены. На глаза ему попала лента;

он поднял ее и положил в карман, словно хотел сохранить доказательство того, что Роза когда-то существовала. Перед зеркалом были разбросаны булавки и рассыпана пудра. Он посмотрел на свое взволнованное лицо и тоскливо подумал: «Меня обманули».

Голос сапожника вернул его к жизни:

— Tausend Teuffel! Eilen Sie, nur! Zeit ist Geld. Kann nicht länger warten! ¹

Суизин медленно спустился по лестнице.

— Куда они уехали? — с трудом спросил Суизин. — Даю фунт за каждое слово, сказанное по-английски, фунт стерлингов! — И он изобразил пальцами кружочек.

Сапожник усмехнулся:

— Geld! Pff! Eilen Sie, nur! ²

В душе Суизина поднималась мрачная злоба.

— Если не скажешь, тебе будет хуже! — закричал он.

— Sind ein komischer Kerl, — сказал сапожник. — Hier ist meine Frau ³.

По коридору торопливо шла старая женщина и кричала по-немецки:

— Не отпускай его!

Сапожник сердито проворчал что-то, повернулся спиной к Суизину и, шаркая ногами, ушел.

Женщина быстро сунула в руку Суизину письмо и так же быстро отошла в сторону. Письмо было от Розы.

«Простите, что я уезжаю, не попрощавшись. Сегодня отец получил из нашего родного города вызов, которого мы так долго ждали, — писала она. — Через два часа мы уедем. Я молюсь святой деве, чтобы она оберегала вас и чтобы вы не совсем забыли меня. Ваш друг, который никогда вас не забудет.

Роза».

Прочитав записку, Суизин почувствовал, что земля уходит у него из-под ног, но тут же в нем заговорило упрямство. «Я не сдамся», — подумал он. Показав совет, он попытался объяснить женщине, что она получит

¹ Тысяча чертей! Что вы там застряли! Время — деньги! Я не могу больше ждать! (нем.)

² Деньги! Пфф! Торопитесь же! (нем.)

³ Вы шутник... Вот моя жена. (нем.)

монету, если скажет, куда уехал Болешке. В конце концов она написала несколько слов в его записной книжке. Суизин отдал ей монету и поспешил в «Золотые Альпы», где был официант, знавший английский язык; он перевел: «В три часа они уехали в карете по направлению к Линцу. У них плохие лошади. Господин едет верхом на белой лошади».

Суизин немедленно нанял экипаж и помчался по дороге к Линцу. Около парка Мирабель он увидел Кастелица и насмешливо усмехнулся: «Ну, этого я все-таки провёл. Болтать эти чужеземцы мастера, но что они умеют делать?»

Настроение у него поднялось, но скоро он опять приуныл. Догонит ли он их? Прошло три часа с тех пор, как они уехали. Правда, последние две ночи шли дожди и дороги испортились, кроме того, у них плохие лошади и багаж, а у него лошади отличные, кучер получил на чай, так что часам к десяти вечера он может их нагнать. Но хочет ли он этого? Какой же он дурак, что не взял своих вещей, тогда у него был бы приличный вид. Хорошо же он будет, не имея возможности переменить сорочку и побриться! Он с ужасом представил себя заросшим щетиной и в несвежем белье. Подумают, что он сошел с ума. «Я сам себя подвел,—промелькнуло у него в голове.—Ну что, черт возьми, я им скажу?» Он мрачно уставился в спину кучера. Затем он снова перечитал письмо Розы — оно еще сохранило аромат ее духов. Так он ехал в наступающей темноте, страдая от тряски, угрызений совести и неодолимой страсти.

Вскоре совсем стемнело. Стало холодно, и Суизин поднял воротник пальто. Ему вспомнилась Пикадилли, и вдруг вся эта сумасбродная погоня представилась ему каким-то опасным и нелепым делом. А там — освещенные улицы, приятели, комфорт. «Довольно! — размышлял он.— Почему они не оставят меня в покое?» Но было неясно, что он подразумевал под словом «они»: условности, семейство Болешке, свои чувства или эти преследовавшие его воспоминания о Розе. Если бы он захватил хоть один чемодан! Что он скажет? Чего он добивается? Суизин не находил ответа. Даже тьма вокруг казалась не такой мрачной, как его чувства. Он то и дело вынимал часы. В каждой деревне кучер останавливался

и наводил справки. Было уже начало одиннадцатого, когда он резко осадил лошадей. Холодно мерцали звезды, у дороги виднелось заросшее тростником озеро, освещенное луной. Суизин вздрогнул. Дорогу экипажу преградил всадник, но он упрямо приказал: «Погоняй!» Оказалось, что всадник на костлявой белой лошади, похожей на какое-то крылатое существо,—это Болешске. Он стоял, преграждая путь, в руке у него был пистолет.

«Актеришка»,— с нервной улыбкой подумал Суизин, делая вид, что не узнал его. Болешске на своей кляче медленно подъехал ближе и, увидев Суизина, выразил удивление и радость.

— Это вы? — удивленно воскликнул Болешске, хлопнув себя по худому бедру, и нагнулся к Суизину так низко, что почти коснулся его бородой.— Вы едете с нами?

— Выходит, так,— пробормотал Суизин.

— Вы хотите разделить нашу судьбу! Возможно ли? Вы... вы странствующий рыцарь!

— Боже правый! — только и мог вымолвить Суизин.

Погоняя свою клячу, Болешске ускакал куда-то в лунном свете. Скоро он вернулся со старым плащом и настоял, чтобы Суизин надел его. Потом он подал Суизину объемистую флягу.

— Озябли? — проговорил он.— Удивительно! Вы, англичане,— удивительные люди.— Болешске ни на минуту не спускал с Суизина благодарных глаз.

Они нагнали другой экипаж, но Суизин, закутанный в плащ, не пытался даже разглядеть, кто был впереди. Благодарность венгра возмущала его до глубины души. С иронией, которая осталась незамеченной, он сказал:

— Вы как будто очень торопитесь!

— Мы летели бы на крыльях, будь они у нас,— отозвался Болешске.

— На крыльях! — проворчал Суизин.— Нет уж, с меня вполне достаточно ног.

Х

Когда они подъехали к постоялому двору, где им предстояло провести ночь, Суизин не спешил выйти из кареты, рассчитывая проскользнуть в дом без «сцены»,

но когда он наконец вылез наружу, обе девушки ожидали его в дверях, и Маргит приветствовала его восхищенным щебетанием, однако Суизину показалось, что он различает в нем иронические нотки. Бледная и дрожащая Роза с испуганным видом подала ему руку и, быстро отняв ее, спряталась за спину сестры. Когда обе девушки ушли в свою комнату, Суизин разыскал Болешке. Настроение его значительно поднялось, и он сказал:

— Велите хозяину подавать ужин, а мы пока разопьем бутылочку за будущие успехи.

Окна комнаты выходили в сторону соснового леса. Деревья подступали так близко, что до них почти можно было дотянуться рукой. Комнату наполнял запах хвои. Но Суизин отвернулся от душистой темноты за окном и принялся раскупоривать бутылку. Хлопнула пробка, и словно по волшебству появился Болешке. Он вошел весь забрызганный грязью и пахнувший конюшней. Следом за ним вошла Маргит, свежая и спокойная, как всегда. Роза не показывалась.

— А где ваша сестра? — спросил Суизин.

— Роза сказалась усталой.

— Но ей надо подкрепиться, — настаивал Суизин.

— Она должна выпить за родину, — пробормотал Болешке и пошел за дочерью.

Маргит последовала за ним, а Суизин стал резать курицу. Вскоре они вернулись без нее. У Розы была «мигрень».

Суизин помрачнел.

— Ну, ладно, — сказал он. — Я пойду и попытаюсь уговорить ее. Начинайте без меня.

— Да, да, — печально отозвался Болешке, опускаясь в кресло. — В самом деле, брат, попытайтесь уговорить ее.

Суизин шел по коридору, и сердце странно и сладко падало и замирало у него в груди. Он постучался в дверь, через минуту выглянула Роза и удивленно посмотрела на него. Волосы у нее были распущены.

Суизин неуверенно проговорил:

— Роза, почему ты боишься меня теперь, когда... Роза смотрела ему прямо в глаза, но молчала.

— Почему ты не хочешь выйти к ужину?

Все так же молча она вдруг протянула к нему обнаженную руку. Суизин прижался к ней лицом. Вздрагивая, как от озноба, Роза прошептала у него над ухом: «Сейчас приду», — и тихо закрыла дверь.

Суизин, бесшумно ступая, подошел к дверям гостиной и, чтобы овладеть собой, на минуту остановился у входа. Вид Болешке, сидевшего с бутылкой в руке, успокоил его.

— Она сейчас придет, — сказал Суизин, и действительно Роза вскоре вошла. Ее густые волосы были небрежно заплетены в косу.

Суизин сидел между девушками, но разговаривал мало: он был очень голоден. Болешке тоже молчал, погруженный в мрачное раздумье. Роза сидела как немая, и только Маргит щебетала без умолку:

— Правда, вы едете с нами? В наш город? Мы все, все вам покажем. Правда ведь, покажем, Роза?

Роза сделала рукой жест, как бы приглашая его, и проговорила:

— Мы все вам покажем!

После этих слов к ней как бы вернулся дар речи, и обе девушки, с горящими щеками и ярко блестящими глазами, не переставая жевать, затараторили о своем «милом родном городе», «о милых друзьях» и о «милом родном доме».

«Наверное, какая-нибудь дыра», — невольно подумал Суизин. Восторженность всегда казалась ему вульгарной, однако он притворился заинтересованным и был вознагражден за это быстрыми взглядами сияющих глаз Розы.

По мере того как пустела бутылка, Болешке все больше мрачнел, и только изредка лицо его светлело. Наконец он встал и заговорил.

— Не надо забывать, — сказал он, — что мы идем, может быть, на лишения и нищету, а может быть, и на смерть... Идем, потому что это нужно родине... Для меня и для вас, мои дочери, это не заслуга. Я говорю об этом достойном англичанине... Поблагодарим бога за то, что он даровал ему такое благородное сердце! Он едет не к себе на родину, не за славой, не за деньгами, а чтобы помочь слабым и угнетенным. Выпьем за него! Поднимем бокалы за героя Форсайта!

Наступила мертвая тишина, и Суизин взглянул на Рози. В ее глазах светилась едва заметная усмешка. Он посмотрел на венгра. Не издевается ли он над ним? Но Болешке, осушив бокал, опять опустился в кресло и, ко всеобщему удивлению, захрапел.

Маргит встала и, склонившись над ним, как мать, прошептала: «Он так устал с дороги». Своими сильными руками она подняла его на ноги. Болешке, опираясь на ее плечо и пошатываясь, вышел из комнаты. Рози и Суизин остались одни. Он протянул руку к ее руке, что лежала так близко на грубом полотне скатерти. Ее рука как бы ждала его прикосновения. Все, что сковывало его, исчезло, и он начал говорить; слова лились сами, словно вода, прорвавшая плотину. На какой-то миг Суизин забыл о себе, забыл обо всем, кроме того, что он рядом с ней. Головка Рози упала ему на плечо, и он вдыхал аромат ее волос. Как поцелуй, прозвучал шепот: «Спокойной ночи!», — и не успел он опомниться, как она исчезла...

Давно затихли ее шаги в коридоре, а Суизин все сидел и глядел не отрываясь на маленькую каплю вина, блестевшую на столе. В эту минуту Рози с ее беспомощностью и ее любовью была для него всем на свете; вся его прежняя жизнь обратилась в ничто. Все, что было его жизнью — привычки, традиции, убеждения, воспитание, он сам, — все отошло, скрылось в тумане страсти и неведомого ему рыцарского чувства. Кусочком хлеба Суизин осторожно подобрал сверкающую каплю и подумал: «Это потрясающе!» Потом он долго стоял у раскрытого окна перед темными соснами.

XI

Рано утром Суизин проснулся, раздраженный нелепыми снами и неудобствами жилья в этом незнакомом месте. Пока он лежал в кровати, высунув нос из-под стеганого одеяла, у него родилось ужасное подозрение. Подозрение росло, и скоро Суизин даже подскочил на постели. А что, если все это заговор, чтобы заставить его жениться на Рози? Предательская мыслишка вызвала у него отвращение. И все же... Она ведь может ничего не знать сама! Но так ли уж она невинна? Какая невин-

ная девушка пришла бы к нему так, как она это сделала? Какая? А ее отец, который делает вид, будто у него на уме только судьбы родины? Просто невероятно, чтобы мужчина мог быть таким дураком! Да, все это было частью задуманной игры. Ах, проклятый интриган! И Кастелиц такой же — вспомнить только его угрозы. Итак, они намерены женить его. Эту отвратительную мысль делало еще более отвратительной его уважение к браку. Брак для Суизина был делом благопристойным и высоконравственным, и он боялся всяких liaisons¹, в них было что-то грубое, примитивное. Но от мысли о браке с Розой его бросило в холодный пот. Этот шаг казался еще чудовищнее оттого, что она уже отдалась ему! И в ясном холодном утреннем свете Суизин впервые трезво осознал свое положение со всеми его трудностями. Он сидел в постели и, тяжело дыша, словно выброшенная на берег рыба, размышлял над своими догадками. Глубокое возмущение овладело им.

Он сел на постели и, обхватив голову руками, попытался представить себе, что мог означать для него этот брак. Во-первых, это была нелепость, во-вторых, тоже нелепость и, в-третьих, опять-таки нелепость. Она будет есть курицу руками, которые ему все еще страстно хотелось целовать. Она будет неистово отплясывать с другими мужчинами и без конца болтать о своем «милом родном городе». И все время глаза ее будут устремлены куда-то мимо него, сквозь него и будут видеть какое-то проклятое место, о котором он не имеет ни малейшего понятия. Суизин вскочил с кровати и забежал по комнате. На мгновение ему показалось, что он сходит с ума.

Они хотят женить его! Даже она — она хочет его женить на себе. Ее дразнящая загадочность, ее скрытая нежность, ее легкий смех, мимолетные обжигающие поцелуи, даже движения ее рук и слезы — все это было уликами против нее. Все, что заставляла ее делать сама природа, было обвинением в его глазах, но как это разжигало его желание, его страсть и отчаяние! Суизин подошел к зеркалу и попытался расчесать волосы пальцами, но волосы были тонкие и спадали на лицо космами.

¹ Любовные связи (франц.).

От этого он разволновался еще больше. Он стал натягивать грязные башмаки. Ему вдруг пришла мысль: «Если бы я мог увидаться с ней наедине, мы бы как-нибудь договорились». Но тут же почти оцепенел при мысли, что любая договоренность была бы не только опасной, но более того—чрезвычайно рискованной. Схватив шляпу, он бросился вон из комнаты, как заяц от выстрела. Он долго бродил по сырому лесу, опустив голову, возмущенный и перепуганный.

Но постепенно, пока поднималось солнце и воздух наполнялся запахом хвои, его душевное состояние становилось все уравновешеннее. В конце концов она сама отдалась ему, так что еще неизвестно... Мерный звук его собственных шагов успокаивал тревогу, и у него появилась уверенность, что все обойдется. «Посмотрим на дело практически»,— думал Суизин, и чем быстрее он шагал, тем больше крепла в нем уверенность, что он выпутается из этой истории. Суизин вынул часы—был уже восьмой час, и он заторопился к дому. Во дворе его кучер запрягал лошадей. Суизин подошел к нему.

— Кто велел запрягать? — спросил он.

Кучер ответил:

— Der Herr¹.

Суизин отвернулся. «Через десять минут,— подумал он,— я снова буду в этой карете, а в голове такая неразбериха! Ехать прочь от Англии... от всего, к чему я привык, а куда?» Готов ли он к этому? Готов ли он выносить не один день, а день за днем, ночь за ночью все то, что терзало его в это утро? Подняв голову, он увидел, что Роза смотрит на него из открытого окна. Никогда еще он не видел ее такой милой и такой лукавой. Необъяснимый ужас обуял его. Он перебежал двор и прыгнул в карету. «В Зальцбург! Погоняй!» — крикнул он. Когда карета, громыхая, выехала за ворота, Суизин, не оборачиваясь, швырнул соверен хозяину постоялого двора. Он мчался обратно еще быстрее, чем ехал сюда. Бледный, с бессмысленными, как у мопса, глазами, он за всю дорогу не произнес ни слова и, только когда карета подъехала к его квартире в Зальцбурге, приказал кучеру остановить лошадей.

¹ Господин (нем.).

На пятый день к вечеру, пожелтевший и измученный путешествием, Суизин переправлялся в гондоле к отелю Даниелли. На лестнице у входа стоял Джемс и смотрел на него с вполне понятным любопытством.

— А, это ты!—сказал он.—Добрался благополучно? Суизин разозлился.

— Что значит благополучно?

Джемс ответил:

— Я думал, что ты не захочешь бросить своих друзей! — Потом добавил подозрительно: — А ты не привез их с собой?

— Каких друзей? — прорычал Суизин.

Джемс переменил тему.

— Ты скверно выглядишь,—сказал он.

— В самом деле?—пробормотал Суизин.—А тебе-то что до этого?

В тот вечер он спустился к ужину, но заснул за кофе. Ни Тракер, ни Джемс не досаждали ему вопросами. Они даже не вспоминали о Зальцбурге. Все четыре дня, что они провели в Венеции, Суизин ходил с высоко поднятой головой, но с отсутствующим взглядом, словно чем-то ошеломленный. И только в Генуе, когда они сели на пароход, он наконец снова обрел здоровый интерес к жизни. Узнав, что на борту есть любитель побренчать на пианино, Суизин запер инструмент, а ключ выкинул в море.

Следующую зиму в Лондоне он провел как обычно, но порой бывал до того брюзглив, что общение с ним становилось малоприятным.

Однажды вечером, когда он прогуливался с приятелем по Пикадилли, к нему обратилась по-немецки какая-то девушка. Молча взглянув на нее, Суизин, к великому удивлению приятеля, вручил ей пятифунтовую бумажку. Он и сам не мог себе объяснить, что значила эта неожиданная щедрость.

О Розе он никогда больше не слышал...

Вот о чем вспоминал больной Суизин, лежа в постели. Протянув руку, он позвонил. Вошел камердинер-швед

и неслышно, как кошка, приблизился к кровати; этот маленький нервный человек со сморщенным личиком и торчащими усами давно уже служил у Суизина и был удивительно привязан к своему хозяину.

Суизин слегка шевельнул рукой.

— Адольф, я совсем плох,— сказал он.

— Да, сэр.

— Что же ты стоишь, как осел? — сказал Суизин.— Или не видишь, что я совсем плох?

— Да, сэр!— Лицо камердинера дрогнуло; видно было, что он пытается скрыть свои чувства.

— Мне станет легче после обеда. Который час?

— Пять часов.

— А я думал, сейчас больше. Как долго тянутся дни!

— Да, сэр!

Суизин вздохнул, как будто хотел, чтобы ему возразили, надеясь найти в этом какое-то утешение.

— Я вздремну. В половине седьмого принеси горячей воды и побрей меня к обеду.

Камердинер пошел к двери. Суизин приподнялся.

— Что сказал мистер Джемс?

— Он сказал, что вам следует пригласить другого доктора. Два доктора, сказал он, лучше одного. А еще сказал, что заедет опять по дороге домой.

Суизин проворчал:

— Гм! Что он еще сказал?

— Он сказал, что вы не следите за своим здоровьем.

Суизин сердито посмотрел на него.

— Еще кто-нибудь заходил?

Камердинер отвел взгляд.

— Две недели тому назад, в понедельник, заходила миссис Томас Форсайт.

— Сколько же времени я болен?

— В субботу будет пять недель.

— Ты думаешь, я очень плох?

Лицо Адольфа сморщилось еще больше.

— Не спрашивайте меня об этом! Мне платят не за то, чтобы я отвечал на такие вопросы, сэр!

С легким вздохом Суизин сказал:

— Ты наглый дурак! Открой бутылку шампанского!

Адольф вынул бутылку из буфета, взял щипцы, что-

бы открутить проволоку, потом пристально поглядел на Суизина.

— Доктор сказал...

— Открой бутылку!

— Но это...

— Открой бутылку... или я уволю тебя.

Адольф откупорил бутылку. Тщательно вытерев бокал, он наполнил его вином и осторожно подал Суизину, потом, дернув себя за усы, стиснул руки и воскликнул:

— Ведь это же яд!

Суизин слабо улыбнулся.

— Дурак... Убирайся вон!

Камердинер исчез.

«Адольф забывается», — подумал Суизин. Он медленно поднял бокал, медленно поставил его и, задыхаясь, откинулся на подушки. Через минуту он уже спал.

Ему снилось, что он сидит после обеда в клубе, в переполненной курительной комнате; свечи в тройных подсвечниках освещают ее светлые стены. Каждый день, важный и торжественный, он одиноко приходил сюда и терпеливо просиживал весь вечер. Иногда он засыпал, и его квадратное лицо, бледное и постаревшее, клонилось на грудь. А ему снилось, будто он смотрит на ту картину, что висела там, над камином. Это был портрет старого государственного деятеля с утонченным лицом и нахмуренными бровями — таинственный портрет человека ограниченного и привыкшего изрекать непреложные истины. Вокруг Суизина болтали завсегдатаи клуба, и только он, старый и больной, всегда молчал. Если бы они только знали, каково сидеть одному и чувствовать свой недуг! То, о чем они говорили, Суизин слышал уже сотни раз. Они говорили о том, куда вложить деньги, о сигарах и машинах, о лошадях и актрисах. Что такое? Заграничный патент на машину для очистки котлов? Чепуха! Котлы невозможно чистить, каждый дурак это знает! Если уж англичанин не может очистить котел, то иностранцу это тем более не под силу.

Суизин поглядел на портрет старого джентльмена, но на этот раз глаза того, казалось, впервые выразили сомнение, затуманились, расплылись и исчезли. На их месте появились маленькие, глубокие глаза Розы, загадочные, устремленные куда-то вдаль. И пока он всмат-

ривался в эти глаза, они начали оживать, заблестели, как сталь, и, казалось, заговорили с ним. Постепенно на темном фоне портрета всплыло все ее лицо в обрамлении пушистых волос — розовое, далекое, загадочное, манящее, с трепетными губами, совсем такое, каким он видел его в последний раз. Роза как будто спрашивала: «Ты что-то потерял? Я помогу тебе».

«Теперь все хорошо», — ответил Суизин и застонал во сне.

Он почувствовал на лбу прикосновение пальцев и подумал во сне: «Это мне снится».

Роза исчезла, и издалика, из-за картины, слышался звук ее шагов.

Не просыпаясь, Суизин внятно произнес: «Я потерял...» И снова он услышал легкие шаги и совсем близко, около уха, звук, похожий на рыдание. Он проснулся. Это всхлипнул он сам. На лбу у Суизина выступили крупные капли пота. «Что это? — подумал он. — Что же я потерял?» Медленно перебирая в уме свои денежные вложения, он не нашел никаких потерь. «Но что же это такое? Что же я потерял?» С трудом приподнявшись на подушках, Суизин схватил бокал и отхлебнул вина. «Разве это настоящий Хидсек», — сердито подумал он, и его грубое неудовольствие рассеяло туманное видение. Он нагнул голову, чтобы выпить еще, но вдруг что-то словно оборвалось в нем, и, глубоко вздохнув, Суизин Форсайт умер, склонившись над пенистым бокалом.

Когда Джемс Форсайт по пути домой заехал снова, камердинер, дрожа всем телом, принял у него трость и шляпу.

— Как твой хозяин?

— Хозяин умер, сэр.

— Умер?! Не может быть! Я же видел его час назад!

Тело Суизина лежало на постели, обмякнув, как мешок; рука еще сжимала бокал.

Джемс Форсайт помедлил.

— Суизин, — позвал он и, приложив ладонь к уху, ожидал ответа.

Но ответа не было, только последний пузырек в бокале оторвался от доньшка и, поднявшись на поверхность, лопнул.

РЫЦАРЬ

I

Весной 189... года в Монте-Карло я встречал старика в сером костюме и выгоревшей соломенной шляпе с черной лентой. Каждое утро в одиннадцать часов он, сопровождаемый пятнистым догом, спускался на Плац, обходил его раз-другой, а затем усаживался на скамье напротив казино. Он сидел на солнцепеке, надвинув на глаза соломенную шляпу и скрестив темные руки, а собака сидела рядом, положив морду ему на колено. Посидев на скамейке час или немного более, он вставал и, слегка сутулясь, медленно обходил Плац, потом возвращался вверх по холму. Около трех часов дня он, в том же костюме, снова приходил на площадь и, оставив собаку на улице, входил в казино.

Однажды я, уступая разбиравшему меня любопытству, последовал за ним. Он прошел через вестибюль, миновал все игорные комнаты и вошел в концертный зал. С этого дня у меня вошло в привычку ожидать его появления. Когда он сидел на Плацу, я его видел из окна своего номера. Наибольшей загадкой для меня была национальность этого человека.

Кожа его худого, узкого лица с выступающей челюстью и острым подбородком была настолько обожжена солнцем, что напоминала пергамент. На лбу пролегли морщины, глаза были карие, а в уголках губ топорщились седые усики. Затылок нависал над худой шеей и высокими, острыми плечами. Его седые волосы были коротко подстрижены. Когда я ехал сюда, то в марсельском буфете мне довелось встретить англичанина, наружностью почти его двойника и все же так на него не похожего! У моего старика незаметно было и следа

настороженной и властной самоуверенности того англичанина. Он производил впечатление человека скромного и не защищенного от ударов судьбы и суровой действительности. Он определенно не был французом. Правда, глаза у него были карие, но светлого оттенка, а не темно-коричневые сладострастные глаза француза. Американец? Но разве американцы бывают столь пассивны? Немец? Кончики усов его действительно были закручены вверх, но топорщились они как-то скромно, имели вид почти жалкий, не как у тевтонцев. Словом, я в конце концов оставил всякие попытки отгадать его национальность и называл его про себя «космополитом».

Уехав в апреле из Монте-Карло, я начисто забыл об этом старике. Но в ту же пору следующего года я снова очутился в Монте-Карло и, отправившись раз на концерт, обнаружил, что сижу рядом с моим «космополитом». Оркестр исполнял «Пророка» Мейербера. Мой сосед спал, тихо похрапывая. На нем был тот же серый костюм, на коленях лежала та же соломенная шляпа (или, быть может, точно такая же). Сон не исказил его лица — усики все так же топорщились, губы были сжаты и на лице было очень доброе и приятное выражение. На правом виске у него был шрам, на шее — другой, а на левой руке надета старая перчатка с пустым мизинцем. Он проснулся, когда кончили играть марш, и покрутил усики.

Следующим номером программы была небольшая пьеска из «*Le joli Gilles*»¹ Пуаза, которую исполнял на скрипке синьор Корсанего. Случайно взглянув на своего соседа, я увидел слезу на его впалой щеке и другую — в уголке глаза. Он еле заметно улыбался. Затем наступил антракт, и, пока оркестр и публика отдыхали, я спросил у старика, любит ли он музыку. Он посмотрел на меня без всякого недоверия, поклонился и ответил высоким, мягким голосом:

— Конечно. Я ничего в ней не понимаю, не играю ни на одном инструменте, никогда не мог пропеть и одной ноты, но... люблю ли я музыку? А как можно ее не любить?

Он говорил по-английски правильно, но с легким акцентом — не американским и не иностранным. Я осме-

¹ «Прекрасный Жиль».

дился заметить, что Мейербер ему, по-видимому, не нравится. Он улыбнулся.

— А,— сказал он,— я заснул? Как нехорошо! Но этот марш—немного шумный... Впрочем, я так мало понимаю в музыке. Вот, например, Бах. Поверите ли, он не доставляет мне никакого удовольствия. Как это плохо—не разбираться в музыке.

Он покачал головой.

— Быть может, его музыка кажется вам слишком возвышенной? — сказал я.

— Для меня,— ответил он,— любая музыка, которая мне нравится, возвышенная. Люди говорят, что иная музыка плохо на них действует. Я же никогда не слышал музыки, которая породила бы у меня хотя бы одну скверную мысль. Нет, нет, напротив! Но иногда, как видите, я под музыку засыпаю. А какой чудесный инструмент — скрипка! — Его увядшие щеки покрылись легким румянцем.— Это голос человеческой души, покинувшей тело. Странно, звук далекого горна ночью пробуждает во мне всегда такое же чувство.

Оркестр уже снова занимал места на эстраде. Мой сосед, сложив руки, повернулся в его сторону и приготовился слушать.

По окончании концерта мы вышли вместе. Его собака ожидала у входа.

— Какая у вас прекрасная собака!

— О да. Freda, mia cara, da su mano! ¹

Собака села и подала лапу со скучающим и рассеянным видом, характерным для больших псов, когда их заставляют показывать фокусы. Она была очень красива—чистопородный пятнистый дог без единой подпалины и совершенно лишенный неуравновешенности, свойственной собакам этой породы.

— Basta! Basta! ²—Он виновато обернулся ко мне.— Мы с Фредой говорим по-итальянски,— это для того, чтобы мне не забыть языка. Просто удивительно, как много способна понять эта собака!

Я уже было собрался уходить, но он спросил, не хочу ли я пройтись с ним, если не занят.

¹ Фреда, дорогая, дай лапу! (итал.)

² Довольно! Довольно! (итал.)

Мы пошли вверх по улице, Фреда — рядом с хозяином.

— Вы не играете здесь в рулетку? — спросил я его.

— Играю? Нет. Должно быть, это очень интересно и вызывает сильные ощущения, но, по правде сказать, мне это не по карману. Если у человека мало денег, он за игрой слишком нервничает.

Он остановился у маленькой парикмахерской.

— Здесь я живу, — сказал он, еще раз приподняв шляпу. — Так что до свидания... Или, может, вы позволите предложить вам чашку чая? Он уже готов. Заходите! Уж раз вы пожертвовали ради меня своим временем, так доставьте мне еще и это удовольствие.

Я никогда не встречал человека столь светского и в то же время столь щепетильного и застенчивого — сочетание поистине редкое. По крутой лестнице мы поднялись в комнатку на втором этаже. Мой спутник открыл ставни, всполошив всех мух в комнате. На уровне окна виднелась верхушка платана, и его коричневые шарики совсем близко трепетали на ветру. Как и обещал мой новый знакомый, на спиртовке уже шипел чайник, на столе стояли старый заварной чайничек, сахар, нарезанный ломтиками лимон и стаканы. Вся обстановка комнаты состояла из кровати, буфета, умывальника, жестяного сундука, двух стульев и небольшого коврика. Над кроватью на двух гвоздях висела сабля в кожаных ножнах. На закрытой печке стояла фотография девушки. Мой хозяин подошел к буфету и достал бутылку, стакан и вторую чайную ложку. Когда бутылка была откупорена, в воздухе распространился аромат рома. Он понюхал ром и налил по чайной ложечке в оба стакана.

— Этому я научился у русских под Плевной. Они отхватили мне мизинец, так что мне что-нибудь да причиталось взамен. — Он оглянулся, глаза его и все лицо просияли. — И уверяю вас, я на этом обмене только выиграл... Ведь вкус чая существенно улучшается. Попробуйте! — Он разлил чай.

— Вы что, сочувствовали туркам?

— Я всегда на стороне слабых. — Он помолчал, потом добавил: — Но дело было не в этом.

Все его лицо вдруг покрылось бесчисленными морщинками, веки дрогнули, и он торопливо продолжал:

— Я должен был чем-нибудь заняться в то время. Это было необходимо...

Он смотрел в свой стакан, и прошло некоторое время, прежде чем я осмелился спросить, был ли он участником многих боев.

— Да,— ответил он серьезно.— В общей сложности я воевал почти двенадцать лет. Я был один из Гарибальдиевой «Тысячи» в шестидесятых годах.

— Но вы ведь, конечно, не итальянец?

Он нагнулся вперед, упершись ладонями в колени.

— В то время я жил в Генуе, изучал банковское дело. Гарибальди был замечательный человек! Я не мог не пойти за ним.— Он говорил очень просто.— Можно сказать, это было все равно, как если бы маленький человек один встал против толпы здоровенных парней... И я пошел с ним, точно так же как и вы бы пошли, будь вы там. Но я с ними пробыл недолго: началась наша война, и мне пришлось возвратиться на родину.— Он сказал это таким тоном, как будто со дня сотворения мира была всего только одна война на земле.— Да,— продолжал он задумчиво, словно размышляя вслух,— и с тысяча восемьсот шестьдесят первого года до тысяча восемьсот шестьдесят пятого. Вы только подумайте! Бедная страна. В моем штате, в Южной Каролине, мне пришлось пройти все с начала до конца, все должны были воевать, противник численностью превосходил нас в три раза.

— Вы, должно быть, созданы для борьбы?

— Гм,— протянул он, словно впервые подумав об этом.— Иногда я боролся ради хлеба насущного, а иногда потому, что обязан был бороться. Надо стараться быть джентльменом. Не угодно ли еще чаю?

Выпить еще чаю я отказался, распростился с хозяином и ушел, унося с собой образ старика, смотревшего на меня с площадки крутой лестницы. Подкручивая седые усики, он тихо говорил мне вслед:

— Осторожнее, дорогой сэр, там на углу ступенька.

«Быть джентльменом!» — повторил я вслух его слова, очутившись на улице. Я испугал старую француженку, и она от неожиданности уронила зонтик, после чего мы в течение почти двух минут стояли, кланяясь и улыбаясь друг другу, и наконец расстались, переполненные наилучшими чувствами.

Через неделю мы с ним снова оказались рядом на концерте. За это время я несколько раз видел его, но только мельком. Он казался чем-то подавленным. Губы его были крепко сжаты, загорелые щеки посерели, взгляд был беспокойный. В промежутке между двумя номерами программы он тихо промолвил, постукивая пальцами по своей шляпе:

— У вас бывают неудачные дни? Да? Неприятно, не правда ли?

И тут произошло нечто, послужившее началом тому, о чем я хотел вам рассказать. В зал вошла героиня одного романа, или преступления, безумства, или эксцентричности—называйте, как хотите,—которая только что приковала к себе взоры всего «света». Она и ее спутник прошли мимо нас и заняли места на несколько рядов правее. Она все время поворачивала голову, и каждый раз я замечал тревожный блеск ее глаз. Кто-то сзади нас сказал:

— Бесстыжая!

Мой сосед круто обернулся и свирепо посмотрел на того, кто это сказал. В нем произошла удивительная перемена: он оскалил зубы, нахмурился, шрам на его виске покраснел.

— Эх,—сказал он мне.— Это улюлюканье достойно презрения! Как я это ненавижу! Но вы не поймете... я...— Он замолк и постепенно обрел свою обычную скромную сдержанность. Он даже казался пристыженным и пытался еще выше подкрутить свои усики, как бы подозревая, что во время его вспышки они пришли в беспорядок.

— Я сам не свой, когда речь заходит об этих вещах,—сказал он неожиданно и начал читать программу, держа ее вверх ногами. Но через минуту заговорил снова каким-то странным тоном:

— Можно встретить людей, которые возражают против вивисекции животных, но когда заживо режут женщину — кого это трогает? Неужели и вы находите, что из-за трагедии, подобной этой — а, поверьте мне, это всегда трагедия — мы должны травить женщину? И что другие женщины должны изгонять ее из своей сре-



«РЫЦАРЬ»



«МОЛЧАНИЕ»

ды? А мужчины — видеть в ней легкую добычу? — Он снова замолчал, глядя прямо перед собой. — Ведь это мы делаем из них то, что они собой представляют. Но даже если это и не так... все равно! Если бы я думал, что есть на свете хоть одна женщина, перед которой я не мог бы снять шляпу... я... я... не мог бы спать спокойно.

Он встал, дрожащими руками надел свою ветхую соломенную шляпу и, ни разу не оглянувшись, пошел к выходу, спотыкаясь о ножки кресел.

Я остался на месте сильно расстроенный. Слова: «Надо стараться быть джентльменом!» — продолжали преследовать меня. Когда я вышел, я увидел его у входа, он стоял, держа одну руку на бедре, а другую положив на свою собаку. В этой позе он был воплощением терпеливого ожидания. Ослепительное солнце ярко освещало его изношенную одежду и худобу его загорелых рук с длинными пальцами и пожелтевшими от табака ногтями. Увидев меня, он взошел по ступенькам мне навстречу и приподнял шляпу.

— Я очень рад, что мне удалось вас дождаться. Пожалуйста, забудьте обо всем, что произошло.

Я спросил, не окажет ли он мне честь отобедать со мной в моем отеле.

— Отобедать... — повторил он, улыбнувшись, как ребенок, которому подарили набор оловянных солдатиков. — С величайшим удовольствием! Я редко обедаю вне дома, но думаю, мне удастся приодеться к обеду. Да... да... А в какое время мне прийти? В половине седьмого. А ваш отель... Хорошо! Я буду там. Freda, mia cara, сегодня вечером ты будешь одна. Боюсь, вы не курите «Капрал». Я нахожу его довольно хорошим, хотя он и крепковат.

Он зашагал прочь со своей Фредой, куря тоненькую самокрутку из табака «Капрал».

Раз или два он останавливался, как бы внезапно пораженный какой-то мыслью или сомнением. И каждый раз, когда он останавливался, Фреда лизала его руку. Они исчезли за углом, а я отправился в отель распорядиться насчет обеда. По пути я встретил Жюля Леферье и пригласил его тоже.

— Ну, разумеется, приду! — ответил он со здоровым

пессимизмом, столь характерным для французского редактора.— Человек должен обедать!

Мы встретились в половине седьмого. Мой «космополит» был облачен в старомодный сюртук, наглухо застегнутый доверху и еще более подчеркивавший некоторую сутулость и острую линию плеч своего владельца. Он принес с собой также фуражку военного покроя, которую, очевидно, счел более приличествующей сюртуку, чем соломенная шляпа. От него пахло какой-то травкой.

Мы сели за стол и просидели целых два часа. Старик был очаровательным гостем: хвалил все, что ел, и не банальными словами, а в таких выражениях, которые заставляли вас чувствовать, что он действительно получил удовольствие. Вначале, когда Жюль сделал одно из своих едких замечаний, он страдальчески сморщился, но потом, видимо, вспомнил поговорку: «Не та собака кусает, что громко лает» и после каждого замечания Жюля, обернувшись ко мне, восклицал: «Эге! Это неплохо... Не правда ли?» С каждым стаканом вина он становился все более веселым и сердечным. Сидел он за столом очень прямо, в своем наглухо застегнутом сюртуке, а белые крылышки его усиков, казалось, вот-вот покинут их обладателя и отправятся в лучший мир.

Но, несмотря на все наводящие вопросы, мы не могли заставить его говорить о себе, и даже этот циник из циников Жюль признал, что старик — настоящий романтический герой. Он отвечал на вопросы вежливо и точно и сидел, покручивая усики, не сознавая, что мы жаждали большего. Когда вино немного ударило ему в голову, его высокий голос зазвучал мягче, щеки порозовели, а глаза заблестели. К концу обеда он сказал: «Надеюсь, я не очень расшумелся».

Мы его заверили, что он, напротив, был слишком молчалив.

— Вы смеетесь надо мной,— возразил он.— Ведь я же все время говорил!

— Mon Dieu! ¹ — сказал Жюль.— Мы ожидали рассказов о войнах, в которых вы участвовали, но так и не дождались ничего.

Старик был заметно огорчен.

¹ Боже мой! (франц.)

— И в самом деле! — сказал он. — Дайте подумать! Да вот могу рассказать о Кэлхоуне под Геттисбургом или о Гарибальди и Мельнике.

И он принялся рассказывать историю — не о себе. История эта была бы невероятно скучна, если бы не убежденность, светившаяся в его глазах, и не объяснения, которые он вставлял.

— Теперь вы понимаете, — заключил он, — что за человек был Гарибальди! Я могу рассказать вам о нем еще кое-что.

Однако, перехватив рассеянный взгляд Жюля, я предложил перейти в кафе напротив и там выкурить по сигаре.

— Чудесно! — сказал старик. — Мы будем слушать оркестр, сидеть на воздухе и со спокойной совестью курить сигары. Мне никак не по душе курение в том же помещении, где обедают дамы.

Он вышел первый, куря с видимым удовольствием. Жюль, чье раскрасневшееся лицо сияло над его белой рубашкой и жилетом, прошептал: «Мой милый Джордж, как он хорош!» Затем вздохнул и мрачно добавил: «Бедняга».

Мы сели за маленький столик. Рядом шуршали ветвями платаны. Их листья, пестрые, как птичья грудка, или совсем черные на фоне неба, были неподвижны, но временами трепетали, подхваченные ветерком.

Старик сидел, откинув голову, с улыбкой на губах. Порой, отрываясь от своих волшебных грез, он пил кофе, отвечал на наши вопросы или подпевал оркестру. На его сигаре уже вырос изрядный столбик пепла. Какой-то субъект в восточном одеянии, из тех, кто каждый вечер предлагает свой сомнительный товар по высокой цене, вдруг появился в белом свете фонаря, взглянул, заговорщически улыбаясь, в лицо старику и ретировался, обескураженный его полнейшим безразличием. Эта ночь была создана для грез! В воздухе еле уловимый, полувосточный аромат черного табака и специй, за столиками еще мало народу, официанты передвигаются неторопливо, тихо играет оркестр! О чем он грезил, этот старик, у которого на сигаре вырос такой длинный столбик пепла? Видел ли он свою молодость, вспоминал ли бои или размышлял о том, как должно поступать

ему, кто желает быть джентльменом? Возможно, он думал всего лишь о своем обеде, но, во всяком случае, мысли его имели радужный оттенок, точно так же как позолоченные светом ветви платанов.

Жюль потянул меня за рукав: «Он спит». Старик заснул с улыбкой на лице. Столбик сигарного пепла — этот воздушный замок его грез — сломался и упал ему на рукав. Он проснулся и принялся стряхивать пепел.

Кругом нас кафе начинало заполняться. Один из оркестрантов исполнил чардаш на цимбалах. За столик рядом сели, громко разговаривая, два молодых француза. Они говорили о даме, которая днем появилась на концерте.

— Держу пари, — сказал один из них, — что не более как через три недели она очутится на дне. Это только первый шаг.

Сигара моего старика упала на стол.

— Мосье, — сказал он, заикаясь, — вы позволяете себе так говорить о даме в общественном месте?

Молодой человек уставился на него.

— Кто этот человек? — сказал он своему спутнику.

Мой гость взял со стола перчатку Жюля и, прежде чем кто либо из нас успел пальцем пошевелить, бросил ее в лицо говорившему. «Довольно!» — сказал он и вышел.

Мы все вскочили с мест. Я оставил Жюля и поспешил за стариком. Лицо его было угрюмо, по глазам видно было, что он задет за живое. Он сделал жест, ясно говоривший: «Будьте добры, оставьте меня».

Я вернулся в кафе. Двое молодых людей уже исчезли и Жюль также, в остальном все было без изменений: оркестрант все еще играл чардаш; официанты разносили напитки; какие-то азиаты пытались продавать свои ковры. Я заплатил по счету, разыскал хозяина и извинился. Он пожал плечами, улыбнулся и сказал: «Ваш друг — эксцентричный человек». Я спросил, не может ли он мне сообщить, куда делся мосье Леферье? Нет, он не мог. Я ушел искать Жюля, так и не нашел его и вернулся в отель, возмущенный до крайности. Мне было жаль моего старика, но я на него и сердился: зачем было ему доводить свое донкихотство до столь неприятных размеров? Я попытался читать. Пробило одиннадцать, из ка-

зино выплеснулась толпа людей. Плац, казалось, был более оживлен, чем когда-либо, но постепенно опустел и погрузился в темноту. Мне вдруг захотелось пройтись. Ночь была тихая, очень теплая и очень темная. На одной из скамеек сидели, обнявшись, мужчина и женщина, на другой рыдала девушка, а на третьей — удивительное зрелище! — дремал священник. Я почувствовал, что рядом со мной кто-то стоит. Это был мой старик.

— Если вы не слишком устали, — сказал он, — то, быть может, уделите мне десять минут?

— Разумеется. Зайдемте ко мне?

— Нет, нет. Давайте пройдем на террасу. Я вас долго не задержу.

Он не проронил ни слова, пока мы не добрались до стены над стрельбищем, где в темноте, казавшейся тем более густой, что в городе еще виднелась цепочка огней, мы сели.

— Я должен перед вами извиниться, — сказал он. — Во-первых, за то, что было сегодня днем, потом снова вечером... ведь я был ваш гость... перчатка вашего друга... Я вел себя не по-джентльменски.

Он наклонился, опираясь обеими руками на трость, и в голосе его слышалось огорчение.

— Полноте, — пробормотал я, — все это пустяки.

— Вы очень добры. — Он вздохнул. — Но я чувствую, что мне следует объяснить свое поведение. Я обязан сделать это, но должен сказать: никогда у меня не хватило бы на это мужества, если бы не одно обстоятельство. Видите ли, у меня нет ни единого друга.

Он посмотрел на меня, нерешительно улыбаясь. Я поклонился, и через минуту-другую он начал...

III

— Извините, я начну немного издалека. Это было в тысяча восемьсот семьдесят четвертом году, когда я болел кубинской лихорадкой. Чтобы спасти мне жизнь, меня посадили в Сант-Яго на корабль, и в конце путешествия я оказался в Лондоне. У меня было очень мало денег и ни души знакомой. Скажу вам, сэр, бывают случаи, когда профессиональному солдату трудно найти себе занятие. Мне говорили: «Боймся, что в нашем деле вряд

ли найдется работа для такого человека, как вы». Я обращался к самым различным людям, но — что правда, то правда — начиная с тысяча восемьсот шестидесятого я воевал то тут, то там и ни к чему другому уже не был пригоден. — Он покачал головой. — Помнится, на Юге перед войной я слышал поговорку, что солдату да собаке одна цена... Но все это не имеет отношения к тому, что я хочу вам рассказать. — Он снова вздохнул и, облизав губы, продолжал:

— Раз я бродил по Стрэнду в совершенном унынии, как вдруг меня окликнули по имени. Это было очень странно; здесь, на незнакомой улице. Между прочим, — церемонно заметил он, — вы ведь не знаете еще моего имени. Меня зовут Брюн, Роже Брюн. Сперва я не узнал человека, окликнувшего меня. Он только что сошел с омнибуса — широкоплечий мужчина с густыми усами и в круглых очках. Но когда он пожал мне руку, я сразу узнал его. Звали этого человека Дэлтон. Он попал в плен под Геттисбургом. Это был один из англичан, которые приехали сражаться на нашей стороне, — он был майором в том же полку, где я служил капитаном. Мы вместе участвовали в двух кампаниях. Он обрадовался мне, как родному брату. Затащил меня в бар — вспомнить старину. Вино ударило мне в голову, и к тому времени, как мы добрались до Трафальгар-сквера, я уже совсем не мог идти. Он заставил меня присесть на скамейку. Сказать по правде, я был пьян. Быть пьяным позорно, но в этом случае у меня было какое-то оправдание. И вот что я вам скажу, сэр...

На протяжении своего рассказа он все время повторял эти слова. Казалось, они помогали ему собраться с духом или восстановить события в памяти и давали возможность справиться со своими чувствами. Эти вставки помогали ему, как нервному человеку, произносящему речь, помогает бумажка, которую он держит перед собой.

— Не было на свете человека более благородной души, чем мой друг Дэлтон. Он был не очень развит, хотя и много читал, иногда склонен к излишней разговорчивости. Но он был джентльмен. Он выслушал меня, как выслушал бы ребенка. Он не стыдился меня, а нужно быть джентльменом, чтобы не стыдиться пьяного на улицах Лондона. Бог знает, что я ему наговорил, пока

мы сидели там! Он отвез меня к себе домой и сам уложил в постель, потому что я снова свалился в приступе лихорадки.

Он замолчал, отвернулся от меня и приложил руку ко лбу.

— И вот тогда-то я и увидел ее в первый раз, сэр. Я не поэт и не могу описать, какой она мне казалась. Я был в бреду, но всегда знал, когда она приходила в комнату. Мне чудились залитые солнцем поля, пляшущие морские волны, молодые деревья, видения быстро сменяли друг друга. А когда я приходил в сознание, я не заговаривал с нею: боялся, что она уйдет. Она обычно сидела в углу комнаты, волосы ее, цвета блестящего золота, свободно падали на спину, она ничего не делала, не читала, просто сидела и разговаривала шепотом сама с собой или подолгу смотрела на меня голубыми глазами. На лбу между бровями у нее была морщинка, губы крепко сжаты, так чтобы не был виден неровный зуб. Когда появлялся ее отец, она вскакивала и повисала у него на шее, обнимая его, пока он не начинал стонать, а потом убегала, но через некоторое время на цыпочках возвращалась. Я все время ждал ее шагов на лестнице, стука в дверь, звука распахнувшейся или тихонько открываемой двери, потом ее голоса, слегка шепелявого: «Вам сегодня лучше, мистер Брюн? Какие странные вещи вы говорите в бреду! Папа уверяет, что вы участвовали во множестве сражений».

Он встал, беспокойно прошелся взад-вперед и снова сел.

— Я помню каждое ее слово, все, что она говорила и делала, как будто это было только вчера. У меня, понимаете ли, было много времени все это вспомнить. Ну вот, должен вам сказать, что в первое утро, когда я мог подняться, я ее не увидел. Вместо нее пришел Дэлтон, и я спросил его, где она. «Дружище,— ответил он.— я отправил Эйли за город, там у ее бывшей няньки харчевня у реки. В это время года ей будет лучше там». Мы посмотрели друг на друга, и я понял, что он отослал ее потому, что не доверял мне. Это меня задело. Болезнь очень портит человека. Он был прав, он был совершенно прав, так как обо мне знал только, что я умею воевать да вот — что напился. Но я вспылал и тут же решил

уйти от него. Однако я был еще слишком слаб, и ему пришлось снова уложить меня в постель. На следующее утро он пришел и предложил мне стать его компаньоном. У него была школа фехтования и тир, где он обучал стрельбе из пистолета. Я решил, что это перст божий, и, может, так оно и было, кто знает?

Он впал в задумчивость и, достав свой табак, свернул себе сигарету. Закурив, он снова заговорил:

— И в той комнатке над школой мы, бывало, сидели с ним вдвоем по обе стороны камина. Насколько мне помнится, комната была на втором этаже, с двумя окнами, из которых видны были только дома на другой стороне улицы и больше ничего. Мебель была крыта ситцем. Мы никогда не притрагивались к вещам на книжной полке, ибо они принадлежали Эйли — поломанные коробочки с бабочками, мертвая лягушка в бутылке, подкова, обернутая в станиоль, несколько ракушек и картонка с тремя пестрыми яичками и с надписью на крышке: «Дрозд с Люсиного дерева — второй выводок, только один улетел».

Старик яростно курил, и каждая затяжка походила на тяжкий вздох.

— Дэлтон обожал свою дочь. Он никогда не уставал рассказывать мне о ней, а я не уставал слушать. Днем ходили к нам ученики, но по вечерам, когда мы сидели вдвоем и курили, рано или поздно разговор переходил на Эйли. Из гостиной дверь вела в ее комнату. Дэлтон однажды показал мне эту маленькую комнату не шире коридора, чистенькую, белую, с фотографией матери Эйли над кроватью и пустой корзинкой для собаки или кошки.

Он умолк, словно рассердившись на себя, и продолжал свой рассказ уже более суровым тоном, стараясь ограничиваться только важными фактами:

— Ей было тогда пятнадцать лет, мать умерла двенадцать лет назад. Прекрасное лицо было у этой женщины—это ее смерть побудила Дэлтона идти воевать... Так вот, сэр, в один очень жаркий августовский день он предложил мне съездить за город, и когда мы сошли на платформу, Эйли встретила нас — в голубой шляпе и платье того же — ее любимого — цвета. Я рассердился на Дэлтона: зачем он мне не сказал, что мы увидимся с

ней? Мой костюм был не совсем в порядке, да и волосы подстричь мне тоже следовало. В то время они у меня были черные, сэр,— добавил он, прочертив темноту тростью.— Эйли ехала в тележке, запряженной осликом, а мы шли по обе стороны тележки, и Эйли все время поглядывала на меня из-под полей шляпы. Надо вам сказать, она никогда не смеялась — глаза у нее искрились, щечки розовели и кудри прыгали по плечам, но она не смеялась. Люси, ее старая нянька, очень полная и добрая женщина, была замужем за хозяином гостиницы в этой деревне. Ничего подобного этой гостинице мне видеть не доводилось — она утопала по крышу в шиповнике! А аромат... Я очень чувствителен к запахам...

Голова его склонилась на грудь, он выронил сигарету из пальцев. Внизу прошел поезд, выбросив фонтан искр. Старик встрепнулся и продолжал:

— Мы завтракали в гостиной... я очень хорошо помню эту комнату, потому что впоследствии провел в этой гостинице самые счастливые дни своей жизни... После завтрака мы пошли на лужайку. Здесь мой друг Дэлтон заснул. И тогда наступило блаженство: Эйли шепнула мне: «Давайте повеселимся». И мы совершили с ней прелестнейшую прогулку. Река была рядом. Прекрасная река ваша Темза, такая спокойная и широкая — она как душа вашего народа. Я был околдован, я забыл о своем друге, я думал только о том, как удержать Эйли около себя. Какой это был день! Бывают дни дьявольские, но этот воистину был послан богом. Эйли привела меня к небольшому пруду под вязом, мы с ней вдвоем целый час вылавливали из него красненьких червячков, необходимых для прокормления какого-то зверька, который жил у нее. Мы находили их в иле, и когда Эйли нагибалась, кудряшки падали ей на глаза. Если бы вы могли видеть ее в тот момент, сэр, я думаю, вы бы сказали, что она была, как первое видение весны... Потом мы все вместе пили чай в высокой траве под плодовыми деревьями. Если бы я мог только подобрать слова, я бы вам рассказал...

Он склонил голову как бы из уважения к этим невысказанным воспоминаниям.

— Пока мы там сидели, спустились сумерки... Чудесны сумерки в полях... Нам с Дэлтоном пора было воз-

вращаться. Рядом с гостиницей тянулась аллея — как собор, в который проникает через окно золотистый свет. Мы прохаживались с Эйли по этой аллее. «Вы приедете еще?» — прошептала она и вдруг подняла ко мне лицо для поцелуя. Я поцеловал ее, как целуют ребенка. И когда мы прощались, она смотрела на меня из-за плеча отца взглядом, полным грусти и удивления. «Зачем ты уходишь?» — казалось, говорил этот взгляд... Но я должен еще рассказать вам, — продолжал он поспешно, — о том, что произошло, прежде чем мы успели пройти сотню шагов. Мы курили трубки, и я думал о ней, как вдруг она выбежала к нам из-за живой изгороди. Дэлтон воскликнул: «Зачем ты здесь, сумасшедшая девочка?!» Она бросилась к нему и крепко обняла его. Когда она посмотрела на меня, на ее лице уже было иное выражение — безразличное, даже, можно сказать, вызывающее, — оно причинило мне боль. Я не мог понять его, а непонятное вселяет в человека страх.

IV

— Бежали дни. По Лондону уже шла молва, что мне нет равного в фехтовании и стрельбе. У нас было столько учеников, сколько мы могли себе пожелать, — это было единственное время в моей жизни, когда я делал сбережения. У меня не было возможности тратить деньги. Мы целый день давали уроки, а к вечеру слишком уставали, чтобы куда-либо выходить. В тот год я имел несчастье потерять свою дорогую мать. Я стал богатым человеком. Да, сэр, в то время я зарабатывал не менее шестисот фунтов в год.

Прошло много времени, прежде чем я снова увиделся с Эйли. Она уехала за границу, в Дрезден, с сестрой отца, учиться французскому и немецкому. Вернулась она осенью тысяча восемьсот семьдесят пятого года. Ей минуло семнадцать — прелестная была девушка.

Он остановился, как бы собираясь с силами, чтобы описать ее, и продолжал:

— Высокая, как молодое деревцо, с глазами, как небо. Не скажу, чтобы она была совершенна, но даже ее несовершенства пленяли меня. Что заставляет нас полюбить?.. Это нам неизвестно и очень таинственно. Эйли

не утратила привычки плотно сжимать губы, когда вспоминала о своем неровном зубе. Вы скажете, что это было тщеславие, но для молодой девушки... да и кто из нас не тщеславен, а? «Старики и девы, юноши и дети!»

Как я сказал, она вернулась в Лондон, в свою маленькую комнату, и по вечерам у нее всегда был готов чай для нас. Не подумайте только, что она была домовита... Есть во мне что-то такое, что мешает мне ценить домовитость... Без сомнения, это отличное качество, и все же...— Он вздохнул.

— Нет,— продолжал он,— Эйли была не такая, потому что она вообще никогда не бывала одна и та же два дня кряду. Я говорил вам, что ее глаза были, как небо,—это можно сказать и обо всем ее облике. В одном она в то время была постоянна: в любви к своему отцу. А я... Я не знал, чего могу ожидать, но мое присутствие, казалось, лишало ее дара речи. Я вдруг замечал, что она подолгу смотрит на меня нахмурившись, а затем, уступая своему нежному сердцу — а более любвеобильного существа на свете не было, это я готов утверждать до самой смерти,—она подходила к отцу и целовала его. Когда я разговаривал с ним, она делала вид, что не замечает нас, но я видел, как лицо ее принимало холодное и упрямое выражение. Я не очень сообразителен, и прошло много времени, прежде чем я понял, что она ревнует отца и хочет владеть им безраздельно. Часто я недоумевал, как она могла быть его дочерью, потому что Дэлтон был олицетворением справедливости и человеком медлительным, а она была подвижна, как птичка. После того, как я заметил ее нелюбовь ко мне, я долгое время отказывался в это поверить. Если человек не хочет во что-то верить, всегда найдутся причины, по которым это что-то будет казаться неправдой. По крайней мере, со мной было так, да надо полагать, и со всеми себялюбивыми людьми.

Я проводил там все вечера, тогда как, если бы я думал только о себе, мне следовало бы держаться подалеже. Но настал день, когда я прозрел.

Это было в одно февральское воскресенье. По воскресеньям они всегда приглашали меня к обеду. Когда я вошел, гостиная была пуста и дверь в комнату Эйли открыта. Я услышал ее голос: «Этот человек! Всегда этот

человек!» С меня было достаточно; я спустился вниз и ходил по городу весь день.

В течение трех недель я воздерживался от визитов к ним. В школу, разумеется, приходил, как обычно, но наверх не поднимался. Не помню, как я это объяснил Дэлтону, да и что бы ему ни говорили, у него всегда было свое собственное объяснение, и он был глубоко убежден в его правильности: очень простодушный был человек.

А теперь я подошел к самым чудесным дням своей жизни. В тот год была ранняя весна. Я уже отказался от своего решения и заглядывал иногда наверх, правда, очень редко, чтобы, как прежде, провести вечер с ними. Однажды я поднялся в гостиную, когда уже смеркалось. День был теплый, окна открыты. В воздухе носилось то ощущение, которое приходит к вам раз в году, весной, где бы вы ни были — в толпе на улице или один в лесу. Такое ощущение... нет, я не в силах описать его.

Эйли была в гостиной. Сэр, если вы этого не испытали, я не могу объяснить вам, что значит быть рядом с женщиной, которую любишь. Облокотившись на подоконник, она смотрела вниз на улицу. Казалось, она высматривала кого-то. Я стоял, затаив дыхание. Она повернула голову и увидела меня. Она как-то странно посмотрела на меня, — казалось, она что-то спрашивает у меня взглядом. Но я не мог произнести ни слова ни за что на свете, я не смел ни говорить, ни думать, ни надеяться. Я был в девятнадцати боях и несколько раз в опасном положении, на волосок от смерти, но никогда не чувствовал себя так, как в тот миг. Я ощущал приближение чего-то и, скованный ужасом, терзался: а вдруг оно не придет!

Он глубоко вздохнул.

— Служанка принесла лампу, и я пришел в себя. Всю ночь я провел без сна и вспоминал, как Эйли посмотрела на меня и как медленно розовели ее щеки.

Прошло три дня, прежде чем я набрался мужества снова пойти туда. И сразу же почувствовал на себе ее взгляд; она играла с бечевкой, но все время украдкой отводила глаза от своих рук, чтобы посмотреть на мое лицо. А потом прошлась по комнате, потрогала все

вещи. Когда отец спросил ее: «Что с тобой, Эйли?» — она посмотрела на него, как ребенок, пойманный на шалости. И тогда я заглянул ей прямо в глаза; она пыталась ответить на мой взгляд, но не могла. Через минуту она вышла из комнаты. Бог знает, какую чепуху я нес: я был слишком счастлив.

И тогда началась наша любовь. Я не могу рассказать вам об этом времени. Дэлтон все чаще и чаще говорил мне: «Что случилось с девочкой? На нее теперь ничем не угодишь». Всю любовь, которую она прежде отдавала отцу, она изливала теперь на меня. Но он был слишком прост и прямодушен, чтобы разобратся в происходящем. Сколько раз я чувствовал себя преступником по отношению к нему! Когда человек счастлив и судьба ему благоприятствует, он становится трусом...

V

— Так вот, сэр,— продолжал он.— Мы поженились в восемнадцатый день ее рождения. Прошло много времени, прежде чем Дэлтон увидел, что мы любим друг друга. И после этого он сказал мне с весьма серьезным видом: «Эйли мне все рассказала, Брюн. Я не дам согласия на это. Она слишком молода, а ты... слишком стар!» Мне тогда было сорок пять, и волосы мои были так же черны и густы, как перья грача, я был силен и подвижен. Я ответил ему: «Мы обвенчаемся через месяц». Мы поссорились. Была майская ночь, и я отправился пешком далеко за город. Против гнева да и вообще против чего угодно нет лучшего лекарства, чем прогулка пешком. Один раз я остановился на каком-то выгоне, кругом не было ни жилища, ни огонька, только звезды сияли, как алмазы. Ходьба меня разгорячила, я чувствовал, как кровь бурлит в жилах. Я говорил себе: «Это я-то стар!» И смеялся, как безумный. Меня мучил страх потерять Эйли. Хотелось думать, что я разгневан, на самом же деле я просто боялся. Страх и гнев у меня мало отличаются друг от друга. Один мой друг, немного поэт, однажды назвал эти два чувства «черными крыльями души». И это так, истинно так!.. Утром я снова пошел к Дэлтону и заставил его уступить. Я не философ, но мне часто думалось, что в этой жизни мы добиваемся для

себя чего-то всегда за счет другого, теряющего столько же, сколько мы обрели. Но служит ли это для нас помехой? Нет, сэр, довольно редко...

Мы обвенчались тридцатого июня тысяча восемьсот семьдесят шестого года в приходской церкви. Присутствовали только Дэлтон, Люси и муж Люси, большой краснолицый человек с голубыми глазами и раздвоенной золотистой бородой. Мы договорились, что медовый месяц проведем в их гостинице, у реки. Моя жена, Дэлтон и я отправились в ресторан завтракать. Она была в сером... в платье голубиного цвета...

Он замолчал, опираясь на свою трость. Наверное, старался как можно лучше припомнить прошлое, свою молодую жену в платье «голубиного цвета», голубоглазую, златоволосую, с морщинкой между бровями и решительно сжатыми алыми устами, которые только что у алтаря произнесли слова: «И в горе, и в радости, и в достатке, и в бедности, и в здравии, и в болезни».

— В то время, сэр,— внезапно заговорил он снова,— я был щеголем. На мне, помню, был синий сюртук, белые брюки и серый цилиндр. Я и сейчас предпочел бы хорошо одеваться...

Мы отлично позавтракали и пили шампанское «Вдову Клико» — вино, которого нынче не достанешь! Дэлтон проводил нас на вокзал. Я не выношу прощаний, но они неизбежны.

В тот вечер мы с Эйли вышли погулять под осинами. Ну, что мне еще вспоминать из всей моей жизни, как не ту ночь? Сопение молодых волов у ворот; розовые цветы дремы вдоль изгородей; полная луна; летучие мыши, снующие среди стеблей; и тени от коттеджей, такие же темные, как море далеко под нами. Мы долго простояли под липой на берегу реки. Запах липового цвета! Да, человек в состоянии вынести не более половины своего счастья и не более половины своего горя...

Люси и ее муж, Фрэнк Тор,— продолжал он через минуту,— человек под стать древним викингам, который не ел ничего, кроме молока, хлеба и плодов, относились к нам очень хорошо. В этой гостинице жилось нам, как в раю, хотя, должен сказать, провианту было мало. У наших окон густо рос шиповник; когда они были открыты и ветерок шевелил ветки, казалось, что купаешь-

ся в аромате. Пока мы там жили, Эйли стала похожа на цыганку — так она загорела. Нельзя было любить ее больше, чем я. Но бывали мгновения, когда у меня замирало сердце, — казалось, она не понимает, как сильно я ее люблю. Однажды, помню, она уговорила меня поехать в лес с ночевкой. Мы целый день плыли вниз по реке, а вечером пристали в камышах под ветвями ивы и развели костер, на котором она могла бы готовить. По правде сказать, вся наша еда уже была приготовлена, но, сами знаете, романтика заключается в том, чтобы разжечь настоящий костер. «Мы не будем притворяться», — говорила она все время. Пока мы ужинали, к нам на полянку пожаловал заяц — большой такой, и до чего же удивленный у него был вид! Эйли назвала его «Высокий заяц». А потом мы сидели у прогоревшего костра и наблюдали за игрой теней, пока Эйли не ушла куда-то одна. Время тянулось очень медленно. Я встал и пошел ее искать. Солнце уже закатилось. Долго я звал ее... Прошло много времени, прежде чем я отыскал ее. Разгоряченная и покрасневшая, с исцарапанным лицом и руками, с распутившимися волосами, она в своем изорванном платье походила на прекрасную лесную фею. Когда человек любит, любой мелочи достаточно, чтобы встревожить его. Мне кажется, Эйли не заметила моего испуга, но, когда мы вернулись в лодку, она обвила руками мою шею и сказала: «Я никогда больше не оставляю тебя одного».

Ночью я проснулся; кричала водяная курочка, и в свете луны мимо окна пролетел зимородок. Как чудесны были река, свет луны, деревья, тонкий, светящийся туман и тишина! Это походило на иной мир — умиротворенный, зачарованный, куда более святой, чем наш. Это было как зримое воплощение тех мыслей, что — увы, столь редко! — приходят к человеку и исчезают, как только он пытается постигнуть их. Колдовство... поэзия... святость...

Он помолчал минуту и продолжал грустно:

— Я посмотрел на Эйли. Во сне, с распущенными волосами и раскрытыми губами, она казалась ребенком, и я подумал: «Покарай меня, боже, если я когда-нибудь причиню ей боль!» Как мог я понять ее, загадку и невинность ее души? Темза была свидетель-

ницей всех радостей и всего темного в моей жизни, моих счастливейших дней и дней отчаяния. И мне приятно вспоминать о ней, потому что, знаете, со временем горькие воспоминания рассеиваются, остаются только хорошие... Но и хорошие воспоминания причиняют нам боль, боль иную — от мысли, что счастье никогда больше не повторится... Однако, — при этих словах он повернулся ко мне, еле заметно улыбаясь, — что толку плакать над пролитым молоком...

По соседству с гостиницей Люси «Роза и Боярышник»... Вы можете представить себе более прелестное название? Я объехал весь свет, но нигде мне не приходилось встречать таких красивых названий, как в английских деревнях. В английской деревне каждая травинка, каждый цветок гордятся собой; они знают, что за ними присмотрят, и все дороги, деревья и домики, кажется, полны уверенности, что они будут существовать вечно... Но я вам собирался рассказать... В полумиле от этой гостиницы стоял тихий старый дом, который мы прозвали «монастырем», хотя это, кажется, была ферма. Мы много дней провели там, без разрешения забираясь в сад. Эйли очень любила ходить по чужой земле без разрешения: если только представлялась возможность сделать крюк, но по чужой земле, она обязательно выбирала этот путь. И свой последний день мы провели в этом саду, лежа в густой траве. Я впервые читал «Чайлд-Гарольда» — чудесная, незабываемая книга! И как раз дошел до того места — боя быков, помните?

«И трижды рог звучит; сигнал уж подан,
Гул все растет. Все в ожиданье замирает», —

когда Эйли неожиданно сказала: «А вдруг я перестану тебя любить?» Меня как будто ударили по лицу. Я вскочил и пытался заключить ее в объятия, но она ускользнула от меня. Потом отвернулась и тихо засмеялась. Не знаю почему, я тоже засмеялся...

VI

— На следующий день мы вернулись в Лондон. Мы жили совсем рядом со школой, и раз пять в неделю Дэлтон приходил к нам обедать. Он бы приходил каж-

дый день, не будь он человеком, менее всего считающимся со своими желаниями. У нас было больше учеников, чем когда-либо. А в свободное время я обучал жену фехтованию. Мне не доводилось видеть существа столь проворного и гибкого. И как она была хороша в своем костюме для фехтования и вышитых туфельках!

Я был совершенно счастлив. Когда человек удовлетворен, он становится беспечным и самодовольным. Однако я следил за собой, зная, что по натуре я человек себялюбивый. Я работал, не жалея сил, и копил деньги, для того чтобы доставить ей все удовольствия, какие только мог. В то время Эйли больше всего любила верховую езду. Я купил ей лошадь, и весенними и летними вечерами мы ездили с ней вдвоем, но когда стало темнеть рано, она ездила днем одна, очень далеко, иной раз проводила в седле целый день и возвращалась домой такая усталая, что еле-еле взбиралась вверх... Не могу сказать, чтобы мне это нравилось. Это меня тревожило: ведь я знал, какая она отчаянная, но не считал себя вправе вмешиваться в ее дела. Много волнений мне доставляли также дела денежные, потому что, хоть я и зарабатывал больше, чем прежде, денег никогда не хватало. Я стремился накопить побольше... Я, конечно, питал надежду, но ребенка не было, и это тоже причиняло мне беспокойство. Эйли стала еще прекраснее и, мне кажется, была счастлива. Вам никогда не приходило в голову, что все мы живем на краю вулкана? Мне думается, у каждого человека есть какая-то привязанность или интерес, столь сильные, что по сравнению с ними он все остальное ни во что не ставит. Разумеется, человек может прожить всю жизнь, так и не зная этого. Но некоторые... Я не жалуюсь. Что есть, то есть.

Он надвинул фуражку на глаза и крепко сжал обеими руками набалдашник своей трости. Он напоминал человека, направляющего лошадь на непреодолимый барьер и не дающего себе времени на размышление из боязни отступить в последний момент.

— Весной тысяча восемьсот семьдесят восьмого года ко мне пришел новый ученик — молодой человек двадцати одного года, которому была уготована военная карьер-

ера. Он полюбился мне, и я сделал все, что мог, чтобы превратить его в хорошего фехтовальщика. Но он был как-то упрямо безрассуден — несколько минут бывал очень старателен, а затем становился возмутительно небрежен. «Фрэнсис,— говорил я, бывало,— на твоём месте я бы постыдился». «Мистер Брюн,— отвечал он,— а почему я должен стыдиться? Ведь я не сам себя создавал». Бог видит, я хочу быть к нему справедлив... Сердце у него было отзывчивое. Раз он приехал в кэбе и привез свою несчастную умирающую собаку, которая попала под колеса. Целых полчаса провел он в запертой комнате наедине с трупом собаки, и мы слышали, что он рыдал, как ребенок. Он вышел с покрасневшими глазами, крикнул: «Я знаю, где найти этого скота, который ее переехал!» — и убежал. У него были прекрасные глаза итальянца, он был невысокого роста и хрупкого сложения, черноволосый, с темными усиками. Губы у него всегда были приоткрыты, и это вместе с походкой и манерой слегка прикрывать глаза веками создавало ему особенный, мягкий и гордый облик. Я часто говорил ему, что из него никогда не выйдет солдата. «Э! — отвечал он.— Когда время придет, с этим все будет в порядке». Он верил в свою судьбу, которая должна была обо всем для него позаботиться, когда для этого наступит время. Однажды он пришел во время урока Эйли. Тогда в первый раз они увидели друг друга. После этого он приходил чаще и иногда оставался к обеду. Не буду отрицать, сэр, я охотно принимал его; я считал, что это для Эйли развлечение... Ну, разве может быть что-либо ствратительнее такой самодовольной слепоты? Может, люди скажут: «Бедняга, он так верил ей!» Какая тут вера, сэр! Самомнение! Я был глуп... а в этом мире за глупость приходится расплачиваться...

Наступило лето, и раз в субботу, в начале июня, Эйли, я и Фрэнсис — его фамилии я не назову — поехали кататься верхом. Ночью шел дождь, так что пыли не было; скоро выглянуло солнце — славный был денек! Мы катались долго и около семи вечера повернули обратно; ехали медленно, потому что было еще жарко, а мы ждали вечерней прохлады. В девять часов добрались до Ричмондского парка. Ричмондский парк — замечатель-

ное место, а тогда в сумерках он был чудесен, олени двигались так бесшумно, что казались призраками. Мы тоже молчали — большие деревья всегда на меня так действуют...

Кто может сказать, когда именно настанет перемена? Подобно порыву ветра, старое проходит, а новое приходит. И вот я вам сейчас рассказываю о такой перемене. Без какого-либо предупреждения Эйли пустила лошадь в галоп. «Что ты делаешь?» — закричал я. Она оглянулась, улыбаясь, а потом и Фрэнсис также пронесся мимо меня. Их словно что-то ужалило: они перескакивали через поваленные деревья, мчались под низко нависшими сучьями, носились галопом вверх и вниз по холмам. И мне пришлось наблюдать это сумасшествие! Моя лошадь не могла за ними угнаться. Я скакал во весь опор и все же сильно отстал. Я не принадлежу к людям спокойным. Когда я наконец нагнал их, я не мог говорить от бешенства. Они ехали бок о бок, отпустив поводья, и смотрели друг другу в глаза. «Тебе следует быть осторожнее», — сказал я. «Осторожнее! — воскликнула она. — Но жизнь не состоит из одной осторожности». Мой гнев улетучился. Я поотстал и поехал за ней, как грум едет за своей хозяйкой. Ревность! Нет пытки более неотступной и тяжелой... В эти минуты в душе моей поднялся вихрь разных воспоминаний... было ли многое или только чудилось мне, почему я знаю. Душа моя была отравлена. Я пытался убедить себя, что бессмысленно подозревать ее, что это недостойно мужчины. И даже если это правда, человек обязан быть джентльменом! Но я вдруг обнаружил, что смеюсь, да, сэр, смеюсь над этим словом!

Он заговорил быстрее, как будто изливал душу не живому собеседнику, а самой ночи.

— Я не мог заснуть в ту ночь. Лежать рядом с Эйли, когда у меня в мозгу гнездились подобные мысли, было невозможно. Придумав предлог, я просидел всю ночь за какими-то бумагами. Самое тяжелое в жизни — это видеть надвигающуюся опасность и не быть в силах предотвратить ее. Что делать? Вы замечали, как люди неожиданно, без единого слова становятся совершенно чужими? Достаточно одной мысли... На следующий же день Эйли сказала: «Я хочу поехать к Люси».

«Одна?» «Да». К этому моменту я уже решил: пусть поступает так, как считает нужным. Возможно, я действовал неправильно: не знаю, как следует поступать в подобных случаях. Но, прежде чем она уехала, я спросил ее: «Эйли, в чем дело?» «Не знаю», — ответила она. Я ее поцеловал... и это было все. Прошел месяц, я ей писал почти каждый день и получал в ответ коротенькие письма, в которых было очень мало о ней самой. Присутствие Дэлтона было для меня пыткой, ибо я не мог сказать ему правду, а он пребывал в уверенности, что Эйли готовится стать матерью. «Эх, Брюн, — говорил он, — моя бедная жена была точно такая же». Жизнь, сэр, довольно ироническая штука!.. Он — мне трудно называть его по имени — приходил в школу два или три раза в неделю. Мне начинало казаться, что я замечаю в нем перемену: сквозь его безрассудство стала проглядывать сильная воля. Что-то вызывающее было теперь в его манере фехтовать со мной. А я испытывал какую-то радость от сознания своего превосходства — я мог выбить из его руки оружие, как соломинку, в любой момент. Мне было стыдно, и все же я этим гордился. Ревность — низкое чувство, сэр, низкое и ничтожное! Когда он спросил, где моя жена, я сказал ему. Я был слишком горд, чтобы скрывать это. Вскоре после этого он перестал посещать школу.

Однажды утром, когда я уже больше не мог терпеть, я написал ей и предупредил о своем приезде. Я не навязывался, но просил ее встретить меня в саду того старого дома, который мы прозвали монастырем. Я просил ее быть там в четыре часа. Я был всегда твердо убежден в том, что мужчина не должен ничего вымаливать у женщины, ни принуждать ее ни к чему. Женщины щедры — они вам сами дадут, что могут дать. Я запечатал письмо и сам отправил его. И всю дорогу за город я повторял про себя: «Она должна прийти, ну, конечно же, она придет».

VII

— Я был то в самом радужном настроении, то тряса, как в лихорадке. До сада я добрался раньше времени. Ее там не было. Вы знаете, каково это — ожи-

дать? Я замирал и прислушивался; я выбирал место, откуда дальше всего видно; я говорил себе: «Когдамотришь на чайник, он никогда не закипит. Если я не буду высматривать ее на дороге, то она придет». И я ходил взад и вперед, глядя в землю. Как мне было тошно! Сто раз я вытаскивал из кармана часы. Может быть, они спешат? А может быть, часы Эйли отстают? Не могу вам описать и тысячной доли всех моих надежд и страхов. В углу сада был родничок. Я сел около него, вспомнил тот день, когда я здесь был последний раз, и что-то оборвалось у меня внутри. Было пять часов, когда я потерял всякую надежду. Наступает миг, когда радуешься, что надежда умерла; это означает возможность отдохнуть. «С этим кончено,— говорите вы,— теперь я могу действовать». Но что я должен был делать? Я лег ничком на землю; когда человек в горе, единственное средство, которое может ему помочь,— это прижаться к чему-нибудь такому, что неизменно. Я пролежал так два часа и все это время знал, что буду вести себя, как трус. В семь часов я покинул сад и направился к гостинице. Я нарушил слово, но я чувствовал себя счастливым. Я увижу ее, и ничего, ничего не было важнее этого. Тор был в саду, подстригал розы. Он подошел, и я видел, что он не решается посмотреть мне в лицо. «Где моя жена?» — спросил я. Он ответил: «Давайте позовем Люси». Я побежал в дом. Люси встретила меня и подала два письма. Одно из них было мое собственное, нераспечатанное, второе — следующего содержания: «Я ушла от тебя. Ты был добр ко мне, но теперь... это бесполезно. Эйли».

Люси сказала мне, что за день до этого мальчик принес моей жене письмо от какого-то молодого джентльмена, приплывшего в лодке. Передавая письмо, Люси спросила: «Кто он, мисс Эйли? Что скажет мистер Брюн?» Моя жена сердито на нее посмотрела, но ничего не ответила и за весь день ни разу не заговорила. Вечером она ушла, оставив вот эту записку на кровати... Люси плакала навзрыд. Я взял ее за плечи и вывел за калитку — я не мог вынести этого шума. Я сел и пытался собраться с мыслями. Пока я так сидел, пришел Тор с письмом. Оно было написано на бумаге с названием гостиницы, расположенной в двенадцати милях вверх по реке. Напи-

сано в нем было следующее: «Эйли моя. Я готов встретиться с вами, где вам будет угодно».

Ровным до боли голосом он продолжал:

— Когда я прочел эти слова, у меня была только одна мысль: скорее догнать их. Я побежал вниз к реке и выбрал самую легкую лодку. Когда я отчаливал, прибежал Тор. «Вы обронили это письмо,— сказал он.— Две пары рук лучше, чем одна». Он сел в лодку, а я взялся за весла и выгреб на середину реки. Я греб, как сумасшедший, а этот громадный человек сидел, скрестив обнаженные руки, напротив меня, как огромный коричневый бык. Через некоторое время он занял мое место, а я сел за руль. Я видел, как быстро вздымалась и опускалась волосатая грудь Тора, и это давало мне некоторое удовлетворение, ибо означало, что мы приближаемся к цели. Скоро стемнело, луны не было, и я еле-еле мог разглядеть берег. Есть в темноте что-то такое, что заставляет человека уйти в себя. Люди говорят, что в жизни у всякого наступает момент, который определяет его судьбу — будет ли он «спасен» или «потерян» для добра. Это неправда, человек всегда остается самим собой, но, сэр, в минуту душевного страдания человек узнает, какие вещи он может делать, а какие — нет. Он познает себя, вот и все. То же произошло со мной. Все мои мысли, память и чувства были тогда так ясны и сильны. Я хотел убить его. Я хотел убить себя. Но ее — нет! Нас учат, что мы владеем душой и телом наших жен, нас воспитывают в этой вере, но, когда я оказался с этим лицом к лицу, все эти слова потеряли свое значение: эта вера, эти заповеди, они не имели никакого значения для меня — они были... подлые. О да, я хотел найти в них утешение, я хотел уцепиться за них!.. Но не мог. Можно свершить насилие над телом, но разве может человек насиловать душу? Нет, нет... это трусость. Но я хотел... я хотел убить его и принудить ее вернуться ко мне! И вдруг я почувствовал себя так, будто дергаю самую сокровенную струну своей души. Мне показалось, что я вижу бледное, дрожащее лицо Эйли, растоптанное моим каблуком. Говорят, мир наш управляется силой. Может, это и верно... я понимаю, во мне говорила слабость... но я не мог выдержать этого. Наконец я вскочил и заорал: «Поверните лодку назад!»

Тор поглядел на меня, как на сумасшедшего. А я и в самом деле сошел с ума. Я угрожал ему багром, я осыпал его ужаснейшей бранью. «Сэр,— сказал он,— я такой брани ни от кого не терпел». «Так от меня потерпишь! — кричал я.— Поворачивай лодку, идиот, ^и пес!» У меня ужасно вспыльчивый характер, это настоящее проклятье. Тор казался изумленным, даже напуганным. Он сел и повернул лодку обратно. Я упал на сиденье и закрыл лицо руками. Вероятно, взошла луна, но ночь была туманная, я продрог до костей. В этой жизни, сэр, мы не можем преодолеть свои муки... но постепенно боль от ран утихает. Некоторые утверждают, что подобные удары смертельны, но это не так. Время милосердно.

Ранним утром я вернулся в Лондон. У меня начался приступ лихорадки, и я был в бреду. Надо полагать, я бы покончил с собой, если бы не был столь привычен к оружию... Я и оружие — слишком давние друзья и, вероятно, потому... Впрочем, не могу объяснить, в чем тут дело. Прошло много времени, прежде чем я встал на ноги. Дэлтон выходил меня; его большие, густые усы стали совершенно седыми. О ней мы не говорили. К чему? Разумеется, пришлось улаживать вопрос о разводе... Все это было мне невыразимо противно. Я сказал адвокату, что все надо сделать так, как желает Эйли, но этот человек опять и опять приходил ко мне, с его... ну, не хочу его обижать. Я просил его заявить, что беру вину на себя, но он сказал — как сейчас помню его улыбку, — что это невозможно, правда выплывет наружу, пойдут слухи о сговоре... Я не понимаю всех этих вещей и более того — я их не выношу, они... грязны.

Два года спустя, когда я вернулся в Лондон с русско-турецкой войны, я получил от нее письмо. Оно у меня с собой.

Он вытащил из кожаного бумажника пожелтевший лист бумаги, расправил его на ладони и уставился на него долгим взглядом. Несколько минут он молчал.

— Осенью того же года она умерла в родах. Он ее бросил. К счастью для него, его в том же году убили на индийской границе. Если бы она осталась жива, то в июне будущего года ей было бы тридцать два... Не очень большой возраст... Знаю, я чужак. Но спросите док-

торов, и они вам скажут, что человек не может излечиться от тяжелой болезни и остаться прежним. Если вас согнуло, то усилие, необходимое для того, чтобы выпрямиться, обязательно ослабит вас в каком-либо другом месте. Я должен и всегда буду хорошо думать о женщинах. Все, что делают и говорят против них,— все это камни, брошенные в Эйли, в ее труп. А вы бы могли сидеть и слушать это?

Как бы подброшенный своим собственным вопросом, он поднялся и принялся ходить взад и вперед. Наконец вернулся на свое место.

— В этом причина, сэр, моего поведения сегодня днем и сегодня вечером. Вы были так добры, что я захотел... все рассказать вам. У нее осталась дочурка—сейчас она у Люси. Мой друг Дэлтон умер. С деньгами не было бы никаких затруднений, но, к несчастью, он пал жертвой позорного мошенничества. На мою долю выпало улаживать его дела... Он так этого и не узнал, но умер без гроша. Он доверился каким-то прощелыгам; надеялся, что они помогут ему разбогатеть. Как я вскоре выяснил, они его разорили. Невозможно было позволить Люси, этой славной женщине, вваливать такую ношу на свои плечи. Я попытался принять расходы на себя, но, понимаете,— он взял меня за рукав,— мне тоже не повезло. По правде говоря, трудно много сэкономить из ста девяноста фунтов в год. Но основной капитал совершенно не тронут, и я получаю сорок семь фунтов десять шиллингов каждый квартал наличными. Я несколько раз чуть не поддался соблазну поместить деньги туда, где проценты больше, но так и не решился. Во всяком случае, долгов у меня нет. Мне пришлось поставить себе за правило не покупать ничего, за что я не могу расплатиться наличными. Ну вот, я самым настоящим образом замучил вас... но я хотел сказать вам... в случае, если что произойдет со мной...—Казалось, он вдруг перепугался, весь напрягся, покрутил усики и, бормоча: —Ваша необыкновенная доброта! Никогда не забуду! — быстро отвернулся.

Он скрылся. Звук его шагов и стук палки становились все глуше и глуше. Наконец они совсем замерли. Он ушел. Я вдруг поднялся и поспешил вслед за ним. Вскоре я остановился. Что я мог ему сказать?

На следующий день мне необходимо было съездить в Ниццу, и я вернулся только в полночь. Портье мне передал, что заходил Жюль Леферье. На другое утро, когда я еще был в постели, открылась дверь и появился Жюль. Он был очень бледен, и капельки пота стекали по его щекам.

— Жорж! — сказал он. — Старик умер. Ну, ну! Не волнуйся так. Какой у тебя нелепый вид! Мой слуга упаковывает чемоданы. У меня есть еще полчаса до поезда. Показания я пришлю из Италии. Я свое дело сделал — остальным займись ты. И зачем тебе понадобился этот обед? Какой Дон-Кихот! Какой идиот был этот бедняга! У тебя есть сигара? Слушай! Когда ты последовал за ним, я пошел за теми двумя. Это — мое адское любопытство. Ты можешь представить себе бóльшую глупость? Ну и быстро же шагали те двое! Шли и ощупывали свои щеки, как будто он ударил обоих. Это было смешно. Скоро они меня увидели, потому что у них глаза лезли на лоб — понимаешь, щеки их были отмечены перчаткой. — Лицо Жюля стало снова розоветь, он размахивал сигарой и становился все более и более драматичен. — Они подождали меня. «Ага! — сказал один. — Этот господин был с ним. Моего друга зовут барон де ***. Человек, который ударил его, выглядел очень странно; так не будете ли так добры сообщить мне, подобает ли моему другу встретиться с ним?» Каково? Он вел себя оскорбительно! Разве я мог поступиться нашей честью! «Вполне подобает, мосье!» — ответил я. «В таком случае, — сказал он, — пожалуйста, сообщите мне его имя и адрес...» Я не мог вспомнить его имя, а что касается адреса, так я его никогда и не знал!.. Я поразмыслил. «Этого, — сказал я, — я не могу сделать по особым причинам». «Ага! — сказал он. — По причинам, которые не позволят нам драться с ним, я полагаю?» «Напротив, — заявил я, — я передам ему вашу просьбу. Кстати, я слышал, что он лучший стрелок и фехтовальщик во всей Европе. Спокойной ночи!» Ты понимаешь, я хотел, чтобы у них было о чем поразмыслить на сон грядущий... Терпение, мой дорогой, терпение! Я направлялся к тебе, но потом подумал: утро вечера мудре-

нее — времени было сколько хочешь! Однако вчера утром я вышел на Плац, и там он сидел на скамейке. Можешь себе представить, он покраснел, как молодая девушка. «Сэр,— сказал он,— я надеялся встретить вас. Прошлым вечером я был причиной большого беспокойства. Я позволил себе непростительную вольность». — И он вложил мне в руку конверт. Мой друг, что, ты думаешь, в нем лежало? Пара перчаток! Этот твой друг обворожил меня своими добрыми глазами и седыми усиками, своим смирением и своей пылкостью... Бедняга!.. Я сказал ему, что меня просили передать ему вызов. «Если понадобится, используйте меня!» «Вот как,— сказал он.— Весьма признателен за ваше благородное предложение. Дайте мне подумать... так много времени прошло с тех пор, как я дрался на дуэли. Чем скорее все кончится, тем лучше. Вы могли бы устроить все завтра утром? Оружие? Да пускай они выбирают». Как видишь, мой друг, тут не было никакой заминки.

Жюль вынул часы.

— У меня есть еще шестнадцать минут. Твое счастье, что тебя вчера не было, а то не я, а ты был бы тогда секундантом. Я указал место, справа от дороги на Рокбрюн, прямо у железнодорожного переезда, и время — пять тридцать утра. Мы договорились, что я за ним заеду. Отвратительное время! Я не вставал так рано с того раза, когда дрался с Жаком Тирбо в тысяча восемьсот восемьдесят пятом году. В пять часов я нашел его готовым и распивающим чай с ромом. Исключительный человек! Он меня заставил отведать немного... брр! Он был выбрит, облачился в этот старый сюртук. Его большая собака прыгнула в коляску, но он приказал ей выйти, положил ее лапы себе на плечи и прошептал ей на ухо несколько слов по-итальянски. Она вернулась домой, поджав хвост. Мы ехали медленно, чтобы не растревожить его руку. Он был более весел, чем я. Всю дорогу говорил о тебе: какой ты добрый и как хорошо с ним обошелся! «Но вы не говорите ничего о себе! — сказал я.— Разве у вас нет друзей? Вам нечего передать им? Ведь бывают несчастные случаи!» «О,— отвечал он,— никакой опасности нет. Но в случае чего... что же, у меня в кармане письмо». «Ну, а если вы вдруг убьете его?» — сказал я. «Нет, я этого не сделаю,— ответил он лукаво.—

Неужели вы думаете, что я буду стрелять в него? Нет, нет, он слишком молод». «Но я этого не допущу!» — возразил я. «Да, — ответил он, — я ему должен выстрел, но опасность ему не грозит... ни малейшей опасности!» Мы приехали на место, они уже были там. Ты знаешь все эти предварительные процедуры, обмен любезностями... Это дуэлянтство, знаешь, в конце концов — сплошной абсурд. Мы поставили их в двадцати шагах друг от друга. Место там неплохое. Кругом сосны, валуны, а в этот час было прохладно и сумрачно, как в церкви. Я подал ему пистолет. Видел бы ты, как он стоял, поглаживая пальцами ствол пистолета! «Какая прекрасная вещь — хороший пистолет!» — сказал он. «Только дурак или сумасшедший бросает на ветер свою жизнь», — сказал я. «Конечно, — отвечал он. — Конечно, но опасности нет». — И он посмотрел на меня, топорща свои усики.

Так они стояли, спина к спине, дула пистолетов направив в небо. «Раз, — закричал я, — два, три!» Они повернулись, я увидел, как дымок его выстрела вознесся прямо вверх, как молитва. Его пистолет упал. Я подбежал к нему. Он выглядел удивленным, упал мне на руки. Он был мертв. Подбежали эти дураки. «Что это?» — вскрикнул один. Я отвесил ему поклон. «Как видите, вы сделали недурной выстрел. Мой друг стрелял в воздух. Господа, вам лучше завтракать сегодня в Италии».

Мы отнесли его в коляску и покрыли ковром. Те поехали к границе. Я привез его к нему домой. Вот его письмо.

Жюль остановился; по лицу его бежали слезы.

— Он мертв. Я закрыл ему глаза. Послушай, знаешь — как правило, все мы хамы. Но он... он, возможно, был исключением. — И, не говоря больше ни слова, Жюль ушел.

Перед квартирой старика на солнце стоял у пустого экипажа кучер. «Как я мог знать, что он будет драться на дуэли? — взорвался он, увидев меня. — Ведь у него были седые волосы. Я вас призываю в свидетели, что у него были седые волосы. Это очень плохо для меня... Они отберут у меня лицензию! Да! Вот увидите, это плохо кончится для меня!»

Я улизнул от него и пошел наверх. Старик был один

в комнате. Он лежал на кровати, ноги его были прикрыты ковром, как будто он мог почувствовать холод. Глаза были закрыты, но даже в смертном сне лицо сохранило следы слабого удивления. Вытянувшись во весь рост, лежала Фреда и напряженно смотрела на кровать, как всегда, когда он действительно спал. Ставни были полуоткрыты; в комнате еще немного пахло ромом. Долго я стоял, смотря на это лицо: седые усики топорщились даже после смерти... впалые щеки... полное спокойствие во всей фигуре... Он был подобен древнему рыцарю...

Собака нарушила тишину. Она села и, положив лапы на кровать, лизнула его в лицо. Я сошел вниз. Слушать, как она воет, я не мог. А вот его письмо ко мне, написанное острым почерком:

«Дорогой сэр, вам придется прочесть это только в том случае, если меня не будет в живых. Мне стыдно беспокоить вас, человек не должен причинять беспокойства своим ближним, и все же я верю, что вы не сочтете меня назойливым. Если вы согласитесь распорядиться моими вещами, прошу вас мою шпагу, письмо, вложенное в этот конверт, и фотографию, которая стоит на печке, положите в гроб вместе со мной. Завещание и документы находятся между страницами томика Байрона в моем сундуке. Все это должно быть отправлено Люси Тор, адрес там же. Может быть, вы окажете мне честь сохранить на память любую из моих книг, которая может вам понравиться. В «Пути паломника» вы найдете несколько отменных рецептов приготовления кофе по-турецки, итальянских и испанских блюд, а также врачевания ран. Дочь моей домохозяйки говорит по-итальянски, и она хотела бы, я знаю, получить Фреду; бедная собака будет скучать без меня. Мне приходилось читать о том, что в старину вместе с индейскими воинами клали в могилу их лошадей и собак. Фреда бы пошла за мной в могилу — собаки благородные животные! Она ест один раз в день, большую порцию, и ей необходимо много соли. Если у вас, сэр, имеются какие-нибудь животные, помните: все животные нуждаются в соли. Слава богу, у меня нет долгов! В карманах у меня найдете достаточно денег, чтобы обеспечить приличные похороны — хоть опасность погибнуть, по правде гово-

ря, мне не грозит. И мне стыдно утомлять вас различными мелочами, ведь самое меньшее, что человек может сделать,— это не причинять другим хлопот. А все же надо быть наготове. С глубокой благодарностью

Ваш покорный слуга

Роже Брюн».

Все было, как он написал. На печке стояла фотография девушки в возрасте девятнадцати-двадцати лет, старомодно одетой, с волосами, собранными в узел на затылке. Глаза ее смотрели хмуро, губы были плотно сжаты. Лицо было живое, умное и своенравное, но прежде всего молодое.

Жестяной сундук пропах какой-то сухой травкой; как она сюда попала, ведомо было только одному человеку... Там было немного одежды, очень немного, и вся — еще более ветхая, чем та, которую он обычно носил. Кроме томика Байрона и «Пути паломника», я нашел здесь «Квентина Дорварда» Вальтера Скотта, «Гардемарина» Марриэта, карманную библию и толстую, захватанную, страшно нудную книгу об искусстве фортификации, изданную в 1863 году. Несомненно, самой интересной моей находкой был дневник, доведенный вплоть до предыдущего рождества. Это был трогательный документ: расчеты стоимости каждого обеда, решения проявлять умеренность то в том, то в другом, сомнения насчет того, не следует ли бросить курить, и опасения, что Фреде не хватит еды. Из дневника явствовало, что он пытался прожить на девяносто фунтов в год, а остальные сто фунтов пересылать Люси для ребенка. В этой борьбе он постоянно терпел поражение и вынужден был высылать меньшие суммы. Записи в дневнике свидетельствовали о том, что это было его постоянным кошмаром. Последние слова, записанные в день рождества, были такие: «Какой смысл вести эти записи, если они ничего, кроме неудач, не отмечают?»

На похоронах присутствовали дочь домохозяйки и я. В тот же день я пошел в концертный зал, где я впервые с ним заговорил. Когда я вышел, Фреда лежала около входа, глядя в лицо всем выходящим и лениво обнюхивая их ботинки. А поблизости с куском печенья в руке и с озадаченным и огорченным лицом ожидала дочь домохозяйки.

МОЛЧАНИЕ

I

Горный инженер, ехавший в вагоне неапольского экспресса, разбирал бумаги в своем портфеле. Яркий солнечный свет подчеркивал мелкие морщинки на загорелом лице и давно не стриженную бородку. Из его пальцев выскользнула газетная вырезка. Подняв ее, он подумал: «Как она здесь оказалась?» Это была заметка из колониальной газеты трехлетней давности; он долго смотрел на нее остановившимся взглядом, словно за этим ненужным клочком пожелтевшей бумаги вставляли видения прошлого.

Вот что он прочитал: «Мы надеемся, что препятствующие прогрессу цивилизации упадок в торговле и задержка в развитии столь перспективного центра нашей колонии — явление временное, и Лондон снова придет нам на помощь. Ведь не может быть, чтобы там, где так повезло одному, другие потерпели неудачу? Мы убеждены, что нужно только...»

И заключительные слова: «Ибо невыразимо грустно видеть, как лес все глубже укрывает своей тенью покинутые жилища, словно символизируя наше поражение, и встречать молчание там, где когда-то слышался веселый гул человеческих голосов...»

Как-то днем, тринадцать лет назад, будучи в Лондоне, инженер Скорриер зашел в одно из тех учреждений, где собираются горные инженеры, словно чайки на излюбленном ими утесе перед тем, как сняться и лететь дальше.

Клерк сказал ему:

— Мистер Скорриер, вас спрашивают внизу, там мистер Хеммингс из Новой Угольной компании.

Скорриер снял телефонную трубку.

— Это вы, мистер Скорриер? Надеюсь, вы в добром здравьи? Говорит Хеммингс. Я сейчас поднимусь к вам.

Через две минуты секретарь Новой Угольной компании, Кристофер Хеммингс, появился в дверях. В Сити его за глаза называли «выскачка Хеммингс». Он крепко пожал Скорриеру руку, почтительно, но с достоинством. Все в его подчеркнута эффектной, полной важности фигуре, даже форма бородки стального цвета, было безупречно. И острый, настойчивый взгляд как бы приглашал в этом убедиться.

Он стоял, расставив ноги и подобрав фалды сюртука, настоящий «столп» Сити; казалось, на кончике его носа утвердился целый земной шар финансовых дел и забот. «Посмотрите на меня,— говорил весь его вид,— это нелегкий груз, но как свободно я несу его! Уж я-то не уроню его, сэр, можете на меня положиться!»

— Надеюсь, вы здоровы, мистер Скорриер,— начал он.— Я приехал по поводу нашей шахты. Речь идет о разработке нового месторождения, но, между нами, приступим мы к ней не раньше, чем в этом возникнет необходимость. Мне трудно убедить мое правление отнестись к этому с должным вниманием. Короче, вопрос вот в чем: согласны вы поехать туда от нашей Компании и представить отчет о положении дел? Поездка будет оплачена должным образом.— Он прикрыл левый глаз.— Дела там обстоят очень... гм... неважно. Мы намерены сменить управляющего. Я договорился с маленьким Пиппином, Вы знаете маленького Пиппина?

Скорриер пробормотал с некоторым неудовольствием:

— Да, конечно. Только ведь он не работал на шахтах.

Хеммингс ответил:

— Мы полагаем, что он нам подойдет.

«Вот как,— подумал Скорриер.— Что ж, очень приятно».

В Скорриере все еще было живо преклонение перед Пиппином, «королем» Пиппином, как его называли, когда они вместе учились в камборнской средней школе. Пиппин был тогда румяный и светловолосый мальчик,

с неуловимым выражением умных светлых глаз, широкоплечий, слегка сутулый, имевший привычку как-то поптичьи вертеть головой; этот мальчик всегда и во всем был первым и, казалось, высматривал, где еще можно применить свою энергию. Скорриер вспомнил, как однажды «король» Пиппин сказал ему ласково: «Давай, Скорри, я решу за тебя задачку»,—и на неуверенное: «А это ничего?»—ответил: «Конечно. Я не хочу, чтобы ты отставал от этой скотины Блейка, он ведь не корнуэлец». («Скотина» Блейк был ирландец, двенадцати лет от роду.) Он вспомнил также случай, когда «король» Пиппин и два его товарища затеяли драку с шестью уличными мальчишками и получили хорошую трепку. Пиппин потом сидел добрые полчаса, весь в крови, сжав голову руками, раскачиваясь взад и вперед и плача от унижения. А на следующий день он убежал из класса и один напал на тех же мальчишек, и его снова зверски избили.

Вспомнив все это, Скорриер спросил только:

— Когда мне ехать?

В ответ Хеммингс воскликнул с неожиданной живостью:

— Молодчина! Я дам инструкции. Всего хорошего.

Бросив на Скорриера острый взгляд, он вышел. Скорриер остался сидеть с тяжелым ощущением какой-то смутной униженности и подавленности. В голове у него был туман, как после стакана крепкого портвейна.

Через неделю он и Пиппин были уже на борту пассажирского парохода.

«Королем» Пиппину, которого он помнил мальчиком, было теперь сорок четыре года. Он возбудил в Скорриере то неясное любопытство, с каким мы оглядываемся на наши школьные годы; и, прогуливаясь по палубам парохода, медленно кренившегося с боку на бок в такт плавной океанской волне, он украдкой посматривал на своего спутника, словно пытаясь разгадать, что же он представляет собой теперь. Волосы у Пиппина были по-прежнему мягкие и светлые, но в бородке уже резко выделялись белые нити; у него был тот же свежий цвет лица и тот же мягкий голос, а морщинки на его лице, казалось, говорили о добродушно-ироническом расположении к людям. Он сразу же и, очевидно, без предва-

рительных переговоров, занял место за капитанским столом. На другой день сюда пересадили и Скорриера, и он вынужден был, как он мрачно констатировал, «сидеть в обществе высоких особ».

За время этого путешествия в память Скорриера врезался только один встревоживший его эпизод. На баке, как всегда, устроилась кучка эмигрантов. Однажды вечером он наблюдал за ними, перегнувшись через перила, как вдруг кто-то коснулся его плеча. Он оглянулся и в неверном свете фонаря увидел лицо Пиппина. «Несчастные люди»,— сказал он. Скорриеру внезапно пришло в голову, что он сейчас подобен натянутой струне чуткого инструмента. «Что, если эта струна вдруг оборвется?»— подумал он. Повинуясь потребности проверить свое ощущение, он воскликнул: «Ну и нервы у тебя! Как ты смотришь на этих бедняг!»

Пиппин отвел его от перил.

«Ну, ну, ты захватил меня врасплох,— пробормотал он с мягкой, лукавой улыбкой.— Это нечестно».

Скорриер не переставал удивляться тому, что Пиппин в его годы мог отказаться от спокойного лондонского существования среди друзей и знакомых, чтобы начать новую жизнь в новой стране с сомнительной перспективой успеха. «О нем говорят, что ему всегда во всем везет,— подумал он.— Вот он и надеется, что ему будет везти и впредь. Он истый корнуэлец».

Утро их прибытия на шахты было серым и безрадостным. Лес окутывало облако дыма, прибитое к земле морозящим дождем. Угрюмо глядели деревянные домишки, беспорядочно разбросанные вдоль грязного подобия улицы на фоне бесконечного безмолвного леса. Во всем чувствовалась полная безнадежность; бездействующие крапы торчали над пустыми вагонетками; длинная пристань сочилась черной грязью; под дождем с безучастными лицами стояли шахтеры. Собаки грызлись у самых их ног. По дороге в гостиницу Скорриер и Пиппин не встретили ни одного занятого делом человека, за исключением китайца, начищавшего крышку от судка.

Бывший управляющий, вконец запуганный человек, выложил за завтраком угнетавшие его предчувствия. Оставшись вдвоем, приезжие опечаленно посмотрели друг на друга.

— О боже,— вздохнул Пиппин.— Мы здесь все должны изменить, Скорриер. Нельзя вернуться ни с чем. Победенным я не вернусь. Тебе придется нести меня назад на щите.— И лукаво добавил: — Тяжеловато будет, а? Бедняга!

Затем он долго молчал, шевеля губами, словно что-то подсчитывая, и вдруг со вздохом схватил Скорриера за руку.

— Тебе со мной скучно, да? Как же ты поступишь? Напишешь обо мне в своем отчете: «Новый управляющий — унылый, скучный человек, слова от него не добьешься!» — И он опять погрузился в раздумье, видимо, весь поглощенный новой задачей.

Последнее, что Скорриер услышал от него в этот вечер, было:

— Уж очень тихо здесь. Трудно себе представить, что можно остаться здесь навсегда. Но я чувствую, что останусь. Нельзя поддаваться малодушию.— И, проведя рукой по лбу, как бы сгоняя паутину невеселых мыслей, он торопливо вышел.

Скорриер остался курить на веранде. Дождь перестал, слабо светили редкие звезды. Даже в этом грязном, нищем поселке царил аромат леса, бесконечного леса вокруг. Скорриер вспомнил вдруг картинку из детской книжки волшебных сказок: на ней был изображен маленький бородатый человечек; поднявшись на цыпочки и откинув голову, он замахивался огромным мечом на замок великана. Это было похоже на Пиппина! И внезапно даже Скорриеру, вся жизнь которого была сплошным скитанием по новым местам, показалась невыносимо зловещей близость невидимого в темноте леса, его густой аромат и в гнетущей тишине — тихие звуки, похожие на писк игрушечных зверей; инстинкт самосохранения гнал его прочь от всего этого. Он вспомнил вечер в лоне семьи «выскочки» Хеммингса, где он выслушивал последние наставления, — незыблемое благополучие этой загородной виллы, ее безукоризненный аристократизм; вспомнил высокомерную язвительность миссис Хеммингс, звучные имена крупных подрядчиков и глав различных фирм, даже имя какого-то пэра, подозрительно часто упоминавшееся в разговоре. Вспомнил он и раздражающий деспотизм мистера Хеммингса, проявлявшийся,

когда кто-то из домашних пытался ему противоречить. Все было так устойчиво и благополучно, словно покоилось на якоре, брошенном среди похожих на капустные кочаны роз на ковре в гостиной. Провожая Скорриера из своей резиденции, Хеммингс сказал ему доверительно:

— Маленький Пиппин не прогадает. Мы положим ему хорошее жалованье. Он станет большим человеком, настоящим королем. Ха-ха!

Скорриер выбил из трубки пепел.

«Жалованье! — подумал он, напряженно прислушиваясь к тишине. — Я не остался бы здесь даже за пять тысяч фунтов в год. И все же это прекрасное место». — И с ироническим пафосом повторил: «Чертовски хорошее место!»

Через десять дней, закончив доклад о новой шахте, он стоял на пристани в ожидании парохода, на котором должен был вернуться на родину.

— Желаю успеха, — сказал ему Пиппин. — Передай им, что они могут быть спокойны. И вспоминай иногда обо мне, когда будешь дома, хорошо?

Поднимаясь на палубу, Скорриер в смятении вспоминал его полные слез глаза и судорожное рукопожатие.

II

Только через восемь лет жизнь снова забросила Скорриера в этот безрадостный край, но на сей раз по делам другой угольной компании, чья шахта находилась в тридцати милях от того места, где он был в первый раз. Перед отъездом он все же зашел к Хеммингсу. В окружении своих ящиков с бумагами секретарь имел еще более импозантный вид, чем обычно. Он просто подавлял Скорриера своей светской любезностью. В кресле у камина сидел невысокий человек с седоватой бородкой. В его поднятых бровях словно таилось множество вопросов.

— Вы знакомы с мистером Букером, — сказал Хеммингс, — он ведь член нашего правления. А это мистер Скорриер, он ездил когда-то по делам нашей компании.

Он проговорил все это тоном, указывавшим на необычайную важность сообщаемого. Член правления по-

клонился. Скорриер ответил тем же, а Хеммингс откинулся в кресле, демонстрируя великолепие своего жилета.

— Итак, Скорриер, вы опять едете и на этот раз по делам наших конкурентов? Сэр, я говорю мистеру Скорриеру, что ему придется действовать в интересах нашего противника. Постарайтесь отыскать им шахту похуже нашей.

Маленький член правления спросил отрывисто:

— Знаете, каков наш последний дивиденд? Двадцать процентов. Что вы на это скажете?

Хеммингс шевельнул пальцем, словно осуждая своего коллегу.

— Не скрою от вас,— сказал он,— что между нами и нашим противником существуют трения. Вы хорошо знаете наше положение, даже слишком хорошо, не так ли? Так что нет необходимости объяснять его вам.

В его холодных глазах, устремленных на Скорриера, было льстивое выражение; Скорриер провел рукой по лбу и сказал:

— Конечно.

— Пиппин не сумел найти правильный путь. Между нами говоря, он немножко зазнался. Знаете, как бывает, когда человек его уровня неожиданно получает повышение.

Скорриер поймал себя на том, что думает то же о Хеммингсе, и виновато поднял глаза. Секретарь продолжал:

— И должен сказать, мы получаем от него донесения не так часто, как нам бы хотелось.

Неожиданно для самого себя Скорриер вдруг пробормотал:

— Уж очень тихо там!..

Секретарь улыбнулся.

— Прекрасно сказано! Сэр, мистер Скорриер говорит, что там слишком тихо, ха-ха! Это мне нравится! — Но вдруг в его голосе почувствовалось накипавшее раздражение. Он воскликнул почти с яростью: — Он не должен поддаваться этому, как по-вашему?! Скажите сами, разве я не прав?

Скорриер ничего не ответил и вскоре откланялся. Его попросили дружески намекнуть Пиппину, что правле-

нию желательно чаще получать от него сообщения. Ожидая в тени Королевской биржи, когда можно будет перейти улицу, он думал о Пиппине: «Итак, тебе шума не хватает? Здесь-то его более чем достаточно».

По приезде в колонию он телеграфировал Пиппину, спрашивая, можно ли заехать к нему на несколько дней по дороге в глубь страны, и получил ответ: «Приезжай непременно».

Он приехал через неделю (уже по новой железной дороге) и увидел Пиппина, ожидавшего его в фаэтоне. Все вокруг стало неузнаваемо, словно по мановению волшебной палочки. Вместо троп через лес пролегли прямые мощенные дороги, темнея под ярким солнцем. Деревянные дома были покрыты свежей краской. На сверкающей воде гавани меж зеленых островков стояли на якоре три парохода, вокруг них сустились многочисленные лодки. Тут и там белели паруса маленьких яхт, словно морские птицы, опустившиеся на воду. Пиппин погонял своих длиннохвостых лошадей. Его глаза лучились добротой, он был, видимо, очень рад увидеть Скорриера. В течение двух дней своего пребывания там Скорриер не переставал дивиться переменам. Повсюду сказывалось влияние Пиппина. Деревянные двери и стены его бунгало пропускали все звуки, и Скорриер мог слышать беседы между хозяином дома и людьми самого различного характера и положения. Сначала голоса пришедших звучали сердито, недовольно и решительно; затем бывали слышны стремительные, легкие шаги управляющего по комнате. Потом пауза, тяжелое дыхание, быстрые вопросы, снова голос пришедшего и снова шаги и мягкий, убеждающий голос Пиппина. Через некоторое время посетители выходили из дома. На лицах их было выражение, которое Скорриер скоро изучил: одновременно довольное, озадаченное и растерянное, как бы говорившее: «Меня обработали, это ясно, ну, да там видно будет».

Пиппин много и с грустью расспрашивал, как идет жизнь «дома». Ему хотелось говорить о музыке, о живописи, о театре, знать, как выглядит теперь Лондон, какие появились новые улицы и давно ли Скорриер был в Западных районах. Он говорил, что будущей зимой возьмет отпуск, спрашивал мнения Скорриера, «поладят

ли с ним дома». Потом с тем возбуждением, которое когда-то так встревожило Скорриера, он сказал:

— Ах, не гожусь я теперь для жизни на родине! Здесь человек портится; здесь все так величественно и такая тишина! К чему мне возвращаться, не знаю.

Скорриер подумал о Хеммингсе.

— Там, конечно, нет такой свободы,— пробормотал он.

Пиппин продолжал, словно угадав его мысли:

— Вероятно, наш приятель Хеммингс назвал бы меня дураком. Он ведь выше этих маленьких причуд воображения! Да, здесь тишина. Иногда по вечерам я все готов отдать, чтобы было с кем поговорить, а Хеммингс, я думаю, никогда не пожертвовал бы ничем ради чего бы то ни было. И все-таки я не мог бы теперь встретиться ни с кем из них на родине. Испортился! — И он с усмешкой пробормотал: — Что бы сказали в правлении, если б слышали это?

Скорриер сказал вдруг:

— По правде говоря, они в претензии, что ты им редко пишешь.

Пиппин поднял руку, как бы отталкивая от себя что-то.

— Пусть бы они попробовали пожить здесь! — воскликнул он. — Это то же самое, что жить на действующем вулкане,— нелегко справляться с нашими «противниками» вон там по соседству, с рабочими, с американским соперничеством. Я все же наладил работу, но какой ценой, какой ценой!

— Ну, а писать ты им будешь?

Пиппин ответил только:

— Попытаюсь... попытаюсь.

С недоумением и сочувствием Скорриер видел, что Пиппин говорит искренне. На другой день он отправился в инспекторский объезд и все время, пока находился в лагере «противника», слышал разговоры о Пиппине.

Управляющий, маленький человек с совиным лицом, у которого он остановился, сказал ему:

— Знаете, как прозвали Пиппина в нашей столице? «Король»! Неплохо, а?! Он задал тут встряску всем на побережье. Мне он нравится, он добрый малый, только ужасно нервный. А вот мои люди его совершенно не

выносят. Он управляет всей колонией. Выглядит он тихоней, но всегда добивается своего. Вот это их и раздражает. Кроме того, и дела у него на шахте идут прекрасно. Не могу я этого понять. Может показаться, что человек с его нервами радовался бы спокойной жизни. Так нет, он не может жить в бездействии, он будет драться, если есть хоть один шанс победить. Я не скажу, чтобы ему это нравилось, но, ей-богу, его словно кто заставляет так поступать. Ну, не странно ли? Скажу вам одно: я нисколько не удивлюсь, если он сорвется. И вот еще что,— добавил управляющий мрачно,— он очень рискует, заключая такие крупные контракты. На его месте я не стал бы так рисковать. Стоит рабочим забастовать или случись что, работы почему-либо приостановятся,— и всему конец, помните мои слова, сэр! И все же...— заключил он доверительно,— я хотел бы иметь его влияние на рабочих. В нашей стране без этого нельзя! Это вам не Англия, где за любым поворотом вы найдете новых рабочих. Здесь пользуйся тем, что есть. Ни за какие деньги вы не наймете здесь нового рабочего, вам нужно везти его сюда за несколько сот миль.— И, нахмурившись, он указал рукой на безлюдное пространство, поросшее лесом.

III

Скорриер закончил свой инспекторский объезд и пошел в лес поохотиться. По возвращении его встретил хозяин дома.

— Вот, прочтите,— сказал он, протягивая телеграмму.— Как это ужасно, правда? — На лице его выражалось глубокое сочувствие, смешанное со стыдливым удовлетворением, какое испытывает человек при известии о несчастье, постигшем его соперника.

Телеграмма, посланная накануне, гласила: «Сегодня утром взрыв огромной силы на Новой Угольной. Опасаются множества жертв». Скорриер подумал в смятении: «Надо немедленно ехать к Пиппину, я ему теперь буду нужен».

Он попрощался с хозяином, который крикнул ему вслед:

— Лучше подождали бы парохода! Дорога ужасная!

Скорриер отрицательно покачал головой. Всю ночь, трясясь по неровной лесной дороге, он думал о Пиппине. Все прочие несчастья, связанные с этой трагедией, сейчас его не трогали. Он едва ли помнил о засыпанных людях. Но борьба Пиппина, его борьба один на один со стоглавым чудовищем, глубоко его волновала. Он заснул, и ему приснилось, что Пиппина медленно душит змея. Искраженное мукой доброе лицо его, зажатое между двумя блестящими змеиными кольцами, было настолько ужасающе реально, что Скорриер проснулся. Блился рассвет. Сквозь угольно-черные ветви деревьев сквозило небо. При каждом толчке экипажа фантастический и резкий свет фонарей метался по папоротникам и стволам деревьев, врываясь в холодные глубины леса. С час или более того Скорриер старался уснуть, уйти от давящей угрюмой тишины бесконечной лесной чащи. Затем в ней возникли тихие шелестящие звуки, забрезжил свет — и медленно разлилось утро во всем своем великолепии. Но тепла оно не принесло, и Скорриер плотнее запахнул пальто, словно его уже коснулось дыхание старости.

К полудню он добрался до поселка, где ничто еще не говорило о происшедшем. Скорриер подъехал к шахте. Вращался барабан подъемника, жужжал приводной ремень на верху копра. Все было как всегда.

«Это какая-то ошибка», — подумал Скорриер.

Он остановился у шахтных построек, вышел из экипажа и поднялся к выходу из клетки. Вместо привычного стука вагонеток и угля, падающего на грохот, стояла тишина. Тут он увидел Пиппина, перепачканного с головы до ног. Клеть, быстро и беззвучно поднявшись снизу, остановилась, с лязгом распахнулась дверца. Скорриер наклонился, чтобы лучше видеть. В клетке лежал мертвец; на лице его застыла улыбка.

— Сколько? — спросил Скорриер шепотом.

— Подняли восемьдесят четыре, внизу еще сорок семь, — ответил Пиппин и записал имя погибшего в блокнот. Следующим подняли человека постарше. Его лицо тоже было озарено улыбкой, — казалось, ему дано было вкусить неземную радость. Эти страшные улыбки потрясли Скорриера больше, чем мука и отчаяние, которые ему приходилось видеть на лицах других мертве-

цов. Он спросил старика шахтера, стоявшего рядом, сколько времени Пиппин не уходил домой.

— Тридцать часов. Вчера он был внизу. Мы его почти силой подняли наверх. Он хотел опять идти в шахту, но ребята отказываются его спускать.— Старик вздохнул.— А я жду, когда поднимут моего сынка.

Скорриер тоже ждал. Он не мог оторваться от этих мертвых улыбающихся лиц. Одного за другим поднимали из шахты людей, которые никогда уже не откроют глаз. Скорриера разморило на солнце. Из сонливого состояния его вывел старик шахтер.

— Этот рудничный газ, как ром,— сказал он.— Посмотрите, все они помирают пьяными, надышавшись им.

Следующим подняли главного инженера. Скорриер хорошо его знал, это был один из тех шотландцев, которые не бывают ни детьми, ни стариками, им всю жизнь сорок лет. Он один не улыбался, его лицо, казалось, выражало сожаление, что долг лишил его этой последней радости. Он умер, протестуя, глаза его были широко раскрыты и губы сжаты.

День клонился к вечеру, когда старый шахтер тронул Скорриера за руку и сказал: «Вот он, вот мой сынок!» — и пошел медленно прочь, толкая вагонетку с мертвым телом.

Когда солнце село, смена поднялась из шахты. Дальнейшие розыски были невозможны, пока там не очистится воздух. Скорриер слышал, как один из шахтеров сказал:

— До некоторых нам не добраться, уж очень глубоко их завалило.

Другой ответил:

— С меня и этих хватает!

Они прошли мимо, белки их глаз сверкали на черных от угля лицах.

Пиппин молча вез его домой, нахлестывая лошадей. Когда они свернули на главную улицу, путь им преградила молодая женщина, вынудив Пиппина остановиться. Во взгляде Пиппина, брошенном на Скорриера, читалось предчувствие ожидавшей его муки. Женщина спросила о своем муже. И несколько раз их таким образом останавливали женщины, спрашивая о своих мужьях или сыновьях.

— Вот через что я должен пройти!..— прошептал Пиппин.

После ужина он сказал Скорриеру:

— Ты очень добр, что приехал поддержать меня. Они ко мне хорошо относятся. Но смогу ли я заставить людей снова работать внизу после такого потрясения? Я хотел бы быть одним из тех бедных ребят, что умерли, улыбаясь.

Скорриер чувствовал, что ничем не сможет ему помочь. Пиппин один должен нести это бремя. Выдержит ли он или рухнет под его тяжестью? И он снова и снова убеждал его пойти отдохнуть, но Пиппин только непонятно улыбался ему в ответ.

— Ты не знаешь, как я выносил! — сказал он.

IV

Скорриер спал тяжелым сном и, проснувшись на рассвете, спустился вниз. Пиппин все еще сидел за своим рабочим столом. Перо выпало из его пальцев: он спал. Чернила на бумаге еще не успели просохнуть. Взгляд Скорриера упал на первые слова письма: «Джентльмены, с тех пор как это случилось, я не сомкнул глаз...»

Он вышел на цыпочках, испытывая негодование при мысли, что нет никого, кто встал бы рядом с Пиппином в этой борьбе. Перед его глазами всплыла контора правления в Лондоне. Он представил себе напыщенную важность Хеммингса, его голос, лицо, манеры, как будто говорящие, что он один может спасти положение; увидел всех шестерых членов правления, людей здравомыслящих, ну, и, конечно, гуманных, сидящих за своими чернильницами, похожими на орудийные башни; услышал озабоченность и раздражение в их тоне, когда они спросят, как это могло случиться; их реплики: «Ужасное происшествие!», «Полагаю, Пиппин делает все возможное!», «Телеграфируйте ему, что шахта ни в коем случае не должна простаивать!», «Бедняги!», «Деньги? Конечно, сколько нужно дать?» Он был твердо убежден, что катастрофа ничуть не нарушит их благоразумного спокойствия, с которым они вернутся домой и скушают свою баранью котлетку. Что ж, и в этом есть свой

резон; чем меньше принимать все к сердцу, тем лучше! В Скорриере накопал гнев. Условия борьбы были явно несправедливы: Пиппин — сплошной комок нервов, и нет никого, кто бы пришел к нему на помощь. Но ведь он знал, на что идет. Он хотел один нести за все ответственность. Если он теперь сорвется, все пропало. Прежнее преклонение Скорриера перед Пиппином держалось на ниточке.

«Человек против природы! — подумал Скорриер. — И я на стороне человека!»

Борьба, в которой он не мог ничем помочь, стала частью его души, словно он сам вложил в нее все силы.

На следующий день они снова пришли к клетке. Воздух в шахте почти очистился, но в некоторые места проникнуть было по-прежнему невозможно. К концу дня наверх были подняты все погибшие, кроме четырех. «Эти четверо выйдут отсюда в день страшного суда», — сказал один из шахтеров. Мысль об оставшихся внизу четырех мертвецах преследовала Скорриера. Он находил надписи, в которых люди, обреченные на смерть от удушья, выражали свои чувства. В одной надписи был указан час и стояли слова: «Хочется спать» и имя. В другой — «А. Ф. — все кончено». Когда Скорриер наконец вышел на поверхность, Пиппин все еще стоял в ожидании, держа в руке свой блокнот; и снова они помчались домой с бешеной скоростью.

Два дня спустя, придя к копру, Скорриер увидел, что вокруг пусто, ни живой души, лишь один китаец ворошит палкой мусор. Пиппин уехал на побережье искать нового инженера. Когда он вернулся, у Скорриера не хватило духу сообщить ему, что никто не вышел на работу. Пиппин избавил его от этой необходимости, сказав:

— Не бойся, говори, у тебя плохие новости? Шахтеры забастовали?

Скорриер вздохнул:

— Все до одного.

— Я так и думал. Посмотри! — Пиппин положил перед Скорриером телеграмму.

«Во что бы то ни стало продолжайте работу, иначе крах. Как-нибудь уладьте. Хеммингс».

Задыхаясь от волнения, он добавил:

— Как будто я сам не знаю! «Уладьте»! Как это просто!

— Что теперь делать? — спросил Скорриер.

— Ты же видишь, я получил приказ, — ответил Пиппин с горечью. — И они совершенно правы. Нужно продолжать работу. У нас контракты! Если я теперь сдамся, не жди ни от кого пощады!

На другой день на окраине поселка собрались шахтеры. В свое время Пиппин очистил от леса участок земли, где рабочие проводили свой досуг. Это было гордостью Компании. Теперь здесь должен был решиться вопрос о ее существовании.

На западе небо пересекала гряда облаков, похожая на полосу червонного золота. Тени деревьев, удлиняясь, подбирались к толпе. В вечернем воздухе стоял крепкий и сладкий аромат леса. Шахтеры собрались группами вокруг обгорелых пней, неподвижные и угрюмые. Казалось, они потеряли способность двигаться и разговаривать. Это молчание и неподвижность пугали Скорриера. Он наблюдал, как Пиппин говорит с ними со своего фаэтона. На него были устремлены все эти угрюмые, беспокойные взгляды. Выдержит ли он? Не оборвется ли струна? Это было похоже на поединок. В глазах Пиппина он увидел растерянность, словно Пиппин отчаялся пробить стену этого зловещего молчания. Рабочие больше не смотрели на него.

«Он утратил влияние на них, — подумал Скорриер. — Все пропало».

Стоявший рядом шахтер пробормотал:

— Что-то будет?

Пиппин наклонился вперед, голос его зазвучал громче, слова бичом хлестали по лицам толпы:

— Вы не можете предать меня! Вы думаете, я дам уничтожить все, что сделал для вас? Нет, мы будем самой большой силой в колонии! А вы, чуть что, показываете спину? Вы сборище трусов, ребята!

Каждый, на кого ни смотрел Скорриер, беспокойно двигал руками — один потирал ладони, другой сжимал кулаки, третий делал такое движение, словно ударял ножом в чью-то спину. Бородатый старик корнуэлец, из-под нависших бровей которого хмуро поблескивали гла-

за, пробормотал: «А мне наплевать!» Казалось, Пиппин добивался, чтобы его растерзали. Толпа двинулась вперед, словно готовясь к нападению. Внезапно голос Пиппина упал до шепота:

— Какой позор! Люди, неужто вы все против меня?

Старый шахтер рядом со Скорриером вдруг крикнул:

— Есть тут корнуэльцы, чтобы защитить нашего управляющего?

От толпы отделилась группа рабочих, и тогда, разговаривая и жестикулируя, шахтеры разошлись.

Вечером к Пиппину явилась депутация. Всю ночь не смолкали голоса рабочих и шаги управляющего. Рано утром Пиппин уехал на шахту. Перед ужином депутация появилась снова. И снова в продолжение нескольких часов Скорриер слышал голоса и шаги, пока не заснул. Перед утром его разбудил свет. У его постели стоял Пиппин.

— Завтра люди выходят на работу,—сказал он.—Ну что я тебе говорил? Доставишь меня домой на щите, а?

Через неделю работа на шахте шла полным ходом.

V

Прошло два года, и Скорриер снова услышал о Пиппине. Он получил от Хеммингса записку, в которой тот спрашивал, сможет ли он в следующий четверг приехать на заседание правления. Он пришел задолго до начала. Секретарь принял его и, отвечая на вопрос, сказал:

— Благодарю вас, наши дела идут хорошо. Между нами говоря, дела идут даже прекрасно.

— А как Пиппин?

Секретарь нахмурился.

— Ах, Пиппин! О нем-то мы и хотели с вами поговорить. Пиппин причиняет нам массу хлопот. Вот уже два года он нам ничего не пишет.

Он говорил таким сокрушенным тоном, что Скорриер проникся к нему сочувствием.

— Ни строчки,—сказал Хеммингс,—со дня того самого взрыва,—я помню, вы тогда были там! Это ставит нас в затруднительное положение; я считаю это выпадом лично против меня.

— Но как...—начал было Скорриер.

— Мы получаем одни телеграммы. Он никому не пишет, даже семье. А почему? Скажите мне, почему? До нас доходят кое-какие сведения. Он там стал видным человеком. Ничто в колонии не делается без того, чтобы он не сунул туда свой нос. Он разогнал прежнее правительство, потому что оно не давало разрешения вести дальше нашу железную дорогу,— это показывает, что он не так уж глуп. А кроме того, взгляните на наш баланс!

Оказалось, что правление желает знать мнение Скорриера, стоит ли Хеммингсу самому ехать узнавать, чем объясняется поведение управляющего. В течение последующего разговора Скорриеру пришлось покорно выслушивать нападки на Пиппина за его молчание.

— Но знаете ли, этот взрыв...— проговорил он наконец.— Это было тяжелое испытание.

Мистер Букер набросился на него:

— Вот как — тяжелое испытание! И нам тоже было нелегко. Но это же не оправдание.

Скорриер должен был с ним согласиться.

— Дело есть дело, как вы полагаете?

Скорриер кивнул, оглядывая аккуратно прибранное помещение конторы. Глухой член правления, который не выступал уже несколько месяцев, сказал с неожиданной горячностью:

— Это позор!

Он, очевидно, дал выход давно сдерживаемому раздражению. А чрезвычайно чистенький и благодушный старичок в шляпе, за которым числился единственный грешок — он являлся на заседание со сверточком в коричневой бумаге, перевязанным бечевкой,— пробормотал себе под нос: «Мы должны быть снисходительны»,— и начал рассказывать какой-то случай из своей юности. Секретарь мягко призвал его к порядку. Скорриера попросили высказать свое мнение. Он посмотрел на Хеммингса. «Здесь затронут мой авторитет»— было написано на лице секретаря. Движимый чувством солидарности с Пиппином, Скорриер сказал таким тоном, словно все было заранее решено:

— Что ж, Хеммингс, дайте мне знать, когда поедете, я хотел бы поехать тоже.

Когда он уходил, председатель, Джолион Форсайт

Старший, отвел его в сторону и сказал, неодобрительно поглядывая на Хеммингса:

— Я рад слышать, что вы поедете тоже, мистер Скорриер. Мы должны быть осторожны: Пиппин такой славный малый и так легко ранимый, а наш друг немножко тяжеловат на руку, как вам кажется?

Скорриер действительно поехал с Хеммингсом. Секретарь страдал от морской болезни, и его страдания, полные достоинства, но достаточно шумные, запомнились Скорриеру навсегда. Да и то, как он позже об этом рассказывал, посвящая случайных собеседников в тайны своих переживаний, было поистине интересно.

Пиппин приехал в город, чтобы их сопровождать, он так заботился об их удобствах, словно они были членами королевской фамилии, и выделил специальный поезд, чтобы везти их на шахту.

Он немного пополнел, цвет его лица стал здоровее, но в бородке прибавилось седины, а в голосе чувствовалась, пожалуй, еще большая нервозность. К Хеммингсу он обращался с преувеличенной любезностью. А его лукаво-иронические взгляды были столь же неощутимы для брони секретаря, как струи фонтана для шкуры гиппопотама. Зато Скорриеру Пиппин всячески выражал свое расположение.

Вечером, когда Хеммингс ушел в отведенную ему комнату, Пиппин вскочил с места, как мальчишка, отпущенный с урока.

— Итак, мне собираются дать нагоняй,—сказал он.— Допускаю, что я заслужил его. Но если бы ты знал, если бы ты только знал! Они меня тут прозвали «Королем», говорят, что я управляю колонией. А я не могу справиться с самим собой.— И он воскликнул с неожиданной страстностью, какой Скорриер никогда раньше в нем не замечал: — Зачем они прислали сюда этого человека?! Разве он способен понять, что мне пришлось пережить?

Через минуту он успокоился.

— Ну, хватит! Все это ужасно глупо. Только расстраиваю тебя.— И, посмотрев на Скорриера долгим, ласковым взглядом, он отправил его спать.

Пиппин не давал больше воли своим чувствам, хотя под маской его иронической вежливости, казалось, тлел

огонь. Предчувствие опасности, по-видимому, настораживало Хеммингса, потому что он ни словом не обмолвился о цели своего приезда. Временами здравый смысл склонял Скорриера на сторону Хеммингса — и это всегда случалось в отсутствие секретаря.

«В конце концов,— говорил он себе,— одно письмо в месяц — не такое уж чрезмерное требование. Первый раз слышу что-нибудь подобное. Просто удивительно, как они с этим мирятся. Это показывает, как они ценят Пиппина. Что с ним произошло? Что его так тревожит?»

Он отчасти разгадал причину,— было это в такой момент, когда даже у Хеммингса, по его выражению, «душа ушла в пятки». Они возвращались в экипаже через лес из самых отдаленных опытных шахт Компании. Им предстояло проехать лесом восемь миль. По обе стороны дороги стеной стояли деревья, черные от лесного пожара. Лошадьми правил Пиппин. С лица секретаря, сидевшего рядом, не сходило выражение скрытой тревоги, которую езда Пиппина вызывала почти в каждом. Небо странно потемнело, но меж деревьев, неизвестно откуда, пробивались бледные полосы света. Воздух был неподвижен. Колеса экипажа и копыта лошадей беззвучно погружались в заросли папоротников. Кругом, как иссохшие великаны, поднимались голые, обожженные, изуродованные стволы, меж ними сквозила чернота, черным было небо, черным было безмолвие. Все молчали, и только тяжелое дыхание Пиппина нарушало тишину. Что во всем этом внушало такой ужас? Скорриеру чудилось, что он заживо погребен и никто не придет ему на помощь. Он ощущал себя один на один с природой; ему казалось, что он навсегда лишился надежного удобства человеческого языка и общения. И — ничего не произошло. Они приехали домой и сели обедать.

Во время обеда Скорриеру снова вспомнилась сказка о человеке, замахнувшемся на замок своим мечом. Он вспомнил о ней, когда Пиппин, отвечая на какое-то замечание Хеммингса, взмахнул рукой с зажатым в ней столовым ножом. Его решительно поднятый вверх подбородок, неукротимая энергия, звучавшая в его негромком голосе, яснее, чем когда-либо, раскрыли Скорриеру натуру Пиппина. И эта новая страна, где человек может рассчитывать только на свои силы,— она-то

и была тем сказочным замком! Нет ничего удивительного, что Пиппин не терпит контроля, что он своеволен, что он не хочет писать,— он вышел на бой! И внезапно Скорриер подумал: «Да и не может быть сомнения, что в конце концов природа возьмет верх!»

В тот самый вечер Хеммингс дал волю своему раздражению. Сначала он был необычайно молчалив; Скорриер даже подумал, что он захмелел, таким зловещим и упорным было его молчание. Но вдруг Хеммингс поднялся. Он сказал, что нельзя оставлять почти без всякой информации человека с его положением и его правление (он говорил о правлении так, словно это было его семейство с кучей маленьких детей). Он, мол, вынужден был даже призывать на помощь воображение, когда отвечал на вопросы пайщиков. Это трудно и унижительно: он никогда не слышал, чтобы секретарь Компании основывал свои мнения на догадках. Более того, это оскорбительно! Он поседел на службе у Компании! Мистер Скорриер может подтвердить, что таким положением, как у него, рисковать нельзя, имя Хеммингса в Сити значит немало; он никому не позволит втоптать его в грязь, это следует хорошенько запомнить. Члены правления считают, что Пиппин обходится с ними, как с детьми. Как бы то ни было, глупо предполагать, что он, Хеммингс, позволит обращаться с собой, как с мальчишкой!..

Секретарь замолчал; его взгляд, казалось, бросал вызов стенам.

— Если бы и не было лондонской конторы,— пробормотал Пиппин,— пайщики получали бы ту же самую прибыль.

Хеммингс задохнулся от негодования.

— Послушайте,— сказал он,— это же чудовищно, то, что вы говорите!

— Какую помощь я видел из Лондона, когда впервые приехал сюда? И какую помощь я получал в дальнейшем?

Хеммингс смешался, но тут же обрел прежний апломб и с натянутой усмешкой ответил, что если это так, то он вот уже много лет стоит на голове. Он не может поверить, что такое положение возможно в течение столь долгого времени. Он мог бы кое-что сказать от имени

Компании, но, пожалуй, не стоит. Его сарказм был сокрушителен. Может быть, мистер Пиппин надеется изменить существующие во всем мире законы относительно акционерных обществ? Он только просил бы не начинать с Компании, секретарем которой он, Хеммингс, состоит. Вот мистер Скорриер пытался оправдать мистера Пиппина, но он, Хеммингс, при всем желании оправданий не находит. Он просто их не видит. Этот взрыв...

Пиппина так явно передернуло, что Хеммингс, кажется, испугался, не зашел ли он слишком далеко.

— Мы знаем,— сказал он,— что вам было трудно...

— Трудно! — воскликнул Пиппин.

— Никто не вправе утверждать,— успокоительно продолжал Хеммингс,— что мы были не либеральны. (Пиппин покачал головой.) Мы считаем, что у нас хороший управляющий; скажу больше — прекрасный управляющий. И я предлагаю: будем уважать друг друга. Я не требую ничего невозможного!

Он закончил свою тираду почти шутливым тоном; и, словно по сигналу, все трое разошлись по своим комнатам, не проронив больше ни слова.

На следующий день Пиппин сказал Скорриеру:

— Кажется, я вел себя не так, как надо. Я должен это исправить.— И с горькой иронией добавил: — Они так добры ко мне, считают меня хорошим управляющим. Значит, я должен очень стараться.

Скорриер возразил:

— Никто не сумел бы сделать для них то, что сделал ты.— И, подчиняясь потребности быть откровенным до конца, продолжал: — Но в самом деле, что тебе стоит писать им хоть изредка?

Пиппин быстро взглянул на него.

— И ты тоже? — сказал он.— Должно быть, я действительно дурной человек! — И он отвернулся.

Скорриер чувствовал себя так, словно совершил какое-то злодеяние. Ему было жаль Пиппина и досадно на себя. Ему было жаль себя и досадно на Пиппина. Он искренне желал, чтобы Хеммингс поскорее уехал. Через несколько дней Хеммингс удовлетворил это желание, отплыв на пароходе с высокопарными словами прощания и заверениями в своем расположении.

Пиппин ничем не выказал чувства облегчения, сохра-

няя учтивое молчание, и позже, в ответ на какое-то замечание Скорриера, сказал только:

— Ах, не искушай меня! Не будем говорить о нем за его спиной.

VI

Прошел месяц, а Скорриер все еще гостил у Пиппина. Каждый раз, когда приходила почта, он испытывал странное внутреннее беспокойство. В один из таких дней Пиппин удалился к себе в комнату; а когда Скорриер пришел звать его обедать, то увидел, что он сидит, подперев голову руками, среди целого хаоса изорванной бумаги. Он поднял глаза на Скорриера.

— Я не могу этого делать,— сказал он,— я чувствую себя лицемером; я не могу снова надеть хомут. Почему я должен спрашивать у Компании, когда все уже сделал сам? Если бы это даже было дело первостепенной важности, они ничего не захотели бы знать,— они просто телеграфировали бы мне: «Как-нибудь уладьте».

Скорриер ничего не ответил, подумав про себя: «Что за безумие! Так нервничать из-за каких-то писем!» Приближение дня, когда привозили почту, стало для Пиппина кошмаром. Он жил в лихорадочном возбуждении, как под гипнозом. И когда почта уходила, он держал себя, как приговоренный к смерти преступник, которому объявили, что казнь отложена. И так тянулось два года! С того самого взрыва. Есть от чего сойти с ума.

Однажды, спустя месяц после отъезда Хеммингса, Пиппин рано встал из-за стола; лицо его покраснелось, за обедом он выпил вина.

— На этот раз я не отступлю,— сказал он, проходя мимо Скорриера.

Скорриер слышал, как он что-то писал в соседней комнате, и через некоторое время заглянул туда, чтобы сказать, что идет пройтись. Пиппин дружески кивнул ему.

Стоял прохладный тихий вечер. Гроздь бесчисленных звезд висели над лесом, сплетаясь в яркие иероглифы, и дождем сыпались за темной гаванью в море. Скорриер шел не спеша. словно бремя спало с его души, так зачарован он был таинственной тишиной. На-

конец-то Пиппин стряхнул с себя оцепенение! Послать это письмо означало конец наваждению, реабилитацию здравого смысла. Теперь, когда молчание должно было вот-вот прорваться, Скорриер почувствовал к Пиппину необычайную нежность, уже без прежнего преклонения, а со странным оттенком покровительства. В конце концов Пиппин не был похож на других людей. Несмотря на его лихорадочную, неукротимую энергию, несмотря на иронический склад ума, в нем было что-то женственное. А его нежелание писать, его ненависть к контролю — что ж, все гении имеют свои причуды, а Пиппин был в своем роде гений!

Скорриер оглянулся на город. Весь в огнях, он производил впечатление благоустроенности, — не верилось, что десять лет назад это место было таким, каким он его помнил. До его ушей долетал шум — там пели, играли в азартные игры, смеялись и танцевали. «Настоящий большой город», — подумал он. В этом странном состоянии приподнятости он медленно шел дальше по улице, забыв о том, что он всего лишь стареющий горный инженер, и вид у него несвежий, какой бывает у людей, постоянно находящихся в разъездах, словно они никогда не высыпаются. Он думал о Пиппине, создателе всего этого великолепия.

Он вышел из города, вступил в лес. И сразу же почувствовал себя неуверенно. После веселого шума и запахов города аромат и безмолвие леса необъяснимо угнетали его. И все же он шел и шел вперед, говоря себе, что нужно дать Пиппину время написать письмо. Наконец решив, что Пиппин уже, наверно, кончил, он повернул к дому.

Пиппин действительно кончил. Он лежал головой на столе, свесив руки. Он был мертв! На лице его застыла улыбка, а рядом была пустая бутылочка из-под опия.

Письмо, написанное мелким красивым почерком, лежало перед ним на столе. Это был безупречно составленный отчет, подробный, без помарок, ничего не утаено, ничего не забыто; полный обзор положения дел на шахте. Кончалось письмо словами: «Ваш покорный слуга Ричард Пиппин».

Скорриер взял письмо в руки. Он смутно понимал,

что с этими последними словами оборвалась струна. Пиппин перешел рубеж, и в этот момент исчезло чувство устойчивости, которое одно делает жизнь возможной. Без сомнения, за секунду до смерти Пиппин мог бы обсуждать вопросы биметаллизма или любую другую интеллектуальную проблему, все,— только не тайну собственного сердца; это по каким-то неизвестным причинам было выше его сил. Его смерть была результатом последнего взрыва протеста, единого мига безумия в едином вопросе. На промокательной бумаге Скорриер прочитал слова, написанные поперек отпечатка подписи: «Больше не могу!» Очевидно, написать это письмо стоило Пиппину невероятных усилий, непостижимых для Скорриера. Что это было? Капитуляция? Насилие над своей душой? Торжество несправедливости? Лучше не думать об этом. Пиппин один мог бы дать ответ, но он никогда уже ничего не скажет. Природа, у которой он один на один, без всякой помощи, столько отвоевал, отомстила за себя!

Ночью Скорриер прокрался вниз и, стыдясь своей сентиментальности, отрезал прядь мягких седых волос. «Его дочери будет приятно сохранить это»,—подумал он.

Он дождался похорон Пиппина и с его письмом в кармане уехал в Англию.

Прибыл он в Ливерпуль в четверг утром и оттуда отправился в Лондон, прямо в контору Компании. Шло заседание правления. Человек, назначенный на место Пиппина, давал объяснения. Скорриер столкнулся с ним в дверях. Это был мужчина средних лет, с рыжей бородой и плутоватым лицом, тоже корнуэлец. С тяжелым сердцем Скорриер пожелал ему успеха.

Как человеку, чуждому сентиментальности, испытывающему настоящий ужас перед проявлениями чувств, ему было мучительно неприятно вспоминать свой разговор в конторе. Он не сдержался тогда, о чем искренне теперь сожалел. Председатель, Джолион Форсайт Старший, на этот раз отсутствовал, предвидя, вероятно, что члены правления слишком легко отнесутся к этой смерти. Маленький мистер Букер сидел на его месте. Все поднялись, пожали Скорриеру руку и выразили признательность за то, что он пришел. Скорриер положил письмо Пиппина на стол, и секретарь скорбным голосом про-

читал правлению слова управляющего. Когда он кончил, один из присутствующих сказал:

— Это писал не сумасшедший.

Другой возразил:

— Конечно, сумасшедший; только сумасшедший мог покинуть такой пост.

Скорриер, не выдержав, убежал из комнаты. Он слышал за спиной голос Хеммингса:

— Вы нездоровы, мистер Скорриер? Вы нездоровы, сэр?

Он крикнул в ответ:

— Я совершенно в своем уме, благодарю вас...

Неапольский экспресс шел по городской окраине. Залитый солнцем Везувий не курился. Но в то время как Скорриер смотрел на него, ввысь поднялось легкое облачко дыма, словно последняя строка его воспоминаний.

1900—1901 гг.



ОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИЙ

У старика, который взмахом красного флажка предупреждал людей о том, что здесь работает паровой каток, не было одной руки. Лицо его, темное, с грубой обветренной кожей, заросшее седой щетиной, имело независимое выражение, и весь он, прямой и коренастый, держался с большим достоинством. Светло-серые глаза с узкими зрачками глядели до странности пристально, будто, минуя вас, видели что-то позади. Костюм на нем был поношенный, местами засаленный, но все еще приличный; улыбался старик приятно и не без лукавства, а по голосу в нем можно было угадать человека, любящего поговорить, но вынужденного работать молча, в одиночку: он говорил громко, с расстановкой и шепелявил из-за отсутствия многих зубов.

— А что вы об этом думаете? — спросил он как-то летним утром. — Я вот по своему опыту знаю: для дорожных работ нанимают большей частью людей, которых посылают из прихода, и все это самый никчемный народ. Мотаются по свету — сегодня здесь, завтра там, и ничего с ними не поделаешь — пропащие люди! Редкий из них не запьет, если появится такая возможность, а выражаются-то как, боже милостивый! И, по-моему, винить их за это нельзя, они, кажется, устают от жизни еще до рождения. Нет, не тот пошел народ, не под силу им такие дела, какие от них теперь требуются. Хоть возьми да сунь их головой под этот самый паровой каток — и баста!

Потом старик сказал, понизив голос, будто сообщая что-то важное:

— Я думаю, так оно и есть. Вот такая махина,— он показал на паровой каток,— гоняет их, гоняет, пока до смерти не загоняет. Теперь жизнь пошла такая — что жука раздавили, что человека, все одно. Вы только посмотрите, как живут бедняки — тесно, точно свиньи в хлеву. Ужас! А нравы! О них и говорить не приходится, ведь если люди вынуждены жить, как скоты, где же от них требовать, чтоб они вели себя по-людски? Это ясно, как дважды два — четыре. А у нас толкуют про то, что сам народ будет управлять всем! Люди живут, как свиньи, им приходится есть то, чего и свиньи есть не станут. И они знают, что надеяться на лучшее нечего. Ведь как получается: весь свой век рабочий трудится, а пришла старость — жить не на что. Какие у него могут быть сбережения! Взять хотя бы меня, к примеру. Мне оторвало руку, и деньги, что я отложил на черный день, все ушли на лечение. Эта работа, конечно,— большая удача, но старость не за горами, а старый да немощный разве тут выстоит во всякую погоду? И придется мне голодать или идти в богадельню — печальный конец! А что же делать? Что делать, я спрашиваю? Откуда взять деньги? Говорят, что парламент должен бы находить средства, но я на них не особенно надеюсь: уж слишком долго они раскачиваются. Да им не к спеху. Они не хотят рисковать своим положением, и тем, и другим — как и все люди. Вот и приходится быть осторожным. Это понятно. Значит, перемен ждать нечего; эти господа любят ходить указанными дорожками,— вот как я хожу вслед за этим катком.

Старик замолчал и покосился на приближающийся каток.

— Да, на все нужны деньги. И не только старость страшна без них — есть ведь еще болезни. Когда я лишился руки и лежал в больнице, меня в дрожь бросало при мысли, что я буду делать, выйдя оттуда, а ведь болеют тысячи людей, кто чахоткой, кто из-за плохой крови. Да, сотни и тысячи людей, которым некуда податься, и они живут в постоянном страхе всю свою жизнь.

Он подошел ко мне ближе и зашепелявил больше прежнего:

— А самая ужасная вещь — это страх. Я вот думал: выйду из больницы с обрубком вместо руки и придется пропадать. Но я-то один-одинешенек, а каково, например, чахоточному с большой семьей? Подумать страшно!.. Ох, там кто-то едет, а я с вами тут заболтался!

Старик подошел к барьеру и поднял красный флажок. Подкатило ландо, запряженное парой лошадей; солнце ярко освещало полированные дверцы экипажа, нарядные попоны лошадей, пуговицы кучера и эгретки на шляпах двух дам. Увидев красный флажок, кучер резко свернул влево, и ландо скрылось за углом.

Старик долго смотрел ему вслед, и тишину нарушало лишь похрустывание щебенки под паровым катком. Но вот, оторвавшись от своих размышлений, старик сказал:

— Аристократы! А я, верите ли, не пойму, о чем думают целый день эти люди. Никак не пойму! Может, они совсем и не думают? Кто-нибудь делает за них и это тоже.

Старик опять помолчал, занятый своими мыслями, потом продолжал:

— А ведь если скажешь им это, они, пожалуй, удивятся. Наверно, воображают, что делают очень много. Благотворительные базары устраивают и всякое другое. Люди эти не делают ничего вредного, но и толку от них не жди. При такой жизни, как у них, нужно большую душу иметь, чтобы думать о других.

Вдруг в глазах его засветились искорки.

— Да вот возьмите хотя бы тех проституток, что слоняются ночью по улицам. Что о них думают эти леди в шикарной карете? Для них они просто мразь! Но ведь они ничуть не хуже этих важных дам. Они хотели взять от жизни немного радости, а богатые леди только это и делают. Тут опять все упирается в деньги. У проституток нет денег, а деньги уберегли бы их от того, чтобы идти на панель. И о них надо подумать, не может же так продолжаться вечно.

Старик нахмурился, как будто этот вопрос давно беспокоил его.

— Богатые,— продолжал он,— могут хорошо воспитать своих дочерей и присматривать за ними. Что же, все люди заботятся, как только могут, о своих семьях. Но нельзя забывать и о других, у которых нет денег, надо и к ним относиться по-человечески. Однако беда в том, что деньги, как стена, разделяют людей, я это не раз видел. А вы как думаете? Послушайте, мой отец всю жизнь был рабочим на ферме, получал восемь шиллингов в неделю, а вырастил шестерых детей. До сих пор не пойму, как ему это удалось. Да и в наше время людям живется не лучше, пожалуй, даже хуже. Прогресс, или как он там у вас называется, губит нас. И ведь его не остановишь, он вроде вот этого парового катка, когда его запустишь! Поэтому лучше держаться впереди, подальше от него. Говорят еще, что люди поумнели и добрее стали,— чушь! Поглядите на них в праздник — стошнит! Эти хулиганы не боятся ни бога, ни черта, орут, буйствуют—ну, прямо стая обезьян, хоть выросли не в лесах, а в городе. Да, такова нынешняя жизнь. Я так считаю: высасывает она все из человека. Люди теряют покой, хватаются то за одно, то за другое и живут каждый сам по себе. Вот как человек на дорожных работах укладывает камни и, кроме них, ничего не видит. Наверное, это в крови у людей. Что тут поделаешь? Болтают все о социализме, но мне он не очень-то по душе: по-моему, при нем главное будет то, что каждый будет следить за соседом.

Он помолчал, уставившись в одну точку, будто пытаясь разглядеть что-то вдали.

— Нет,— сказал он затем,— так дело не пойдет! Вот вам пример — наша полиция: назойливее людей не сыщешь. Может, каждый из них в отдельности и хороший человек, но как только он получит хоть какую-нибудь власть над людьми — беда! К тому же у них круговая порука. Сажают людей в тюрьму будто бы для исправления — ерунда! Тюрьма тоже вроде этого парового катка, она убивает все в человеке, люди выходят оттуда живыми трупами. А ведь все делается с добрыми намерениями — так они говорят. Нет, только одному из сотни можно доверить власть над людьми. А посмотрите на работные дома. Не велика радость попасть туда, а почему? Да потому, что там надо жить по указке. Я ни-

чего не имею против правил, если вам их не навязывают. Нет. Добейтесь, чтобы люди сами захотели их соблюдать, тогда будет совсем другое дело. Так я думаю, ну, а другие люди смотрят на это иначе. А вы со мной согласны? Впрочем,—заговорил он снова, не дожидаясь ответа,—я понимаю: правительство может сделать много такого, что, конечно, назвали бы социализмом. Взять хотя бы женщин, которые живут в трущобах. Несчастные, посмотришь — в чем только душа держится, а плодятся, как кролики. Я не виню их, но послушайте! — И, сунув древко флажка в карман, он ухватил своего слушателя за пуговицу.—Я бы все-таки запретил это. Вы считаете, что это уж слишком? Но где же выход? По-моему, иного выхода нет. С другой стороны, если они перестанут рожать, откуда возьмутся бедняки, которые будут работать за гроши? А это кое-кому не понравится. Да, трудный вопрос.

Старик перешел на свистящий шепот:

— Половина детей в этих трущобах рождается от пьяниц, и с этим ничего не поделаешь. Народят ребят, а потом кормят их всякой дрянью. Сколько же у нас детей недокормленных? И где? В такой стране, как Англия. Да ведь дикарям—и тем это было бы непростительно. Я бы издал закон, что государство обязано кормить досыта детей. Я бы постановил, что за каждого голодного ребенка в школе, на улице или еще где-нибудь должны отвечать, как за преступление. Да, я бы начал с этого. Вы скажете, что это сделает родителей попрошайками? Когда начинали вводить это бесплатное обучение, говорили то же самое, а на деле оказалось не так. Страна, которая не может накормить своих детей, недостойна иметь их. И за что такая несправедливость к малышам? Вы скажете, что потребуется уйма денег, миллионы,—ну и что? Гляньте-ка на большие дома вдоль дороги—таких улиц, таких домов с хорошими квартирами в Англии тысячи. И если бы те, кто живет в них, платили всего шесть пенсов дополнительного налога, этих денег хватило бы, чтобы накормить всех голодных детей,—так я слышал. Но они не согласятся, ясно, ничем не захотят поступиться. Сами знаете, люди не любят расставаться со своими денежками. А тогда,

спрашивается, на что нам миллионы хилых детей, из которых вырастут ни к чему не пригодные люди? Это слишком дорого обходится.

Старик прервал свои рассуждения и подал сигнал подъезжавшей телеге. Вернувшись от шлагбаума, он сказал:

— Иные назовут меня социалистом. А вы как думаете? Нет, если хотите знать мое мнение, социалист — он вроде владельца магазина. Входит покупатель и спрашивает: «Сколько стоит это пальто?» «Десять шиллингов», — отвечает хозяин. «А за пять не пойдет?» «Нет, меньше чем за десять не отдам». «За пять я бы взял», — говорит покупатель, и оба они с самого начала знают, что сойдутся на семи с половиной.

И старик добавил, понизив голос, будто сообщая государственную тайну:

— Он не может сразу спросить семь с половиной шиллингов, потому что тогда получит только семь, понимаете? Если хотите получить настоящую цену, запрашивайте больше — такая уж привычка у людей.

Он указал древком флажка на ряд домов у дороги.

— Вон там живут состоятельные люди. Они смотрят на все не так, как я. И это понятно. Им отлично живется в этом мире, так разве они станут думать о чужих бедах? Этим людям с детства внушили, что мир создан для них. Они водятся только с людьми того же сорта. Так же точно и рабочие держатся друг друга. Вот и получаются классы. А посмотрите-ка на этих парней, — и старик указал на рабочих, укладывавших камни, — они любят толковать про улучшение жизни, но когда нужно стоять за общее дело, каждый стоит за себя. Как же иначе? Коли сам о себе не позаботишься, от других этого не жди, каждому это ясно, как день. Говорят, в Англии все равны перед законом, но оглянитесь вокруг, и вы поймете, что это неправда. Закону надо платить так же, как платите за все. Вот где собака зарыта! Один закон для бедных и богатых? Это очень хорошо, но ведь у богатого есть сотня способов заставить судей плясать под свою дудку, а бедный от этого страдает.

Сказав это, старик сделал такое движение, словно хотел поднять обе руки, но рука была только одна.

— Вы так и не сказали мне своего мнения. А мое

мнение такое,—сказал он многозначительным шепотом,—многое нужно исправить, и многое мешает этому. Однако я заметил одну вещь: даже самые пропащие люди всегда гордятся чем-нибудь, хотя бы своими несчастьями. Все-таки есть, должно быть, что-то хорошее в людях, если эта штука их не может окончательно раздавить.—Он указал рукой на приближавшийся каток.

Хрустела щебенка под его тяжестью, и мне подумалось, что с таким же хрустом жизнь перемалывает человеческие кости. Кивнув мне седой головой, старик поднял красный флажок и замер, глядя на подъезжавшую телегу с молоком.

ПРОПАЩИЙ

Была первая октябрьская стужа. У недостроенного дома, перед щитом с надписью «Братья Джолли, строители», стоял человек. Его глаза, казалось, говорили: «Зимой строительство приостановится. Если уже сейчас я без угла и без работы, что будет со мной через два месяца?» Повернувшись ко мне, он сказал:

— Не найдется ли у вас для меня работы, сэр? Я согласен на любую.

Его лица давно не касалась бритва, одежда была сильно потрепана, и легко было усомниться, есть ли человеческое тело под этими отрепьями, настолько он был худ. От него не пахло виски, но чувствовалось, как сильно ему хочется выпить, а в его водянисто-голубых глазах было такое же выражение, как в глазах бездомной собаки.

Мы посмотрели друг на друга, и между нами начался немой разговор.

— Какая у вас профессия? Где работали последний раз? Как дошли до такого состояния? Женаты? Сколько детей? Почему не обращаетесь за помощью куда следует? У вас нет денег, а у меня есть, поэтому я имею право задавать вам эти вопросы.

— Я пропащий человек.

— У меня нет для вас работы. Если вы действительно голодны, я могу вам дать полшиллинга, могу вас направить в благотворительное общество, где займутся вами. Но если вы покажетесь им человеком, которого жизнь окончательно доконала, они вот так и скажут и

предостерегут меня, чтобы я и не пытался вам помочь. Вы этого хотите?

— Пропащий я человек!

— Ну хорошо, но что я могу сделать? Ведь не выдумаю же я для вас работу! Я вас не знаю и не решусь порекомендовать своим знакомым. Если человек попадает в такое положение, то виной тут отчасти его безрассудство. Ах, вы болели? Да, все вы говорите это. Разве нельзя было быть предусмотрительнее и что-нибудь отложить на черный день? Теперь-то вам ясно, что вы должны были так сделать? А вы обращаетесь ко мне! Ко мне обращаются со всех сторон — учреждения, старики, больные; к тому же налоги очень высоки — вы это знаете — и частично по вашей вине.

— Я конченный человек.

— Ах, но добропорядочные, благонравные, практичные люди, те, кто никогда не знал отчаяния и голода, постоянно твердят мне, что я не должен помогать первым встречным. Сами понимаете, это была бы чистейшая сентиментальность с моей стороны, я просто разрешил бы себе непозволительную роскошь. Удивительно, как вы можете просить меня!

— Пропащий я человек!

— Я уже слышал это. Как будто я вас не знаю! Я встречал вас и разговаривал с вами, с десятками таких, как вы. Как-то раз я нашел вас спящим на набережной Темзы. Я дал вам полшиллинга, когда вы шли, еле волоча ноги, после того, как пробежали целую милю за кэбом, не получив ничего. Разве вы не помните, как однажды ночью на Кромвель-Род... Ну, если это были не вы, то точно такой же, как вы, — мы разговаривали под дождем, вы рассказывали историю своей жизни, и ваш голос относилось ветром к наглухо закрытым окнам высоких, крепко запертых домов. Однажды вы жили у меня целых шесть недель, распиливая упавшее дерево в саду. День за днем проводили вы там, и работа ваша шла очень медленно — вы всячески старались продлить ее. Каждое утро вы с благодарностью показывали мне, как все туже становился вам пояс. Держа пилу в руках, вы с робкой улыбкой смотрели на меня, и на лице у вас было написано: «Вы не знаете, какой это отдых для меня — пилить здесь дрова с утра до вечера». И уж, ко-

Нечно, вы должны помнить, как воздерживались от виски, пока я однажды не отлучился, и как на другое утро, еле ворочая языком, оправдывались: «Меня преследуют воспоминания...» Ах, это были не вы? Допустим! Тогда точно такой же, как вы.

— Пропащий я человек.

— Да, да, да! Вы один из тех, кого порождают наши порядки. Вам не к чему было родиться, и уж, во всяком случае, вы должны были позаботиться о том, чтобы родиться в буржуазной среде. Какое право имели вы думать, что выдержите существование рабочего человека, что вынесете его ежедневную, ежечасную борьбу за жизнь,— вы, человек со слабостью? Вы знали или вашим родителям следовало бы знать, что вам не по силам большие испытания. Вы больны, если не физически, то психически. Поэтому я должен вас оправдывать? Если я не такой же, то это скорее всего потому, что жизнь недостаточно сурово обошлась со мной. Должен я себя поэтому оправдывать? Никогда, пока жизнь меня не сломает. Вы сами выбрали себе долю (или, может быть, кто-то ее выбрал за вас), рискнув родиться, а теперь вы жалуетесь на последствия и просите у меня помощи. А я и сам могу когда-нибудь оказаться в нищете — если не материальной, то моральной. Так справедливо ли и логично ли обращаться ко мне?

— Конченный я человек...

— Вы мне действуете на нервы! У вас подбородок безвольного человека. Это заметно, несмотря на бороду; глаза ваши печальны и совсем не похожи на пустые глаза профессиональных нищих; походка шаркающая, отчасти, вероятно, из-за неудобных ботинок; на всем вашем облике печать доброжелательства. Можете вы положить руку на сердце сказать мне, что есть хоть малейший смысл в том, чтобы поставить вас на ноги и снова бросить в ряды борющихся? Можете вы это сказать? Ах! Если бы вы могли утолить голод, надеть личную одежду и найти какую-нибудь работу! Но разве вы не понимаете, что через две-три недели эта работа будет потеряна, одежда заложена и вы запьете! Почему я должен помочь именно вам, «достойных» так много! Вам что-нибудь инкриминируется тоже? О, наверно, ничего особенного, вы не из тех, кто становится пре-

ступниками, иначе вы не попали бы в такое положение. Вы с радостью помогли бы товарищам, но вы не в состоянии помочь даже себе; вам чужда неблагодарность, вы привязались бы к любому, кто отнесся бы к вам сердечно. Но сейчас вы безнадежны, безнадежны, безнадежны!

— Я живу, как бездомный пес.

— А вы знаете, как мы поступаем с бездомными собаками? Слышали когда-нибудь о том месте, где усыпляют собак? Настоящему бродяге, который живет впроголодь, в грязи и лохмотьях, всегда в пути, во всякую погоду, нравится его жизнь. А вам ваше положение не нравится. Вы боитесь дней, когда у вас не будет куска хлеба, боитесь ночей, когда вам негде будет приклонить голову, боитесь пойти на преступление, боитесь даже просить о помощи — уже два раза с тех пор, как мы стоим здесь, вы оглядывались кругом. Если вы знали, что так будете всего бояться, что заставило вас сойти со «стеzi добродетели»? Что-то нашло на вас? Почему вы этого не побороли? Еще и сейчас это на вас находит? Вы устали, вам захотелось чего-то нового, хоть капельку непохожего на прежнее? Всем нам, мой друг, хочется лучшего, мы ищем его и иногда находим. Но мы не можем признать, что люди, подобные вам, тоже имеют на это право. Вы же видите, что из этого получается.

— Пропащий я человек, значит...

— Вы говорите это так, словно считаете, что для богатых и бедных законы разные. Вы ошибаетесь. Если меня и вас привлекут к ответственности за нищенство, мы оба одинаково угодим за решетку. То, что мне нет нужды красть или просить милостыню, то, что я могу себе позволить пить и, когда не хочется, не работать, едва ли имеет значение — поймите это! Не слушайте сентиментальных болтунов: если мы предстанем перед судьей, то оба одинаково понесем наказание. Я, может быть, в такое положение никогда и не попаду, но это уже только случайность. Нет, пожалуйста, не повторяйте этой ужасной фразы! Я хочу вам помочь. Вот, Канада... Но вы там не нужны. Я бы послал вас куда угодно, только бы ваши глаза не преследовали меня, но вы не нужны... Где вы нужны? Назовите это место, и вы туда поедете.

— Я бездомный пес...

— Вы напоминаете мне ту, похожую на тень, бе-

лую в коричневых пятнах собаку, которую я с моим спаньелем подобрали однажды вечером, когда возвращались домой.

«Хозяин,— сказал мой спаньель,— какую забавную дворняжку я встретил там, на дороге».

«Веди себя прилично! Не заводи знакомств с первой попавшейся собакой».

«Хозяин, я знаю — это тощая и грязная дворняжка, но она не отстаёт от меня».

«Следуй за мной! Бедняжка заблудится, если ты уведёшь её далеко от дома».

«О хозяин, самое забавное то, что нет у неё никакого дома».

И, как маленькое привидение, белая собака плелась за нами. Мы хотели прочитать, что написано на её ошейнике, но ошейника не было. Мы привели её домой. Как она ела, как пила! Но мой спаньель сказал мне:

«Хозяин, что толку от того, что мы приютили эту собаку? Разве вы не видите, какая она? Съела все мое мясо, опорожнила мою миску, а теперь спит на моей подстилке».

Я ответил ему:

«Мой милый, ты должен был бы с радостью уступить все этой бедной собаке».

А он сказал:

«Хозяин, я не хочу! Она никуда не годится, эта собака. Я чище и упитаннее её. И разве вы не знаете, что для такого рода собак есть место по ту сторону Темзы? Когда мы её поведем туда?»

Я ответил ему:

«Мой милый, не спрашивай меня. Я не знаю...»

И вы, с вашими грустными глазами, слабовольным подбородком и дрожащими коленями, вы, стоящий перед этим недостроенным домом, с мыслями о надвигающейся зиме, напоминаете ту собаку. А я похож на моего спаньеля, который знает, что есть надлежащее место для таких, как вы.

Что мне делать с вами?

— Пропащий я человек...

ДЕМОС

— Жена она мне все-таки или не жена?

Он взялся за тачку, как бы желая уйти от человека, неспособного понять его точку зрения, прокатил ее два ярда и остановился.

— Что я с ней делаю, это никого не касается, слышите?

Он повернул ко мне свое рыбье лицо, и его тусклые глаза вдруг ожили, засветились злыми желтыми огоньками, будто вырвалось наружу пламя, таившееся в его душе.

— Из нее давно следовало вышибить дух, и я ее прикончу, только попадись она мне.

— Не сходите с ума.

— Слушайте, имеет человек право на свою собственную жену и детей или нет? — Его толстая, отвисшая нижняя губа задрожала. — Ответьте мне.

— Все зависит от вашего поведения. Раз вы ее бьете, нельзя рассчитывать на то, что она станет жить с вами.

— Она получала по заслугам. Ей еще мало попадало.

— Я много раз видел у нее на лице синяки.

— И я опять ей фонарей наставляю, это как пить дать.

— Ну, вот видите, вы же сами говорите.

— Если человек поучит жену, когда малость заложит за воротник, это еще не значит, что она должна удирать из дому да притом забирать с собой ребят. Верно говорю?

— Нет, неверно.

— Ладно, доберусь я до нее...

— Надеюсь, вам это не удастся.

Он вытянул шею, — желтизна его глаз обозначилась резче и стала как будто расползаться по лицу.

— Слушайте, вы! Муж и жена — это муж и жена, и если кто встрянет промеж них, так ему не поздоровится.

— Я сказал вам свое мнение.

— Думаете, я не знаю законов? По закону дети мои, а не жены.

— Не стоит нам это обсуждать.

— Не стоит? По-вашему, раз я не джентльмен, так мне и прав никаких не дано? Я-то, небось, знаю закон. Муж — хозяин над женой и над детьми.

— Вы не станете отрицать, что пьете?

— Вы бы тоже запили от такого житья; думаете, это так весело — день-деньской таскаться с тачкой?

— Вы не отрицаете, что часто били жену?

— Чего вы суετε свой нос в наши с ней дела? Может, вы еще явитесь ко мне домой и начнете командовать, что мне делать?

— Но, полагаю, вам известно, что ваша жена может получить развод, если обратится в суд?

По лицу его скользнула усмешка.

— Развод? Поможет он ей, как же! Вы что думаете, если она разведется, так уйдет из моих рук? Небось, она понимает, что я с ней сделаю, если только она подаст на меня в суд.

— А что же именно сделаете?

— В другой раз ей не захочется разводиться.

— Вас посадят, если вы не оставите ее в покое после развода.

— Посадят? Но ей-то уже не придется выступать на суде.

— Понятно.

— Она знает, что с ней тогда будет.

— Вы ее так запугали, что она боится обратиться в суд, боится и жить с вами под одной крышей. Что же ей остается делать? Только уйти от вас.

— Да на кой черт она мне нужна? Пусть убирается. Мне дети нужны.

— Вы в самом деле в ней не нуждаетесь?

— Никогда я ни за одну бабу не цеплялся.

— Но вы же знаете, что она своим трудом содержала вас всех?

— А я вам говорю: ни в одной бабе я никогда не нуждался.

— Скажите, вы в состоянии содержать детей?

— Кабы подвернулась подходящая работенка...

— Но можете ли вы получить хорошую работу?

— А кто тут виноват: я, что ли?

— Ну, у вас не раз была возможность...

— Кому какое дело! Я всегда был хорошим отцом моим детям. Ради них я работал, ради них попрошайничал и крал! Все соседи скажут, что я был им хорошим отцом.

— Но ведь все же приходу придется взять на себя заботу о них?

— Идите вы с вашим приходом! Пусть денег у меня нет, но зато есть честь, а она дороже денег. Человеку вовсе не нужно иметь полный карман для того, чтобы знать, что хорошо и что плохо.

— Ну, ну, не петушитесь!

— Ведь ребятки — мои, все до единого. По-вашему, это честно — отбирать у отца родных детей? А вы еще ее защищаете.

Взгляд его блуждал, как у раненого животного, и голос охрип, будто к горлу подкатил ком.

— Послушайте! Я к этим детишкам привязан больше, чем можно подумать. Я места себе не найду, пока не узнаю, где они.

— Как я могу вам это сказать, не сообщив, где мать?

— Они мои, по закону мои. Кто вы такой, чтобы нарушать закон?

— Вы уже об этом говорили.

— Когда она выходила за меня, она шла на все — на горе и на радость, так ведь? Мужу и жене самим следует улаживать свои дела. Нечего чужим встравать между ними!

— Вы хотите вернуть ее затем, чтобы делать с ней все, что вам заблагорассудится? И вы надеетесь, что кто-то станет вам в этом содействовать?

— Слушайте! По-вашему, мне все это приятно? Зайдешь в пивную, а там судачат насчет того, что у меня

жена сбежала. Мало у меня и без того неприятностей!

— Вам следовало призадуматься над этим раньше и не доводить ее до ухода.

— Да кто говорит, что я ее довел? Просто воротит от всей той чепухи, что о ней болтают. Она потеряла стыд. По-вашему, мне это приятно?

— Не думаю.

— То-то и оно!

Он бросил тачку и теперь стоял у края мостовой, как бык, готовый ринуться в бой.

— Слушайте, вы! Раз она моя, значит, могу делать с ней, что хочу. Я первый никого не обижаю. Но ежели кто меня обидит, он такое от меня получит, что ему небо с овчинку покажется.

— Да кто вас обижает?

— И не воображайте, что я боюсь полиции. Меня никакая полиция не удержит.

— Ну, а дальше что?

— Все вы слушаете ее одну. Знали бы вы, сколько у меня накипело!..

— Вы бьете жену и просите, чтоб я помог вам ее разыскать.

— Я прошу сказать, где дети.

— Это одно и то же. Да разве вам не ясно, что никакой порядочный человек вам не скажет?

Он схватился рукой за горло и стоял молча, как будто вдруг понял, что мрак вокруг него не рассеется.

— Это какой-то заговор! Ежели они не вернутся, мне жизнь станет неважноту.

— Но что тут можно поделаться?

— Все вы на ее стороне. Дрянная она, раз увела детей из дому и хочет отнять их у родного отца.

— Она же их родила.

— Ну, попадись она мне! Проклянет день, когда сама на свет родилась! Я покажу, кто ей хозяин! Другой раз не забудет. Она моя, и дети мои!

— Ну, я ничем не могу вам помочь.

— Закон за меня. По закону они мои, и я их не уступлю. Она малость соображает и в суд не подаст: ей тогда не жить.

— Будьте здоровы!

Он опять схватился за шею и с силой втиснул каблук башмака в мостовую. Тяжело было видеть, как блуждают его глаза.

— С ума можно сойти! Я места себе не найду, пока не отыщу их. Послушайте! Скажите мне, где они, сэр?

— К сожалению, не могу.

На неподвижном рыбьем его лице тусклые выпученные глаза снова загорелись странным желтым пламенем. Из них словно выглянул дух, обитающий там, куда никогда не проникает свет, дух, правящий темными толпами, которые не знают иной власти, кроме власти силы, не знают, что такое разум и доброта, ибо никогда не встречают их на своем пути. Они знают одно: надо удерживать те крохи, что у них есть, ибо то, чего у них нет, так огромно и желанно; с сотворения мира они живут, перебиваясь случайными подачками судьбы, и, подобно псу, припавшему к земле над вонючей костью, ощериваются на тех, кто может отнять у них их жалкую добычу.

— Я муж ей, и она будет моей, живая или мертвая!

И я понял, что это говорил не человек, слова эти вырвались из самого нутра жестокого зверя, таящегося под поверхностью нашего общества; это говорило само нутро посаженного на цепь чудовища, которого терзает природный инстинкт обладания, а человек ударами кнута отгоняет от вожаемой цели. И за этой фигурой на широкой, пестреющей цветами улице мне мерещилось несметное скопище ей подобных, выползающих из мрака трущоб, задворок и мерзких жилищ бесконечным потоком полузвериной плоти, и лица у всех были скроены на один лад. Эти люди запрудили улицу, и все окрест кишело ими, и в воздухе стоял гул прибывающих новых толп. Люди всех возрастов, в лохмотьях, всех мастей. На каждом лице выражение, говорящее: «Всю жизнь я получал ровно столько, чтобы не издохнуть с голоду, столько и ни куска больше. Что досталось на мою долю, то мое, никому не вырвать его у меня из зубов. Моя жизнь хуже собачьей, ну, и буду поступать, как собака! Я дикий зверь; есть у меня время, возможность, деньги учиться благородству и доброте? Дайте мне жить! Не трогайте доставшихся мне обглоданных костей!»

Вот оно передо мной, великое темное море, которого не окинуть взглядом; призраки безмолвны, губы их сжаты, но глаза горят знакомым желтым пламенем, и я знаю, что если отведу от них взгляд, они кинутся на меня.

— Так, вы, значит, против меня, хозяин?

— Приходится.

— Ну, погоди, ты мне еще попадешься, тогда и деньги тебе не помогут! Ты у меня тогда узнаешь!

Он взялся за тачку и медленным, неровным шагом, не глядя по сторонам, покатиł ее прочь. А за ним по улице с ее садами и красивыми домами двинулись миллионы его собратьев, и, проходя в полном молчании, каждый, казалось, говорил:

— Ну, погоди, ты мне еще попадешься, ты у меня тогда узнаешь!

Улица, освещенная солнцем, снова была пуста; няни катили по ней коляски с младенцами, с кустов сирени облетал цвет, полицейские на углах неторопливо записывали что-то в свои книжечки.

Ничто не напоминало о случившемся.

СТАРОСТЬ

Он выбежал из темноты и сразу же заговорил:

— Пойдите проведите мою бедную мать, сэр. Пойдите проведите моего бедного отца и мать!

Была снежная полночь; при свете уличного фонаря человек, обратившийся ко мне с этой странной просьбой, казался оборванным и ненормальным.

— Они живут на Голд-стрит, дом 22; проведите их, сэр. Миссис Джеймс Уайт. Это моя бедная мать, она умирает с голоду.

— В Англии никто не умирает с голоду.

— Навестите их, истинную правду вам говорю, они старые, а есть им нечего, у них ничего нет.

— Хорошо, пойду.

Он пристально взгляделся в меня, как бы не веря своим ушам, потом вдруг повернулся и побежал по улице. Его фигура снова растаяла во тьме...

На Голд-стрит стоят серые домишки, двери которых всегда открыты, а на улице, в канавах, забитых мусором, играют дети.

— Я хотел бы видеть мистера и миссис Джеймс Уайт.

— Это на втором этаже, в конце коридора. Мистер Уайт, вас спрашивают!

Моя собака обнюхивала стену коридора, которая так непривычно пахла. Вскоре появился старик. Он недоверчиво посмотрел на нас, а мы на него.

— Мистер Джеймс Уайт?

— Да, это я.

— Вчера ночью кто-то, назвавшийся вашим сыном, просил меня посетить вас.

— Прошу вас, войдите, сэр.

Комната, не оклеенная обоями, не больше десяти квадратных футов; здесь стояла двухспальная кровать с грязным матрацем, покрытым бурой тряпкой; в камине не было огня; в кастрюле не было еды; я увидел две чашки, одну-две банки, голый пол, нож, ложку, таз, несколько фотографий, тряпье — все почерневшее, выцветшее.

На деревянном стуле перед камином сидела старуха; морщины избородили ее темное лицо. У нее были седые волосы, маленькие серые глаза, на носу бородавка. Грязный платок, заколотый на груди булавкой, старая юбка и кофта — вот и вся ее одежда. На среднем пальце ее левой руки было толстое золотое кольцо. В комнате стояли только два стула, и один из них старик пододвинул мне, обтерев его рукавом. Моя собака улеглась, прижавшись мордой к полу: вид и запах нищеты раздражали ее.

— Кажется, вам очень не повезло в жизни.

— Очень, сэр.

Он присел на край кровати, и я увидел, что его лицо посерело от постоянного недоедания; седина тронула его редкие волосы и короткую бородку, — это был истстрадавшийся человек, отупевший от нужды и отчаяния.

— Но как вы дошли до такой бедности?

— Да ведь зима и работы нету.

Старуха, сидевшая у камина, прошептала:

— Старик может работать, сэр; еще как может!

— Да, могу; хоть сейчас могу.

— К сожалению, глядя на вас, этого не скажешь!

Его рука сильно дрогнула, и он пытался унять дрожь.

— Холодно у нас, а вообще-то я хорошо себя чувствую.

Старуха зашептала еще доверительнее:

— Старик у меня совсем здоровый, сэр; ей-богу, он может работать. Это он в такую погоду расклеился, потому как не ел ничего.

— Но сколько же вам лет?

— Старику семьдесят один, сэр, и мне столько же. Разница между нами всего в два месяца — так ведь, старик?

— Мне очень жаль говорить вам это, мистер Уайт,

но при теперешней конкуренции много ли у вас шансов получить работу в вашем возрасте? Кто вы по профессии?

— Маляр, сэр, да я на любую работу согласен, все возьму, что дадут. Кое-что мне от мистера Вильямса перепадает, когда дела хорошо идут, но зима...

— Старик может работать, сэр; еще как может!

— Тридцать три года я в одной фирме работал; тридцать три года!

— В какой фирме?

— Тридцать три года, пока не закрылась...

— Но в какой же фирме?..

— Отвечай, когда тебя господин спрашивает. До него не сразу доходит, что ему говорят, сэр.

— Для фирмы Скоттера на Джон-стрит... Тридцать три года. А теперь она закрылась.

— И давно закрылась?

— Три года.

— Как же вы жили с тех пор?

— Перебивались кое-как... Летом иногда работенка перепадала. Перебивались...

— Вы уж не сердитесь на моего старика, сэр. Почему ты им не скажешь? Сами видите, сэр, кое-как перебивались, а теперь вот ничего не осталось.

Она прикрыла рот рукой и зашептала, словно повеоря мне тайну:

— Худо же нам пришлось, сэр, ох, как худо! Право слово, и рассказывать неохота.

И этот почти беззвучный шепот, этот робкий жест, казалось, воскресили все беды, о которых она говорила, и беды эти снова посетили двух стариков в их ужасном уединении за плотно запертыми дверьми.

Воцарилось молчание; глаза моей собаки словно говорили: «Хозяин, мы тут засиделись: едой здесь не пахнет, огня нет!»

— В такую погоду вы, должно быть, очень страдаете от холода?

— А мы почти что не вылезаем из постели, сэр... Чтобы согреться, знаете... чтобы согреться.

Старик, все сидевший на черной кровати-развалине, кивнул.

— Но ведь у вас нет одеяла.

— Все спустили, сэр, все спустили.

— Неужели вы ничего не скопили за тридцать три года?

— У нас семья, сэр, семья; четыре сына да две дочери; а заработок — от силы тридцать шиллингов в неделю. Он всегда отдавал мне получку, сэр, старик всегда отдавал мне получку.

— Я всю жизнь был непьющий.

— Старик и капли в рот не брал, а теперь он стал старый. Но он может работать, сэр, может.

— Но неужели ваши сыновья не помогают вам?

— Один помер, сэр; в горячке помер. А у другого, — она коснулась лба иссохшим пальцем, — не все дома... Он, знаете, не того...

— Это, видимо, тот, которого я встретил вчера ночью?

— Не все дома... Это после военной службы. Малость того... — И она снова коснулась лба.

— А остальные два?

— Они хорошие дети, сэр; но у них самих семьи большие, знаете. Не могут...

— А дочери?

— Одна померла, сэр, а другая замуж вышла, уехала.

— И нет никого, кто бы помог вам?

Старик резко вмешался в разговор:

— Нет, сэр. Никого.

— Он неверно говорит, сэр... Дай я все объясню господину! Правду сказать вам, сэр, мы к этому непривычные; попрошайничать непривычные, вот что; никогда этим самым не занимались: не могли!

Старик снова заговорил:

— Тут Общество нами занималось, вот письмо ихнее. А помощи мы, выходит, не заслужили, потому как у нас ничего не скоплено. А у нас все деньги, почитай, год, как вышли; да и что я скопить мог, с шестерыми-то детьми!

— Старик ничего копить не мог; ему детей кормить надо было, а копить он не мог. Мы попрошайничать непривычные, сэр, ни за что!

— М-да... А вы знаете, что теперь всем будут платить пенсию по старости?

Старик медленно проговорил:

— Что-то слышал, да мы политикой не занимаемся.

— Он никогда по пивным не околачивался, никогда, сэр.

— Но на выборах, конечно, голосуете?

На его губах мелькнула улыбка, и этой улыбкой, в которой не было даже насмешки, он вынес свой приговор столетиям, обрекавшим его на такой конец.

— Никогда я этим не занимался. Я старался от всего такого держаться подальше! — Он снова улыбнулся. — Прежде чем до меня дойдет черед, я помру, это уж точно.

— Но ведь еще и половины зимы не прошло. Что же вы будете делать?

— Ей-богу, сэр, и сам не знаю.

— А вам не кажется, что при таком положении дел вам будет... будет лучше... в инвалидном доме?

Молчание.

— Там ведь, знаете, очень... очень удобно, и...

Молчание.

— И ведь в этом нет никакого... никакого позора или...

Молчание.

— Ну?

Он встал и подошел к камину, а моя собака встревоженно обнюхала его штаны, как бы говоря: «Ты весь поношен, так и отправляйся куда следует, тогда хозяину не придется ходить к тебе и тратить время, предназначенное для меня». Потом она тоже встала и ткнулась мне мордой в колено: «Когда я состарюсь, хозяин, ты все равно будешь обо мне заботиться, мы оба это знаем. А об этом человеке заботиться некому. Пойдем отсюда!»

Наконец старик заговорил:

— Нет, сэр. Я не хочу туда, я работать могу. Я не хочу туда.

Позади него раздался шепот:

— Старик может работать, сэр, может. Пока у нас есть корка хлеба, мы уж лучше тут останемся.

— Вот поглядите, что я получил, но, ей-богу, я не могу. Я еще работать гожусь; всю жизнь работал.

Он вынул листок бумаги. Это был ордер на предо-

ставление Джеймсу Уайту, семидесяти одного года, и Элайзе Уайт, его супруге, семидесяти одного года, коек в местном работном доме; в случае использования в целях нищенства ордер подлежал уничтожению.

— Старик может работать, сэр, может. Будьте уверены, сэр, хлебнули мы тут горя, прежде чем получили эту бумагу. Но мы не хотим. Я все говорю старику, что, мол, лучше уж мне тут помереть.

— Но ведь вам будет там гораздо лучше, миссис Уайт; вы же сами это знаете.

— Так-то оно так, сэр, да ничего не попишешь, я не хочу, и старик мой тоже не хочет.

— Я могу работать; могу тачку возить и всякую другую работу делать.

— А прожить-то сможете?

— Что ж, сэр, живы будем — не помрем. А потом, кто ж его знает, потом, видать, никуда не денешься.

И снова шепот:

— Потом-то уж ничего нельзя будет сделать. Сами изволите видеть, сэр, — уж и сейчас ничего не осталось, ничего.

Она подняла руку и указала на кровать; и луч солнца, прятавшегося все утро, прорвался сквозь тучи и засверкал на ее обручальном кольце.

ОСТОРОЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Все его предки по одной линии со времен нашествия саксов были фермерами и роднились только с фермерами, а все его предки по другой линии со времен норманского завоевания принадлежали к провинциальной знати и роднились только с провинциальной знатью. Он родился там, где кончался город и начиналась деревня, и воспитывался в очень приличной школе, а отец его был судьей.

Он избрал профессию, для которой его и предназначали, но тщательно следил, чтобы она не наложила на него излишнего отпечатка. Ибо даже в те дни, когда его еще катали в колясочке, он во всем предпочитал умеренность. Он так ясно постиг другую сторону катания в колясочке, что с тех пор всегда избегал того, во что потребовалось бы вложить все силы ума и сердца. Впрочем, все его органы были удивительно хорошо сбалансированы. Он не обладал ни излишком мозга, ни излишком сердца. Аппетит у него тоже не был чрезмерным, хотя и вполне достаточным. Когда за обедом его спрашивали, какого десерта ему положить, он неизменно отвечал: «Чуточку и того и другого, пожалуйста»,— ибо больше всего на свете не любил выбирать что-нибудь одно в ущерб другому. Этот инстинкт коренился в таких глубинах его существа, что он даже не подозревал о нем. Именно это неведение и придавало бесхитростную силу характеру, который иначе мог бы показаться нерешительным.

К женщинам он относился настороженно. Излишек жены был бы ему крайне неприятен, но отсутствие жены также не сулило ничего хорошего, однако он нашел выход из этого затруднения, сказав себе: «Мы двое будем состоять в браке ровно настолько, насколько это нам удобно; и будем поступать так, как захотим». И вот, думая так и добившись, чтобы его жена (которая была умной женщиной) сказала, что и она так думает, он хранил ей безукоризненную верность. Вопрос о детях оказался весьма трудным, ибо года через два после бракосочетания выяснилось, что совершенно невозможно в одно и то же время иметь их и не иметь. Столкнувшись с этой дилеммой, он долго размышлял, какой путь избрать, и тщательно взвесил все «за» и «против», но обнаружил в них такое равенство, что не сумел прийти ни к какому выводу. Вследствие чего он обзавелся двумя детьми и без труда решил, что больше ему не нужно.

Кое-какие неприятности доставила ему и проблема местожительства: выбрав город, он лишился бы деревни, а поселившись в деревне, лишился бы города. Посему он жил чуточку там и чуточку тут, так все наладив, что, находясь в Лондоне, желал поскорее уехать, а уехав, хотел поскорее туда вернуться,— и это было весьма полезно для его здоровья.

Умеренный мясной стол породил в нем мечту об иных диетах, сделав его в теории вегетарианцем, так что у него было нечто общее с обеими школами. Порой он пил вино, а порой не пил, и после еды всегда выкуривал сигару — но только одну, потому что после второй ему стало бы дурно.

О деньгах он думал, что их должно быть достаточно, чтобы о них не нужно было думать; и дабы достигнуть этого, он машинально ограничивал свои желания, а главное,— желания своей жены, которая, не обладая столь идеально сбалансированной натурой, когда хотела чего-нибудь, так уж хотела по-настоящему.

В вопросах религии он избегал какого бы то ни было определенного выбора. Если его спрашивали, верит ли он в загробную жизнь, он отвечал: «Я не вижу оснований верить в нее, но, с другой стороны, я не вижу, почему не следует в нее верить. Возможно, что какая-то

загробная жизнь существует, а возможно, что и не существует; а может быть, для одних она есть, а для других нет — чуточку и того и другого, быть может».

Любая догма, разумеется, была ему неприятна: ведь она обрекала человека на нечто определенное, а это было и отвратительно и нелепо.

Только раза два за всю его жизнь у него был серьезный приступ беззаботности — в тех случаях, когда его беззаботности угрожал какой-то человек или событие, пытавшиеся связать его.

Его приводила в ужас мысль, что он может оказаться связанным, и когда его избрали в парламент — после того, как ему исполнилось сорок лет, — он почувствовал естественное беспокойство. Связан ли он теперь чем-нибудь определенным? И если да, то чем? Может ли он по-прежнему поддерживать обе стороны, и если да, то может ли он перестать их поддерживать? И был счастлив, обнаружив, что может.

Просто удивительно, до чего он был плоть от плоти своей страны.

И все же он не вполне сознавал, насколько он важен для государства, не замечал, может быть, какое множество подобных ему людей встречается на любых путях жизни, не замечал, что, собственно говоря, он основа основ национального пудинга.

Было слово, которое он научился писать еще в раннем детстве: оно начиналось с «К», вторая буква была «О», третья — «М», четвертая — «П», пятая — «Р», шестая — «О», седьмая — «М», восьмая — «И», девятая — «С» и десятая тоже «С». Выученное, едва он выкарабкался из колясочки, это слово навеки запечатлелось в его памяти. Он брал его с собой в контору, он брал его с собой в церковь, он брал его с собой в постель, когда ложился спать. А теперь, став общественным деятелем, он взял его с собой в парламент. Однако, питая симпатию и даже благоговейное почтение к Джону Булю — этому мифу, который никогда не поступался своими взглядами и упорно отстаивал свои идеалы вопреки любой опасности войны, — он в тех случаях, когда бывал вынужден действовать, предпочитал говорить, что действует так во имя своих принципов, и это было правдой, ибо главный его принцип сводился к глу-

бочайшему неверию в существование принципов как таковых.

Именно это придавало ему такой вес в политике, ибо, устроившись на самой середине качающейся доски, он первый ощущал ее движение, первый реагировал на него и меньше всех от него страдал. Инстинктивно на самую чуточку перемещаясь то туда, то сюда, он не давал качелям развалиться и в то же время испытывал тайное презрение к двум концам доски, которые то взлетали к небу, то тяжело ударялись о землю. Без него парламент ничего не мог сделать, ибо имя ему было легион, да и с ним делал немногим больше.

Он обладал чувством юмора, которое помогало ему подмечать смешное в чудаках и во всевозможных излишествах. Больше всего его забавляли люди, целиком отдающие себя какому-нибудь делу: порой он сидел — иногда в шляпе, иногда без шляпы — и с тихой улыбочкой дожидался минуты, когда чудака хлопнется оземь, и чем крепче был удар, тем забавнее это ему казалось. Тех же, кто посмеивался над людьми осторожными, он не принимал всерьез — шутники, да к тому же не слишком остроумные, — и досадливо недоумевал, откуда берутся глупцы, избирающие подобных субъектов в Собрание, которое зиждется на осторожности. Впрочем, он не слишком тревожился, будучи уверен, что отсутствие осторожности скоро их погубит.

Афоризмы вроде «среднего пути не существует» порой покоряли его на целых пять минут, но он неизменно успевал вовремя очнуться и обнаружить, что этот путь все-таки существует. По правде говоря, он давно уже твердо уверовал, что может изготовить яичницу, не разбив яйца, и хотя он, несомненно, никаких яичниц не изготовлял, но зато не разбивал и никаких яиц. И точно так же сохранялась в целости его вера в то, что он вот-вот изготовит яичницу. Да в конце концов, что сулит яичница, даже если он ее изготовит? То-то и оно! Съедаешь ее — и тут же надо готовить новую. Гораздо лучше обдумать яичницу, и держать ее в мыслях, хранить ее там неизготовленную. Однако он всегда был рад обсудить рецепт яичницы и, поглядывая на ее компоненты, весьма осторожно их взвешивал — на словах, а порой даже добавлял щепотку-другую укропа, так что яичница,

несомненно, продвигалась, но не излишне быстро. Известно даже, что он иногда проводил в созерцании яичницы целые ночи, но делал это только из опасения, как бы в его отсутствие кто-нибудь не поджарил ее; а на рассвете он отправлялся домой к жене и не без горечи жаловался, что всей этой лихорадочной стряпни в парламенте можно было бы избежать при наличии капельки осторожности.

В целом его нельзя было назвать самостоятельно мыслящим, и все же он не был лакеем в услужении у простых смертных; нет, он служил госпоже куда более благородной — великой богине Конъюнктуре. Однако сказать ему об этом было бы небезопасно: хотя в намеке на то, что он поступает согласно своей натуре, казалось бы, ничего обидного не было, это ему почему-то не нравилось. Несомненно, тут также проявлялась его осторожность.

Почти любой проект социальных преобразований вызывал у него некоторое сочувствие. Если, например, кто-нибудь предлагал ввести пенсии по старости, он осторожно кивал, а потом выжидал, зная, что когда кто-нибудь встанет и объявит эту меру опасной, он согласится с ним. Или, скажем, когда высказывалось мнение, что голодных детей следует кормить за счет государства, он относился к этому плану одобрительно, но не слишком, ибо чувствовал, что излишний энтузиазм может помешать ему одобрить мнение, что кормить их за счет государства не следует. «Чуточку и того и другого», — думал он и благодаря этому мудрому решению, которое нередко именовалось здравым смыслом, он неизменно устраивал так, что голодные дети не получали ни чуточки ни того, ни другого. Однако, как он весьма справедливо замечал, принять первое предложение значило бы показать себя излишне прогрессивным, а принять второе — показать себя ретроградом. И так было с любым другим проектом.

Лидеры и той и другой стороны на опыте давно узнали, как капризна его печень, как чувствительна она к каждому движению, как начинает она бунтовать при каждом толчке, и научились беречь ее и не встряхивать, потому что им, естественно, не нравилось лететь кувырком. Кроме того, они ценили его надежную солид-

ность — без него страна, несомненно, пошла бы по пути прогресса излишне быстро.

И тут его лидеры бросали на него взгляд: веки его были равнодушно опущены, но в глазах таилась легкая тревога, строго поджатые губы все же чуть-чуть улыбались; он сидел в своем пальто, не легком и не тяжелом, которое снимал или надевал, смотря по погоде, и чаще всего хранил молчание. А позади его серой, незаметной фигуры они видели массу серых, незаметных осторожных людей, и у них по спине начинали бегать мурашки.

Сколько раз они, очнувшись от своих грез, видели его перед собой под высокой серой башней с часами, обращенными на все стороны света: скамья за скамьей, ряд за рядом, днем и ночью — один глаз косит в одну сторону, другой в другую, а между ними нос — точно посередине.

СТРАХ

Впервые я увидел его в весенний день, один из тех дней, когда по всему телу разливается блаженная усталость, теплый воздух ласково касается лица, а сердце переполняется странным, неудержимым стремлением познать сердца других людей.

Это был маленький человек с широкими, высоко поднятыми плечами и почти без шеи; в неуклюжей, будто деревянной, квадратной фигурке этого человека в потрепанном костюме из светлой дешевой шерсти и заплатанных желтых ботинках особенно бросалось в глаза то, что у него как будто совсем не было груди. Он был плоский, весь, сверху донизу — от бледного лица под рыжеватыми волосами, от бровей под узкими полями старой соломенной шляпы и до носков ботинок. Такой плоский, словно жизнь его всего обстругала. От лица тоже будто ничего не осталось — только желтовато-бледная кожа да кости; круглые карие глаза были лишены ресниц, бескровные губы сжаты так плотно, словно он смертельно боялся выдать какую-то тайну. Он стоял тихо и почти неподвижно, только скрюченные пальцы, похожие на птичьи когти, нервно скользили вверх и вниз по брюкам да слышалось его хриплое дыхание. И голос у него тоже был тихий и хриплый.

— Да, я был пекарем, — сказал он. — Говорят, что я этим себе и испортил. А только я никогда другому ремеслу не учился; и я боялся, что если эту работу брошу, другой не найду. А работа пекаря — вредная работа...

Он прижал тонкие желтые пальцы к груди, такой узкой, что там даже для них места было мало.

— А у меня жена и дети,— продолжал он просто.— И я за них очень боюсь. Если б я мог перестать думать о том, что с ними будет, я бы, наверное, был здоровее. А только что поделаешь? Сбережения мои все кончились; теперь вот вещи продаю, а когда и вещей не останется... что тогда с нами будет?

Его некрасивое лицо с горько сжатыми губами и глазами без ресниц вдруг задрожало, словно весь страх, что таился в глубине его души, вырвался наружу, исказил черты страшной судорогой отчаяния; но его лицо застыло снова. Только эта неподвижность и могла помочь ему скрывать мучившие его мысли.

— Я не сплю от мыслей от этих... А мне из-за этого еще хуже!

Да. Конечно, от этого ему еще хуже при таком плохом здоровье. Любой доктор предписал бы ему крепкий сон, это было ему совершенно необходимо. Я представил себе, как он лежит ночью на спине, уставившись в темноту воспаленными глазами без ресниц и пытаюсь разглядеть в черном мраке то, чего он не таит в себе,— какой-нибудь просвет, надежду найти пропитание для жены и ребенка.

— Как начну думать, что с ними будет при теперешнем моем состоянии, как начну маяться, так весь потом обливаюсь, совсем это меня вымотало. Вы не погери́те, какой я теперь слабый стал!

И тут я не мог не напомнить ему, что ему не следует волноваться — ведь это очень вредно для его здоровья.

— Да, конечно, я знаю; думаю, что я не долго протяну.

— Если бы вы могли перестать тревожиться, вы гораздо быстрее поправились бы.

Он ответил мне взглядом, в котором была та покорная и неосознанная ирония, которую можно прочесть только на лицах мертвецов, когда выражение удивления, с которым они встретили конец, еще не успело сойти с этих лиц.

— В больнице мне наказывали, чтобы я питался как следует.

При взгляде на этого щуплого человека приходила мысль, что совет не лишен смысла. Да, конечно, хорошая пища и побольше этой хорошей пищи!

— Я, конечно, делаю все, что возможно.— Он сказал это без всякого сарказма и в голосе его звучало: «Да, мир, в котором я живу, конечно, очень смешной мир; и все эти шутки, которые он мне подстраивает, может быть, и отличные шутки, но если я начну смеяться над всем, что он мне подстраивает, то когда же я кончу... Когда, я вас спрашиваю? Когда?»

— Побольше молока. Они говорят, что это для меня самое главное, но ведь дочке тоже его надо как можно больше — все, сколько мы можем купить. В ее возрасте, сами знаете, это необходимо. Эх, если б я мог достать работу!.. Я бы за любую сейчас взялся... К пекарю бы возчиком пошел.

Он поднял костлявые руки и снова опустил их. Бог весть, что он хотел сказать этим жестом,—должно быть, убедить меня, что он еще силен.

— Конечно, бывают дни, когда я и дышу-то едва,—сказал он,—и вот от этой одышки мне еще хуже.

Да, этому легко было поверить. Ободренный моим взглядом, он добавил:

— Слишком долго я своим ремеслом занимался; но вы же знаете: чему ты обучен, того и нужно держаться. Бросить свое ремесло — все равно, что от себя самого отказаться... Да, я теперь понял: такие, каким я теперь стал, людям не нужны.

И добрых полминуты мы молча смотрели друг на друга; его искусанные, бескровные губы раза два дрогнули, а белые, как бумага, щеки слегка порозовели.

— Похоже, что там, в больнице, они моей болезнью больше не интересуются; они, видно, думают, что дело мое безнадежно.

Он произнес эти простые слова каким-то почти обиженным тоном, не сознавая, что обнажил в них черту, глубоко скрытую в глубинах человеческой натуры, вскрыл пристрастие людей к удачникам, поклонение идола силы и презрение к слабым. Выздоровление, по видимому, невозможно, а людям не нужны такие, каким он стал теперь; но он-то еще не утратил интереса к собственной судьбе, все еще не желал признавать себя

пчелой, выброшенной из улья. Его глаза без ресниц, казалось, говорили: «Я все-таки верю, что могу поправиться... Я еще верю».

Впрочем, он не предъявлял ни к кому никаких претензий. Он сказал:

— Когда я в первый раз туда пришел, они очень мной интересовались... Но это было год назад. Разочаровал я их, наверно.

Да, вероятно, так оно и было.

— Мне все говорят, чтобы я побольше дышал свежим воздухом. Там, где я живу, его, конечно, не больно много, но я стараюсь. Работы все равно найти не могу, так вот сижу тут, в парке. Дочку с собой беру... Но мне сказали, чтоб дома-то я ее к себе не подпускал слишком близко.

Я представил себе, как он празднично сидит в парке, украдкой потирая руки, чтоб они не мокли так сильно, и следит глазами за другими отдыхающими, слишком занятый своими заботами, чтобы задуматься над тем, отчего его отдых не похож на отдых этих людей.

— Дни стоят теплые,— промолвил он.— А только не радуют они меня, потому что я думаю все время, что же будет.

Взгляд его блуждал по грушевым деревьям в саду — они стояли в цвету, освещенные солнцем; он с какой-то поспешностью отвел от них взгляд. Дрозд запел где-то за дальней оградой. Бывший пекарь провел языком по губам.

— Я ведь родом из деревни,— сказал он.— А тут как в деревне. Если бы я мог в деревне работу достать, я бы, наверно, поправился. В последний раз, когда я в деревне был, я прибавил в весе целых три килограмма. Да кто меня возьмет?

И снова он вскинул свои руки-тростиночки; на этот раз уже наверняка не для того, чтобы продемонстрировать свою силу. «Нет, что вы,— казалось, хотел он сказать.— Нет, никто меня не возьмет! Я уже убедился в этом — во всем убедился, все понял. Со мной кончено!»

— Вот такие-то дела,— сказал он,— мне бы все ни-почем, да вот ребенок и жена. Ума не приложу, что еще можно было сделать, кроме того, что я сделал. Видит

бог, я держался, пока уж никакой возможности не стало.

И, словно поняв, что он подошел к тому пределу, когда сотни раз наедине с собой, без свидетелей, впадал в отчаяние, он сурово уставился на меня, и рыжие усы его топорщились над тонкими, запавшими губами.

Пролетел голубь; усевшись на дереве в соседнем саду, он стал звать оттуда свою подружку. И мне вдруг вспомнилось, как несколько месяцев назад на садовую клумбу, возле которой мы стояли, залетел дрозд и весь день скрывался и прыгал там, прячась от других птиц; перья его топорщились, и он терял их. Вспомнил я, как мы подобрали его: его глаза уже затягивала пленка, и слабо билось у нас под руками его больное сердечко. Ни одна птица не подлетела поближе: все они знали, что он не сможет больше прокормить себя и должен умереть.

Мы искали и не могли найти его; а на завтра нашли под кустом мертвого.

— Я думаю, что это уж так в натуре человеческой: видят люди, в каком я состоянии, ну и не берут меня на работу,— сказал маленький пекарь.— А ведь я и не хочу ни для кого обузою быть, это уж точно; я всегда себя сам содержал, вот с этаких лет.— Тут он вытянул руку на уровне своего пояса.— Да теперь вот и себя прокормить не могу, не говоря уж о жене и ребенке. Все идет к концу, и, главное, я сам вижу, что идет к концу. Страх — вот что самое главное! И я так думаю — это не у меня одного.

Мысль эта, казалось, утешила его на мгновение, мысль о том, что есть еще тысячи других тружеников, на плечи которых со зловещей усмешкой навалилась смертельная болезнь, и что все они, как и он, в отчаянии смотрят в пустоту. Тысячи других тружеников, которые умирают потому, что страх заставлял их работать слишком долго. Лицо его даже просветлело чуть-чуть, словно солнце наконец пробилось и к нему. Но потом то самое деревянное выражение — единственно подходящее и надежное — снова сковало его черты. И теперь никак нельзя было подумать, что страх когда-либо искажал это лицо — таким оно стало невыразительным, спокойным и неподвижным!

МОДА

Я слежу за вами вот уже десять минут, пока ваша карета стоит, и за это время видел, как ваше улыбающееся лицо дважды изменялось, словно вы собирались сказать: «Я не привыкла, чтобы мой экипаж задерживали». Но больше всего меня занимает ваш взгляд — он неизменно прикован к вашим спутникам, сидящим напротив, или к спинам ваших слуг на козлах. Очевидно, ничто не отвлекает вас от мысли: «Говорят, то, что ожидает меня, приятно». В этой недвижной веренице карет, растянувшейся на полмили, ваша — трехсотая. В двухстах девяносто девяти впереди и в четырехстах позади тоже сидите вы, глядя прямо перед собой невидящими глазами.

Вас считали досадной обузой, пока вы слагались в живое существо; вас при появлении на свет приняли самые искусные руки; вас баловала мать, когда порой вспоминала о вашем существовании; вас научили верить, что цель жизни — культивировать свое чистое, здоровое тело и невозмутимость, которая противостоит всем будничным заботам жизни; вас научили считать Обществом маленький кружок ваших знакомых и убедили, что ваш долг — твердо знать, чего вам хочется, и получать желаемое. *Вот так с самого начала вы были обречены!*

Вы никому не подчиняетесь, кроме себя. Вами распоряжается ваше сердце: оно подсказывает вам желания, требования, мнения, которые произносят ваши губы. В вашем сердце скрыты источники, питающие реку ва-

ших поступков, но ваше сердце — застойное болото, никогда не видевшее солнца. Каждый год с наступлением апреля, когда обновляются запахи земли, под вашим корсетом пробуждается щемящая тоска. Тоска по чему? У вас есть муж, а может быть, любовник, а может быть, и тот и другой, а может быть, ни того, ни другого, — как вам больше нравится; у вас есть дети — или могли бы быть, если бы вы того пожелали; в точно определенные часы вам подают изысканные блюда и вино; в вашем распоряжении — все удовольствия и забавы сельской жизни; в вашем распоряжении — театр, опера, книги, музыка и религия. От кончика пера, вырванного из тела умирающей птицы, или искусственного цветка, изготовленного слабыми от вечного недоедания руками, до подошв тесных ботинок вы одеты и украшены с невозможнейшим тщанием и заботой; год труда вплетен в ваш наряд, вправлен в ваши кольца, вы живой триумф чужих усилий.

Вы обитаете в центре центра мира; стоит вам пожелать, и перед вами откроются все сокровища человеческой мысли, копившиеся с той минуты, как человек начал думать; стоит вам пожелать, и вы увидите все, что было когда-либо сделано, ибо вы можете путешествовать, где хотите; вам доступны самые величественные картины природы и самые совершенные творения искусства. Вы услышите последнее слово о чем угодно, стоит вам только пожелать. И стоит вам пожелать, новейшие ощущения ублажают ваше небо, новейшие ароматы услаждают ваше обоняние. *Вот так с самого начала вы были обречены!*

Ибо вы, сидящая во всех этих семистах каретах, вы слепая: слепы ваше сердце, и душа, и голос, и походка. Вы самое слепое существо в мире. Ни разу за всю вашу жизнь у вас не было своей мысли, своего поступка, своих слов. Вас не допускали до них, и так замечателен этот заговор, составленный, чтобы не давать вам прозреть, что вы даже не подозреваете о его существовании. Вам самой ваше зрение кажется прекрасным, и это убеждение вам приятно. Раз вы не видите даже окружающей вас стены, то все, находящееся за ней, и вовсе не существует. Весенняя щемящая тоска под вашим корсетом — вот все, что суждено вам узнать о скрытом

по ту сторону. И в этом никто не виноват, и вы сами меньше всех.

Все было решено задолго до сытого, тупого поцелуя, из которого вы возникли. С незапамятных времен какие-то неумолимые Силы неустанно трудились, пока наконец не вывели вас, крохотное слепое существо,— венец всего, что они создали. Они производили тончайший, продиктованный Судьбой отбор, спаривая и спаривая все, что приближается к идеалу узости, все, что в самой своей сути трепещет перед случайностями жизни, все, что самым существом своим тянется к прошлому, пока наконец не создали тот порядок вещей, который сделал неизбежным ваше появление — появление шедевра пустоты и бессмысленности. Они высадили вас отдельно в ваш особый драгоценнейший перегной и по-прежнему (эти садовники не знают усталости) день и ночь хлопочут вокруг вас, подрезая и подвязывая, чтобы вы не стали дичком. Эти Силы безмерно гордятся вами — своим восковым, лишенным аромата цветком.

Солнце припекает, а ваша карета все еще стоит на месте, и это начинает вас раздражать. Вы не в силах представить себе, что могло преградить вам путь. Но способны ли вы хоть что-нибудь себе представить? Если совлечь с вас все эти пышные обертки, то что нашли бы мы под самой последней, самой внутренней оболочкой? Крохотную душу, утратившую воображение. Душу, рожденную птицей и ставшую ползучей тварью,— лишившаяся глаз, лишившаяся крыльев, она шарит во мраке и жадно обвивает щупальцами все, что ей попадается.

Вы привстали и что-то говорите своему кучеру. Какой очаровательной кажетесь вы нам, когда стоите вот так во весь рост,— ведь мы, подобно вашему слуге, не видим ярлычка «Слепая». Покрой вашего платья безупречен; ваша прическа — последняя новинка, а отделка вашей шляпы — новинка еще более последняя; мелодия вашей речи — квинтэссенция хорошего вкуса; вы взмахиваете ресницами совсем как живая; вы ничуть не злоупотребляете пудрой, и глядя, как вы держите зонтик, видишь перед собой совершеннейший образец изящества. Кукла Природы! С самого рождения — и до самой смерти. И повернутое к вам выскобленное лицо вашего слуги словно говорит: «Сударыня, в мои обязанно-

сти не входит осведомляться, откуда вы взялись. Вы тут. И я сам завишу от вас». Вы героиня фарса, но ни у кого не вызываете улыбки, ибо вы трагичны, вы самое трагичное, что только есть на свете. Ведь вы не виноваты, что ваши уши, глаза, сердце, голос атрофировались и вы лишились своего «я».

Вас породила Мода, и она строго следила, чтобы вы стали точнейшим подобием своей матушки, понимая, что если вы хоть на волосок отойдете от образчика, вы увидите, какова она, и позволите себе судить о ней. Вы и есть Мода, сама Мода, слепая, боязливая Мода! Вы поступаете так, а не иначе потому, что так поступают другие; вы думаете так, а не иначе потому, что так думают другие; вы чувствуете так, а не иначе потому, что так чувствуют другие. Вы безглазый Манекен.

И никто не может разбудить вас, никто не может сделать вас иной, жалкий клубочек чужих мыслей, ибо в вас уже нечего будить!

Вот вы проезжаете во всех ваших семистах каретах, расцвечивая дорогу яркими красками. Над этой дорогой, под ней, по обеим ее сторонам миллионы предметов и существ, которых вы не видите; все, что есть самого органичного в мире, все, что есть самого живого и творческого, все, что стремится обрести свободу. Вы, сверкая, кружите по своей орбите, незрячая пленница собственного триумфа, и чахоточные девушки-работницы устремляют на вас с тротуаров тысячи жадных взглядов, ибо не понимают вас. И сердца многих из них язвит зависть,—они не догадываются, что вы мертвы, как снег вокруг кратера, они не знают, что вы всего лишь пустота. Вы Мода! Безглазый Манекен!

ОХОТА

Сколько раз, бывало, стоял я на просеке в каком-нибудь шотландском лесу и, сжимая ружье, переводил взгляд справа налево и слева направо. Все напряженные нервы, все фибры моего тела откликались на малейшее движение, на еле слышный звук, на самый слабый запах. Пряный аромат увлажненных туманом елей, укусы бесчисленной мошкары, ощущение влажной пуганицы мохнатого вереска под ногами, желто-серый лесной сумрак, нерушимое безмолвие,—каким неповторимо чудесным все это было! И вот где-то в самой глубине лесного безмолвия начинал нарастать шум, производимый загонщиками. Сперва негромкий и размеренный, напоминающий не начало симфонии, а ее финал, он становился все громче, громче и неожиданно замирал. И в этой внезапной тишине по ветке вдруг пробегала белка, замирала на мгновение, глядя вниз, и вновь скрывалась, или поперек просеки на мягких, бесшумных крыльях проносилась сова.

Затем далеким пронзительным «Бе-е-ей!» опять вступал хор загонщиков, на мгновение заглушаемый треском выстрелов, и нарастал, нарастал — размеренный, неумолимо надвигающийся. На просеке легкий ветерок стряхивал теплые капли с еловых игл, и окутанное дымкой солнце чуть грело, чуть расцвечивало все вокруг. Вдруг из вереска и папоротника появлялся кролик; не подозревая, что опасность не позади, а рядом, он доверчиво выбегал на просеку, где так часто нежился на солнце. Выстрел—и он, перекувырнувшись, замирал или все-таки успевал добраться до норы. Это мертвое тель-

це в желто-сером сумраке леса возбуждало странное удовольствие, подобное тому, которое испытывает мужчина после завершения случайной интрижки, ибо в нем — утверждение первобытной мужественности. Но если кролик ускользал в нору, это было досадно, ибо зверек все равно должен был умереть, но смерть под землей лишала того, кто его убил, заслуженного трофея. Да и думать о том, как он медленно, мучительно умирает, было неприятно, и об этом никто не думал.

Иногда мы не трогали такую мелочь, поджидая косуль. Эти светло-коричневые обитательницы леса были исполнены робости, прятались в самой чаще, скользили неслышно, невидимые, словно духи, и всегда старались вырваться из кольца облавы. Порой, высоко взбрасывая задние ноги, какая-нибудь из них выскакивала прямо на цепь загонщиков, и тогда, заглушая обычные крики и грохот палок, поднимался яростный вопль — ведь от выстрела ускользала такая прекрасная «дичь»! Если косуля прорывалась сквозь цепь, вопль этот переходил в непрерывный истошный визг и постепенно затихал, а меня охватывало тоскливое разочарование.

Когда охота кончалась, зверей и птиц, свершивших сужденный им путь, собирали в одну кучу. Полуприкрытые папоротником или густым вереском, на земле лежали тельца, отмеченные особой расслабленностью смерти. Мы стояли, глядя на них сквозь туманную дымку, напoенную едким ароматом елей, и каждого из нас охватывало неясное томление, жажда снова стоять на просеке, слушая крики загонщиков и зная, что жертвы подходят все ближе и ближе под наши выстрелы.

Я часто видел в полицейских судах, как загоняют «дичь» иного рода.

Там было бы совсем тихо, если бы не перешептывание и шарканье, присущие любому суду. Из окон под толком льется серый, бесстрастный свет, в котором все кажется мрачным и потрепанным. Пахнет старой одеждой, а порой, когда вводят женщин, воздух наполняется мертвенным запахом застарелых сладких духов.

Этих женщин гонят через дверь слева — одну за другой, пять-шесть за утро, а порой и целый десяток. Некоторые бредут к скамье подсудимых, тяжело шаркая

ногами, понутив голову, другие шагают решительно и твердо; одни, кажется, вот-вот лишатся чувств, другие хранят стоическую, каменную невозмутимость. На них приличные черные платья, или дешевые помятые наряды, или забрызганные грязью лохмотья. Мелькают лица всех типов: и смуглые скуластые, и распухшие от пьянства, и длинные, изможденные, багровые; порой они напоминают плод дикой яблони, и почти все помечены печатью животной тупости и лишены даже намека на красоту.

Они стоят, как в южных странах стоят мулы или ослики, изнемогающие под непосильным грузом хвоста или камня,— застыв в покорной, немой злобе. Иногда какая-нибудь женщина поворачивается к зрителям — губы ее вызывающе улыбаются, но глаза мечутся из стороны в сторону, словно им не на чем остановиться. Ее соседка, кажется, охвачена смертным стыдом — однако такие встречаются редко, ибо это те, кто впервые попался загонщикам. Иногда они отказываются говорить. Обычно же они отвечают на вопросы резкими голосами, опустив угрюмые глаза, а вкусив даров правосудия, выходят, волоча ноги или вызывающе покачивая бедрами.

Такой гон им привычен, это их общий удел — небольшое развлечение, все чаще повторяющееся с каждым годом, который ложится между их настоящим и той минутой, когда какой-то охотник впервые выследил их и устроил на них облаву. Для многих из них этот день затерялся где-то за тысячами миль искоженных панелей — в такой дали, что его даже трудно вспомнить. А сколько охотников развлекали они с тех пор! И все же, судя по их лицам, ни одна не разделяла радости, которую доставляет подобная охота. Быть может, кое-кто из них еще хранит в глубине сердца благодарное воспоминание о той минуте, когда она робко приблизилась к охотнику, который стоял, затаив дыхание, опасаясь испугнуть ее. Эти убеждены, что были созданы, чтобы служить развлечением для охотников. И вдруг по зеленоватым глазам на лице с полустертыми румянами и пудрой, по полным губам, по острым уголкам рта угадываешь охотницу, чья душа, как подкрадывающаяся кошка, ждет мгновения, когда можно будет, повинаясь могучему, неуголимому инстинкту, впиться когтями в

добычу. Вот она тоже знала радости охоты; она любила подстеречь и поразить жертву точно так же, как мы, загнавшие ее сюда, любили охотиться за ней самой. Природа вложила страсть к охоте в ее сердце, как и в наши сердца, и в глубине этих наглых или заискивающих глаз словно прячется вопрос: «Я ведь делала только то же, что делаете вы, что почти каждый из вас, мужчин, хоть раз сделал в свое время. Я ведь только хотела немножко поразвлечься, подобно вам, так уж устроен человек, не правда ли? Так почему же вы тащите сюда меня, а самих себя — нет? Почему в определенных границах вы позволяете мне развлекать вас, а вне этих границ ставите на меня капканы, словно на вредную тварь? Когда я была красива — а я была красива! — это вы просили у меня милостыню. И я не скупилась на нее, пока не подурнела. А теперь, потеряв красоту, я должна молить вас прийти ко мне — или голодать. Но когда я обращаюсь к вам, вы тащите меня сюда. До чего же это смешно — обхохочешься! И я смеялась бы, да только смехом сыт не будешь. Да, собратья-охотники, смех мне не по карману — и чем больше вас будет, тем лучше для меня, покуда не придет мне конец!»

А мы, мужчины, смотрим молча и жадно — так смотрят на крыс, которых выпускают из крысоловки, чтобы их придушил терьер: испуганные, бегающие глазки, полные смертной тоски, быстрый отчаянный прыжок, прерванный на середине, отброшенное в сторону обмякшее тельце! На лицах некоторых из нас насмешливое любопытство, словно мы говорим: «А! Так мы и думали, что ты этим кончишь». Лица тех немногих, для кого это зрелище непривычно, омрачены жалостью. Большинство же смотрит неподвижно, сурово и тупо, словно они глядят на принадлежащие им вредоносные орудия, без которых нельзя обойтись. Но во всех наших застывших глазах можно заметить то ожидание, ту напряженность, которая выдает охотника. Загонщики хорошо справились со своим делом — дичь пригнана под выстрел!

Это всего лишь завершение охоты — охоты, начатой нами, тем или иным из нас, в безоблачный день, когда сияло солнце, кровь быстрее бежала по жилам и не хотелось никому причинять вреда, а только хотелось много развлечься.

ДЕНЬГИ

Каждую ночь между двумя и четырьмя часами он просыпался, лежал без сна, и тогда все его финансовые дела просыпались тоже и, как призраки, стояли перед ним. Если, к примеру, он только что купил дом и уплатил за него наличными, то малейшее сомнение, которое он когда-либо испытывал в отношении этой покупки, ее прошлого или будущего, вдруг оживало в ночи и, усевшись на спинке кровати у него в ногах, смотрело ему прямо в лицо. Оно росло и росло, пока не начинало казаться, что оно заполняет собой всю комнату; и ужас сжимал его сердце. Слова «Я потеряю деньги» так и просились у него с языка, но было бы глупо произносить их вслух в темноте. Потом и другие сомнения присаживались рядом с первым на спинке кровати. Сомнения относительно других его домов и акций; мрачные предчувствия насчет «Водопроводной компании»; страх, что победит «Американская железнодорожная». Все эти страхи вдруг принимали образ каких-то фантастических сов и, усевшись в ряд, раскачивались из стороны в сторону, а из широкого черного провала их клювов беззвучным хором вылетали слова: «Деньги, деньги, ты теряешь все свои деньги!» Сердце его начинало глухо колотиться и трепыхаться в груди; отвернув к стене старую седую голову и зарывшись бакенбардой в подушку, он закрывал глаза и начинал сосредоточенно перебирать в уме все те свои вклады, которые он никак уж не мог потерять. А потом рядом с его головой, наполовину

спрятанной в подушку, вдруг возникала и присаживалась фантастическая птица — призрак какого-то невероятного долгового обязательства или, например, какой-то судебной тяжбы, которая должна привести его к банкротству; а по другую сторону, почти касаясь его седой головы, парила зловещая желтая птица социализма. И так он лежал между ними двумя, не смея пошевелиться, и только сердце колотилось, стучало молотом в груди, пока дремота наконец не одолевала его.

В эти ночные часы он всегда думал о деньгах, о своих собственных и о деньгах своих детей и внуков. Бесполезно было повторять себе, что личные нужды его невелики, а для детей, может быть, лучше было бы, если бы им пришлось самим прокладывать себе дорогу. Подобные мысли не приносили ему облегчения. Страх был сильнее того, что говорили факты жизни; это был страх почти религиозный, и в основе его лежало глубочайшее внутреннее убеждение, что деньги и только деньги могут помочь человеку устоять в борьбе со Стихией.

Это он чувствовал всегда с тех пор, как впервые стал наживать деньги, медленно и верно продолжал убеждаться в этом все время, пока целиком не проникся таким убеждением. Пусть сколько угодно твердят ему в церкви по воскресеньям, что деньги — это еще не все, — ему лучше знать. Сидя на скамье в левом приделе, он казался погруженным в молитву. По обе стороны от него сидели внуки; его лицо, окаймленное седыми бакенбардами, было обращено к священнику, одна аккуратно затянутая в перчатку рука покоилась на колене, другая держала теплую ручку внука. Мысли старика были далеко — недремлющие и под чтение заповедей, они заняты были вопросом, как поместить деньги, чтобы вернуть их с пятью процентами прибыли, — но старым сердцем его владела детская ручонка, лежавшая в его руке. В словах проповедника не было ничего, что противоречило бы его собственной религии, да он попросту и не слушал их.

Даже если бы и слышал, они не опровергли бы его веру в деньги, потому что эта вера была всего-навсего естественной современной формой той религии, которую его отцы понимали как накопление сокровищ для той жизни, что ждет их за гробом. Разница была лишь в том, что он теперь верил только на словах, так что его пред-

принимательский дух был вынужден искать другого применения и сделать шаг вперед в полном соответствии с прогрессом.

Религиозное поклонение деньгам не делало его ни-коим образом ни эгоистичным, ни скаредным — оно лишь побуждало его беречься, не подвергать себя риску, которого можно благополучно избежать во всем: и в образе жизни, и в трудах, и в увеличении семейства. Он не женился, прежде чем не достиг положения, в котором мог обеспечить потомству достаточно надежное состояние, застрахованное от перемен и превратностей жизни; но даже и после этого он не проявлял безрас-судства и ограничился тремя мальчиками и одной долго-жданной девочкой, сообразуясь с ростом своего дохода. В тех кругах, где он вращался, его образ действий был настолько обычным, что никто даже не заметил стро-гой математической зависимости между ростом его дохо-да и увеличением потомства. Еще менее заметен был кому бы то ни было тот подспудный, неуловимый про-цесс, в результате которого детям передавались простей-шие заповеди его веры.

Дети его, принадлежавшие к поколению, которому хороший тон запрещал много говорить о деньгах, впи-тали в себя, однако, незыблемый религиозный инстинкт своего отца, его тайную уверенность ценности собствен-ной жизни и, хотя и бессознательный, культ всего того, что служит для поддержания этой жизни. Исполдволь и его дети прониклись всем этим, но пока отец был с ними, они знали, что могут себе позволить некоторую расточи-тельность в пользовании тем, что накоплено благодаря заповедям его веры и должно перейти к ним. В детстве они скучали, слушая его наставления насчет денег и то-го, что на них можно купить; позднее инстинкт, побу-ждающий тянуться за самым лучшим и подражать тем, кто сильнее (дети разделяют его с собаками и други-ми животными), помог им понять истинный смысл того, что им говорил отец.

С течением времени они стали чувствовать, что их аристократические замашки все настойчивее требуют, что-бы они скрывали проявления этого инстинкта; и тогда они, сами того не замечая, начали драпировать формаль-ные догматы отцовской веры в будничные покровы мни-

мого пренебрежения. Вместо догмы «Не стоит этих денег!» они стали употреблять выражение «Недостаточно хорош!» Учение о том, что «дело прежде всего», они формулировали следующим образом: «Не разрешай себе больше удовольствий, чем позволяют твои доходы и здоровье и может выдержать твоя репутация». В будущем их ждали деньги, и не было надобности идти даже на тот более или менее «безопасный» риск, на который вынужден был идти их отец, чтобы нажить эти деньги. На своих детей он мог положиться. Тот же отцовский инстинкт руководил ими, когда они выбирали себе друзей, виды спорта, клуб и занятия. Они точно знали, сколько у них доходов, и старались тратить не больше и не меньше этой суммы. И они так строго придерживались своих правил, что где бы ни находились: в ресторане или загородном доме, в аукционном зале или антикварном магазине, в своем полку или конторе, — повсюду они чувствовали присутствие божества, благословляющего благоразумный и удобный ритуал их веры. В своем поклонении этому божеству они даже превзошли отца, который все еще сохранял привычку падать по ночам на колени, с упорством тибетца призывая чужого ему бога; они ничего не говорили ему, но предпочли бы, чтобы он не делал этого. Ведь они любили своего старого отца, как связь с породившим их прошлым. Они мягко подшучивали над ним за то, что он постоянно говорит о деньгах и все еще думает только о них; но они любили его, и в глубине души их это беспокоило, потому что такая жизнь казалась им чем-то непорядочной.

Вместе со своими семьями — потому что все они с течением времени поженились и вышли замуж — они часто приходили проводить отца, приводя с собою детей. Для старика посещения этих маленьких гостей были благодетельнее, чем все процедуры водолечения; он учил их, как обращаться с игрушками, которые им дарил, гладил русые головки, катал внуков на колене, прижимался седыми бакенбардами к их румяным щечкам и щипал ножки, чтобы убедиться, что есть за что ущипнуть; и чем больше они этого заслуживали, тем больше он любил их. Они согревали его сердце. Теперь самыми счастливыми мгновениями его жизни, утешением старости были часы, когда он размышлял о том, что всем этим ма-

леньким существам, которых он так любил и которые тоже любили его немножко, он оставит не меньше тысячи двухсот или тысячи трехсот фунтов годового дохода, а если удастся пожить еще, то и того больше. По крайней мере на пятьдесят лет его плоть и кровь, его потомство будет обеспечено. Глаза его и ум, быстро подмечавшие подобные детали, давно уже заметили разницу между взглядами младшего поколения и его собственными: дети его питали, пожалуй, больше почтения к средствам жизни именно сейчас, в настоящем, но зато без сомнения, меньше верили в необходимость оставить после себя капитал, когда сойдут в могилу. И потому в размышлениях своих, даже не замечая этого, старик, минув детей, неизменно приходил к внукам, говоря самому себе, что эти маленькие существа, которые ласкаются к нему, а иногда ходят с ним на прогулку, став взрослыми, будут разделять его простую веру в деньги и беречь его наследие для собственных внуков. В них и только в них сможет он жить не пятьдесят, а все сто лет после своей смерти. Его, однако, весьма беспокоил закон, не разрешавший навечно закрепить капитал за своим потомством.

Твердый в своем решении обеспечить себя и вооружиться против будущего, он противопоставлял это ревностное могучее благочестие всем искушениям, которые подстерегают человека, и отказывал многочисленным просителям, хотя зачастую ему приходилось преодолевать при этом чувство сострадания; он поднимал свой голос и, если нужно, использовал все свое влияние, борясь, к примеру, против повышения местных налогов или подоходного налога, имевшего целью увеличить фонд, который дал бы возможность старым людям, лишенным средств к жизни, умирать несколько медленнее. Сам он, как человек, увеличивавший с каждым годом свои сбережения, чтобы обеспечить семью, без сомнения, считал — хоть и не любил цинизма, — что старики эти были только обузой для своих семей и потому следовало помочь им смиренно уходить со сцены. Каждый раз, когда ему приходилось сталкиваться с такими явлениями, он чувствовал, как это тяжело, и молил бога даровать ему силы, удержать свою руку, чтобы она не полезла в карман за деньгами, и силы эти очень часто бы-

вали ему дарованы. Так же было и со всеми другими искушениями покинуть стезю добродетели. Он установил ежегодную сумму — сто фунтов (не считая полукроны, которую опускал в церковную кружку по воскресеньям) — как возлияние всем чужим богам, чтобы они оставили его в покое и не мешали ему поклоняться истинному богу — деньгам. И это действовало: чужие боги, убедившись, что он человек строгих религиозных правил, а не какой-нибудь чудака (имя его значилось в двадцати списках благотворительных обществ, куда он жертвовал по пяти фунтов), вскоре оставили его в покое и не обращались за дополнительными даяниями, решив не тратить зря почтовые марки и побережь подметки.

После смерти жены — ему было тогда семьдесят — он продолжал жить один в доме, где они жили с самой женьтибы, хотя дом был теперь слишком велик для него. Каждую осень он решал, что весною переедет, но, когда приходила весна, чувствовал, что не может заставить себя оторваться старыми корнями от насиженного места, и откладывал все до следующей весны, вероятно, надеясь, что тогда он будет более расположен к такой перемене.

Все эти годы, когда он жил один, он страдал все больше и больше от ночных нашествий сомнений и страхов. Казалось, они становились все более настойчивыми и реальными с каждой новой тысячей фунтов, которой он защищался от них. С каждым новым его вкладом ночных призраков страха становилось все больше, они все больше походили на сов и все дольше просиживали возле него. И старик все худел и слабел с каждым годом; под глазами у него появились мешки.

Когда ему минуло восемьдесят, дочь его с мужем и детьми переселилась к нему. Это словно удлинило срок его жизни. Он никогда не пропускал возможности зайти в детскую ровно в пять. Здесь он проводил с внуком час, а то и больше, строил из кубиков банки или дома, корабли или церкви, иногда полицейские участки, иногда кладбища, но чаще всего банки. И когда постройка подходила к концу и здание во всей красе сияло белыми кирпичами-кубиками, он ждал с каким-то тайным восторгом той минуты, когда теплое тельце вскарабка-

ется к нему на спину, и тонкий голосок скажет в самое ухо: «А что мы сегодня положим в банк, дедушка?»

Услышав этот вопрос в первый раз, он долго колебался, прежде чем ответить. За тридцать лет, истекших с той поры, как он впервые стал строить такие вот банки из кубиков для своих детей, он успел убедиться, что теперь не принято говорить о деньгах, особенно в присутствии младшего поколения. Для их обозначения пользуются теперь эвфемизмами. И подходящий заменитель долго не приходил ему в голову, но в конце концов все же пришел, и они поместили его внутрь банка. Это была малюсенькая фарфоровая собачка. Они посадили ее в вестибюле своего банка.

Детский голосок спросил:

— А что она будет охранять?

И дед ответил:

— Банк, мой милый.

Взглянув на собачку, дед нахмурился: символу не хватало завершенности. На мгновение его охватило неудержимое желание положить в банк шестипенсовик и покончить с этим. Маленькие колени ерзали у него на спине, ручки крепко сжали ему шею, и подбородок внука нетерпеливо потерся о его щеку, и тихий голосок проговорил:

— Но ведь никто не сможет украсть банк.

Старик торопливо пробормотал:

— Но могут украсть бумаги.

— Какие бумаги?

— Завещания, всякие документы и еще... еще чеки.

— А где они?

— Они в банке.

— А я их не вижу.

— Они в шкафу.

— А зачем они?

— Они... Они для взрослых.

— Взрослые ими играют?

— О, нет!

— А зачем тогда их охранять?

— Чтобы... Ну чтобы все могли всегда получать вдоволь еды.

— Все-все?

— Ну да.

— И я тоже?

— Да, мой милый, конечно, и ты.

Так они оба, обнявшись, глядели туда, где находился их маленький эвфемизм. А потом тонкий голосок сказал:

— Теперь она там, и все в безопасности, правда?

— В полной безопасности.

Старик забросил свои дела и почти каждое утро, примерно в одно и то же время, отправлялся в клуб. Шел туда пешком, почти не обращая внимания на все, что происходило на улице,— потому ли, что мысли его были заняты другим, или потому, что давно уже считал эту привычку вредной, приводящей к чрезмерному развитию социальных инстинктов. Придя в клуб, он брал «Таймс» и «Финансовые новости» и садился в свое любимое кресло; здесь он оставался до второго завтрака, прочитывая все, что могло иметь отношение к его делам, и серьезно обдумывая всякие финансовые возможности. Но за завтраком он ощущал сильное желание высказаться и принимался рассказывать соседям по столу о своих внуках, о том, какие они замечательные и как он думает обеспечить их будущее. В приятном полуденном тепле, за легким, но вполне удовлетворительным завтраком, в окружении знакомых лиц он весело рассказывал все это, и серые глаза его поблескивали: между ним и ночною борьбой с призраками лежало много светлых дневных часов, предстояло еще посещение детской. Но иногда, вдруг уставившись куда-то в пространство неподвижным, напряженным взглядом, он спрашивал у соседа:

— А вы просыпаетесь когда-нибудь по ночам?

И если ответ бывал утвердительный, он продолжал:

— А бывает, что вдруг что-нибудь начинает вас беспокоить как-то особенно?

И если оказывалось, что так бывает и с его собеседником, он выслушивал это с явным облегчением. А однажды, когда ему удалось услышать горячее подтверждение того, как тягостны эти бессонные часы, он проворкотал:

— Но вы, вероятно, никогда не видели у себя на кровати множества огромных сов?

И затем, будто устыдившись этого вопроса, встал и ушел, не доев завтрака.

Его клубные знакомые, хотя почти все они были много моложе его, относились к нему вполне благожелательно. Правда, он несколько преувеличивал их интерес к его внукам и к состоянию его капиталовложений. Но они понимали, что он не может не думать об этом, и, когда он уходил из клуба (обычно это бывало в три часа) и говорил, едва сдерживая дрожь в голосе: «Мне пора, внуки меня ждут!» — они переглядывались, словно желая сказать: «Старикан ни о чем больше думать не может, кроме своих внуков». И садились играть в бридж, стараясь при этом держаться в пределах средств, оставленных им отцами.

А «старикан» в это время ехал домой в экипаже, и душа его, светившаяся в эти минуты в глазах под низко надвинутым цилиндром, мчалась вперед, обгоняя экипаж. Все же, несмотря на все свое нетерпение, он находил время остановиться по дороге и купить игрушку или еще что-нибудь для внуков.

Однажды холодным утром в конце марта его нашли мертвым в постели; он лежал на подложенных под спину подушках, глаза его были широко раскрыты. Вызванные тотчас доктора сказали, что он умер, так как сердце отказалось работать, приблизительно между двумя и четырьмя пополуночи; по расширенным зрачкам они заключили, что его, должно быть, испугало что-то. Но никто в доме не слышал никакого шума и не понимал, что могло его встревожить. Никто не мог объяснить, отчего этот человек, казавшийся еще таким крепким, вдруг сломился так неожиданно. Он никогда не рассказывал своей семье о том, что просыпается каждую ночь между двумя и четырьмя и видит сов, усевшихся в ряд на спинке кровати у него в ногах. Наверное, он стыдился этого. Он никогда не скрывал, в чем его вера, но люди не знали, как глубоко она захватила его, завладела его воображением, не подозревали, что его истинное божество — деньги, не знали и о его ночной борьбе с призраками, когда жизненные силы слабели, а страхи и сомнения брали верх. Никто не слышал, как колотилось его сердце; началось это уже много лет назад; тогда это даже несколько занимало его в темноте, в одинокие часы бессонницы, но с годами удары сердца становились все сильнее и сильнее, пока не стали похожи на удары молота в

слабую грудь. Никто не понимал, а меньше всех он сам, сколько иронии таилось в этом ударе, которым природа мстила ему за попрание закона равновесия. Наблюдая за его поклонением деньгам, она готовила свою месть, сделав так, чтобы это поклонение и убило его; ей безразлично было, какому богу он поклонялся, она знала лишь, что он слишком усердно служил ему.

К кровати покойного привели старшего из его маленьких внуков. Мальчик долго стоял, глядя на деда, потом спросил, можно ли потрогать его щеку. И когда ему разрешили, он поцеловал кончик своего пальца и дотронулся им до бакенбард старика. Когда же его увели, и дверь комнаты закрылась за ним, он спросил:

— А дедушка в полной безопасности? — И дважды в тот вечер он спрашивал это у взрослых.

А в сумраке следующего утра, когда дом еще спал, горничная увидела, что какой-то предмет белеет на коврик перед дверью в комнату старика. Она подошла и, нагнувшись, осмотрела его. Это была маленькая фарфоровая собачка.

ПРОГРЕСС

Автомобили ехали через гряду меловых холмов на гонки в Гудвуд. Они медленно ползли вверх по склону, распространяя запах масла и бензина, издавая резкий скрежет; и над белой дорогой висело облако пыли. С десяти часов утра они все шли и шли один за другим, везя бледных покорителей пространства и времени. Ни одна из машин не задержалась на зеленых холмах, — судорожно рванувшись вперед, они съезжали по скату; их гудки и жужжание колес разносилось по обе стороны холмов.

Но в буковой рощице на самом верху не слышно было даже отзвуков их движения; отсюда и видно ничего не было — только облако пыли бежало вслед за машинами, как марево.

Среди гладких серых стволов буков белели овцы, здесь было прохладно и тихо, как в церкви. А снаружи сиял день, и там, в сотне ярдов от рощи, на солнцепеке, опираясь на палку, стоял пастух — согбенный старик в старой, поношенной куртке. Его коричневое лицо, все в морщинах, как грецкий орех, было окаймлено щетиной серой бороды. Он стоял неподвижно и ждал, пока с ним заговорят.

— Отличный денек, правда?

— Да-а, неплохой; малость тепла нам не повредит. Это ведь ненадолго!

— А вы почему знаете?

— Да я уж тут, в меловых холмах, шестьдесят лет прожил!

— Многое тут, верно, изменилось на ваших глазах?

— Конечно, изменилось... люди... да вот и овцы!

— И заработки тоже, наверное. Сколько тут зарабатывали, когда вам, скажем, двадцать было?

— Да восемь шиллингов в неделю.

— Но ведь тогда и жизнь была, конечно, дороже?

— Ну да, так и было; хлеб был ужас какой дорогой, это точно, и мука темная! А корка — ну просто как деревянная.

— А теперь как заработки?

— Теперь во всей округе никто меньше шестнадцати шиллингов не получает; а иные фунт и побольше... Ну вот, пошли! Теперь их до двух часов оттуда не выгонишь!

Овцы одна за другой перебирались в буковую рощицу, где в полумраке мухи не донимали их. Маленькие темно-серые глаза пастуха смотрели укоризненно, он словно упрекал овец за то, что они не хотят пастись целый день.

— Здесь попрохладней будет. Вот иные говорят, будто овца глупая. А они, овцы, почти что все понять могут.

— Так вы все-таки считаете, что времена переменялись?

— Ну да! Денег вот теперь в деревнях больше стало.

— А образование?

— Э! Образование! Только об нем все и хлопчут. Глянь-ка, вон и железные дороги построили, да еще телеграф! Как же, много есть нового.

— Ну, а в общем-то лучше стало?

Он усмехнулся.

— Я в двадцать лет женился, когда зарабатывал восемь шиллингов в неделю; а нынешние, разве они так делают! Им теперь удобства подавай. Нет теперь того, чтоб люди довольны были, как вот сорок иль пятьдесят лет назад. Все теперь в города едут, и я так слышал, что они как туда попадают, жалеют, что уехали, и обратно хотят ехать, а только оттуда никто уж не возвращается.

Нет, он не жаловался; тон у него был спокойный, снисходительный и чуть-чуть насмешливый.

— Теперь уж и не сыщешь никого, кто бы всю жизнь свою прожил тут, в холмах, и никогда отсюда уехать не хотел. Чем больше люди получают, тем больше им всего хочется. Они словно чуют запах денег, что миллионеры разные тратят,— им, верно, кажется, что если они сами денежками разживутся, то уж смогут делать что душе угодно. А только раньше вот человек работал и никогда не думал, что раз хозяин богатый, то можно его обманывать; по-настоящему свое жалованье зарабатывали, по совести жили. А теперь человек, ежели он бедный, думает, что ему нужно богатым быть, и все жалуется да старается работать поменьше. Я так думаю: они всего этого из газет набрались,— когда люди знают слишком много, это их с толку и сбивает; они там читают про этот самый социализм и про миллионеров, ну и в голове у них каша получается. Вы посмотрите, сколько они пива теперь хлещут! Да на каждый галлон, что раньше, когда я молодой был, выпивали, теперь двадцать пьют. Овцы и те переменились: вон эти, что вы видите, все как одна породистые... а уход за ними какой! Твердят мне, что люди тоже к лучшему меняются; может, они и впрямь побогаче стали, а только что пользы в богатстве, ежели все равно им, видно, больше нужно, чем у них есть? Человек богат, когда доволен тем, что у него есть.

И, опустившись на одно колено, он добавил:

— Вот и последняя в тень забралась; ну уж теперь их оттуда до двух часов не выгонишь. Куда одна, туда и все!

И, словно уж не чувствуя больше никакой ответственности, он прилег на траву, оперся на локоть и прищурился, глядя на солнце. На его старом, коричневом лице с квадратным подбородком и бесчисленными морщинками появилось выражение какого-то странного довольства — словно он одобрял в душе упрямство своих овец.

— По-вашему, выходит, что богатство не в деньгах, а в отказе человека от нужд? Вы, значит, противник прогресса?

— Наши места не меняются, меняется только чело-

век; и я про себя так думаю: что в этом толку — ведь нужды его растут так же быстро, как и богатство?

— Без сомнения, придет время, когда человек поймет, что для того, чтоб ему стать по-настоящему богатым, доходы его должны превышать потребности. И когда он поймет это, он будет продолжать увеличивать свой доход, но при этом ограничивать свои потребности.

Он помолчал, пытаясь разобраться в смысле моих слов, потом сказал:

— Я в этих местах и молодость прожил и состарился, шестьдесят лет уже здесь живу.

— И вы счастливы?

Он наморщил лоб и усмехнулся.

— А вы как думаете, сколько мне лет? Семьдесят шесть!

— На вас поглядеть, так видно, что и до ста доживете.

— Ну уж это вряд ли! Вообще-то, здоровье у меня хорошее, разве вот только это.— Пальцы на обеих руках у него были скрючены и загнуты к большому пальцу, словно сучья под ветром.— Вид у них чудной! А болей не болят. Ну а раз не болят, так и ладно.

— Отчего это они такие?

— От ревматизма! Я не лечусь. Доктора — они только хворь разводят.

— Так вы полагаете, что мы только умножаем свои болезни, умножая лекарства?

Он медленно провел скрюченными пальцами по невысокой траве.

— К моей хозяйшке я позвал доктора, когда она помирала. Видите, какая пыль? Это все автомобили в Гудвуд на гонки народ везут. Удивительная штука: до чего же быстрая!

— Ага! Отличное изобретение, не правда ли?

— Да, иные так думают. А только если б люди сидели на месте и не носились бы сломя голову, то и не нужны были б им эти машины.

— А вы когда-нибудь сами ездили на такой?

Глаза его насмешливо блеснули.

— Пусть бы они тут попробовали зимой проехать, по

снегу, когда дорогу приходится по звукам да запахам находить; тогда бы они не так легко разъезжали, нет! Говорят, из Лондона теперь куда хочешь можно ехать. А только бывает и такое, от чего не уедешь. Вот отсюда пусть хоть все разъедутся, а холмы останутся... Сам-то я никогда отсюда не выезжал.

— И никогда не хотелось?

— Да ведь вы этих мест не знаете как следует. Я видел, как молодые подрастали, а никто из них здесь не оставался. Видел и людей, что, вроде вас, сюда просто так приезжали — посмотреть.

— Ну и что же это все-таки за место — ваши меловые холмы?

Маленькие глаза его, видевшие куда зорче моих, словно еще глубже ушли в темное, морщинистое лицо. И эти глаза, остановившись на серо-зеленых склонах холмов, безмолвно высившихся над клочками полей, над окружающими лесами и деревнями, словно ответили за него на мой вопрос. Он долго молчал, потом заговорил снова.

— Самое здоровое место во всей Англии!.. Вы вот тут все насчет прогресса толковали, а вот сало — оно теперь в четыре раза дороже, чем когда я молодым был. А детей у нас тринадцать душ было, да я, да моя хозяйюшка. Теперь в семье трое-четверо заведутся, с них и довольно. Нет, переменялась деревня, что и говорить.

— А разве это вас удивляет? Ведь когда вы пришли сюда утром, солнце тоже за рощей пряталось, а с тех пор оно вон как высоко поднялось.

Он поднял глаза.

— И назад его не вернешь, — вы, небось, это сказать хотели? Да, только ведь оно поднималось, а теперь будет опускаться.

— Но Иисус Навин остановил солнце; и это было большое достижение!

— Может, оно и так, только я думаю, это уж не повторится. А который час, это овцы лучше людей знают; вот в два часа ровно увидите, как они выйдут оттуда и будут траву щипать.

— Вот как! Ну, ну... Мне пора. До свидания!

В глазах старого пастуха засветилась дружелюбная насмешка.

— Вы, как и другие; все теперь в пути, все куда-то спешат! Ну ладно. Держите все время поверху — не собьетесь!.

Он протянул мне старческую узловатую руку, пальцы которой были так странно искривлены. Потом, опершись на палку, стал глядеть на буковую рощу, где в холодке лежали овцы.

А позади него, в лучах солнца, маячило облако пыли над дорогой, и порыв ветра донес далекую песню моторов.

НА ОТДЫХЕ

Завеса, меняющая цвет при переходе от утра к дню, от ночи к утру,— завеса, которая никогда не поднимается, висит над темным горизонтом.

На черный берег под черным небом в редких звездах взлетает западный ветер, полный какого-то тревожащего запаха, как в те времена, когда человека еще не было на земле. Он поет ту же тревожащую песнь, какую слышал первый человек. И сюда, на этот черный берег, человек пришел среди сотен других, изо всей мочи стараясь отдохнуть и развлечься. Здесь, в театре ночи, он воздвиг свой театр, навесил занавес из парусины и зажег вокруг огни, чтобы как можно лучше видеть себя и себе подобных и не видеть обступающей его со всех сторон тьмы. Здесь он собрал певцов и посадил оркестр, вооруженный шумными трубами, чтобы заглушать тревожащий шепот ветра. А позади своего театра он зажег костер, своим дымом заглушающий запах моря, который так тревожит сердце.

Представители обоего пола, явившиеся из домов, где они спят плотной кучей, теснятся поближе к своей музыке. Отблески света играют на лицах, внимательных, бледных, неподвижных и не более выразительных, чем кругло затесанные деревяшки с нарисованными карандашом кружками вместо глаз. И всякий раз, как шумы прекращаются, они хлопают в ладоши, как бы желая сказать: «Начинайтесь опять, шумы! Не оставляйте меня наедине с безмолвием и вздохами ночи».

Люди вертятся в танцевальном кругу, разбившись на кучки, и каждая из этих кучек как будто говорит: «Разговаривайте, смейтесь — я на отдыхе!»

Таков отдых человека от непрерывного труда, заполняющего его часы; этого отдыха он ждал целый год и будет вспоминать его до следующего. Он прогуливается, разговаривая и смеясь, вокруг своего шатра на берегу моря, и даже не взглянет на шатер ночи, где звезды танцуют под музыку ветра. Он давно обнаружил, что не может глядеть в загадочное, ироническое лицо матери-природы, склоняющееся над ним во мраке, и со стоном укрыл свою голову полой одежды. Перед ней одной, породившей его, он робеет, не смея бросить ей вызов. А поскольку сердце человека — даже самое слабое — полно мужества и гордости, он заключил с самим собой договор. «Природа? Нет никакой природы! Я не могу без страха смотреть в лицо тому, чего не понимаю, а если я не могу без страха смотреть на что-либо, я не хочу об этом думать, и, значит, это для меня не существует. Таким образом, нет ничего, что я не мог бы встретить лицом к лицу без страха. И как бы я это ни отрицал, я именно потому теснюсь в своем шатре, под своими огнями, и поднимаю шум наперекор вздохам, молчанию и черноте ночи».

Вдалеке от темного моря и зеленых лугов стоят рядами дома с освещенными окнами, они все теснее сгущаются вокруг залитого огнями вокзала, где, подобно нитям паутины, сходятся рельсовые пути, бегущие от простора спящих полей, болотистых низин, окутанных дымкой холмов, темных деревьев и лунно-бледных вод, обрамленных камышами. Эти рельсы пролегли по всей земле и связывают дома человека в одну большую сеть, чтобы он никогда не оставался наедине с самим собой. Ибо ничто так не страшит человека, как одиночество. В одиночестве он слышит голос Той, которую он не способен понять: «Ах, как ты еще мал, мой маленький человек!» И он видит Ее улыбку, ироническую улыбку вечера над землею и морем. В одиночестве он чувствует себя таким жалким и маленьким; ибо одиночество — это молчание, а молчание — это ирония, которой он не выносит даже у Той, что породила его.

И вот он не заботится ни о своей красоте, ни о своей

силе, не стремится быть чистым и благородным. У него одна забота: не быть одиноким. Всему своему потомству он с первого дня твердит одно и то же наставление: «Страшитесь Ее! Избегайте Ее! Не смотрите на Нее! Стройте города! Побольше городов! В них вы сможете разговаривать и слушать болтовню других! Набивайтесь в города: там ваши глаза на побелевших лицах никогда не увидят Ее! Замазывайте каждую щель в ваших домах, чтобы молчание или одиночество ни на минуту не могло посетить вас. А если вдруг вы почувствуете себя одинокими в городских парках, не ложитесь на спину, ибо тогда вы увидите безмятежный солнечный свет на листьях, спокойные облака, птиц, укрывающих одиночество под своими крыльями; но не ложитесь и лицом вниз, ибо тогда вы почувствуете запах земли, услышите легкий шум и одну минуту будете жить жизнью всех этих крошечных существ, что копошатся в истоптанной траве. Бегите от таких зрелищ, запахов и звуков, дабы страх, а то и ужас перед своей участью не посетил вас. Бегите на улицы, бегите в дома ваших соседей, болтайте и бодритесь! А когда придет время и ваши ноги, мозг и язык устанут, тогда спите! Ибо наряду с наркотиком товарищества вам дан наркотик сна! А когда вы на отдыхе все время предоставлены самому себе, будьте начеку! Удел тех немногих среди вас, кто вынужден жить уединенно, ловя рыбу в море, перегоняя стада овец по зеленым холмам, охраняя живописную дикость ваших лесов и возделывая пустынные земли, на какой-то миг может показаться вам завидным. Будьте уверены, что это не так; эта мысль пришла к вам из книг! Идите туда, где, сбившись тесными толпами, вы сможете избегать Ее, хотя ночи там ясны и солнце греет жарко, ветер с моря пахнет солью, а ветер с берега — сеном. Страшитесь Ее! Бегите от Нее! Прячьтесь от Ее улыбки, которая как бы говорит: «Когда-то ты не отказывался от меня и был молодцом. Ты смотрел мне в глаза и был в меру доверчив, учился не хныкать, оказавшись в темноте, не хихикать, не гримасничать и не болтать без умолку, быть мужественным, думать самостоятельно — и ты был доволен. А теперь ты ушел от меня и стал жалким кокни. Но как бы ты ни храбрился, как бы ни остерегался меня, я все равно возьму

тебя снова!» Страшитесь Ее! Избегайте Ее! Стройте города, побольше городов!

Таков наказ, который человек дает каждому своему отпрыску с первого дня его рождения. И урок не пропадает даром для его неограниченного потомства. Из многотысячной толпы, собравшейся здесь на отдых из переполненных, зловонных городов, ни один не откололся, чтобы хоть минуту провести наедине со своей тенью, с ветром и звездами на этом темном берегу. Воздух наполнен смехом, несмолкаемой болтовней, песнями, пиликаньем и рукоплесканиями; и так будет в течение всего этого «отдыха».

И кто же настолько глуп, чтобы утверждать, будто человеку не следует разговаривать, смеяться и хлопать в ладоши! Кто настолько слеп, чтобы не видеть, что все это—лишь противоядие против зол, которые принес ему его великий страх перед природой? Круг пустых лиц и любопытных глаз, сомкнувшийся вокруг этого худосочного певца с разбитым голосом, или того, дебелого, с голосом, как у медной трубы,—не пример ли это Ее иронии? «Так вот какое лекарство ты себе состряпал, мой малыш, чтобы заглушить боль опаленной лихорадкой души! Bravo! Только, если б ты не ушел от меня, не было бы и лихорадки! Ее нет ни в ветре, ни в звездах, ни в ритме волн морских, ее нет ни в молодой поросли, ни в опавших листьях; ее не найти на всех бесчисленных моих путях. Лихорадка — это страх, и тебя одного, мой беспокойный человек, треплет она. Вот почему, даже на отдыхе, ты стоишь больной, в толпе себе подобных, глотаешь придуманные тобой гомеопатические лекарства!..»

Представление закончилось. Шумные трубы стихли, огни гаснут, и человек остается на черном берегу, где не на что смотреть — разве только на небо, и ничего не слышно, кроме волн, плещущих на море, как крылья. И сразу, по трое, по четверо, люди разбегаются по домам, лишь бы ни на секунду не увидеть Ее лица с этой невыносимой для них улыбкой.

ФАКТЫ

Каждое утро шум воды, наливаемой в ванну, выводил его из того единственного состояния, в котором мысли его бывали в беспорядке. И, приподняв лицо, на котором правильной формы нос красовался над едва сидящими правильной формы усами, он спрашивал, который час. И каждое утро он слышал один и тот же ответ, вызывавший у него зевок. Без такого вступления он даже не был бы уверен, что день начался. Убедившись в этом факте, он одним прыжком перемещался из постели в ванну, где растирался губкой, смоченной в холодной чистой воде. «Прямо из постели — не растрачивая тепла». Так он всегда говорил и готов был отстаивать свой метод против любой другой теории утренних обливаний. Это было его собственное открытие — это был факт, которому он, как и всем прочим фактам, придавал большое значение; и каждое утро он отмечал про себя ценность этого факта. Потом в нижнем белье, о котором он говорил: «Никогда не носите по утрам ничего другого, — пусть кожа подышит!» — он становился перед зеркалом, повернувшись к свету, окунал в кипяток бритву, на которой был обозначен соответствующий день недели, и без всякого любования осматривал свое лицо — просто, чтоб убедиться, что оно хранит еще неровный румянец вопреки вредному влиянию города. Потом, держа бритву наклонно: «Всегда держите бритву наклонно!» — он удалял с лица лишние волоски. Если он замечал, что начинает думать, то подходил к туалетному столику, где стояла бутылка, наливал себе на донышко горькой жидкости и выпивал; потом, схва-

тив гимнастические булавы, он начинал ими размахивать. «Я верю в гимнастические булавы!» — часто говорил он. Повязывая галстук точно так же, как он повязывал его уже тридцать лет, и смачивая платок лавандовой водой — единственным сортом одеколона, который он признавал, — он открывал дверь в комнату жены и спрашивал: «Как дела, дорогая?» И, не дожидаясь ответа, закрывал дверь и спускался вниз.

Корреспонденция обычно лежала на его письменном столе, и так как он был человек неглупый, он довольно быстро ее просматривал, а потом разворачивал ежедневную газету — он давно уже выбрал для себя из всех газет именно эту — и, стоя у камина, читал в полной уверенности, что новости, которые там сообщаются, представляют несомненный интерес. Он следил при этом, чтобы чтение не заставляло его думать. Ему нужны были факты, а тот факт, что сегодняшние факты поглощаются завтрашними, не беспокоил его, потому что чем больше он вычитывал всяких фактов, тем большее удовольствие получал.

После завтрака — он всегда сидел напротив жены и заканчивал завтрак всегда джемом — он ровно в десять часов выходил из дома и две мили до Темпла шел пешком. Он верил, что ходить пешком необходимо в любую погоду, потому что это, как он говорил, «стимулирует работу печени».

По дороге он думал о многом: например, какое вино запасти в погребе в этом году: «Грю ля роз» 1900 года или «Шато Марго» 1899? И хотя он понимал всю важность этого вопроса, решение он принимал не медля, потому что нерешительность была противна его натуре. Он шел по Грин-парку и по набережной Темзы, потихоньку расправляя грудь и испытывая при этом чувство внутреннего довольства. Уличного подметальщика, ближайшего к Большому Бену, он ежедневно, кроме субботы, достаивал кивком, а по субботам давал ему шестипенсовик; и поскольку он оказывал ему таким образом помощь, он считал этого человека заслуживающим помощи. Мимо всех прочих подметальщиков он проходил, даже не замечая их; если б они и попросили у него пенни, он бы проучил этих лентяев, живущих недозволенными доходами. Но они ничего не просили, признавая его от-

ношение к ним справедливым и уступая несокрушимой праведности его суждений. Шел он всегда одинаковым шагом, ни быстрым, ни медленным, голову держал прямо и глядел прямо перед собой с таким видом, словно хотел сказать: «Да, я иду пешком; эта прогулка полезна для моего здоровья!»

А придя, он смотрел на часы — не потому, что не знал, который час, а для того, чтобы удовлетворить свою потребность убеждаться в уже установленном факте. Он знал, что вся прогулка от двери до двери занимает тридцать две минуты.

Поднимаясь вверх по каменной лестнице, он останавливался на площадке и смотрел через окно на одно из деревьев. Когда-то здесь свила гнездо сорока. Вот уже пятнадцать лет, как ее не было здесь и в помине, но этот странный факт все-таки имел место. Встретив в узком темном коридоре за дубовой дверью своего клерка, он приветствовал молодого человека всегда одинаково: «Доброе утро, Дайсон. Что нового?» — и проходил в свой светлый просторный кабинет, в котором слегка пахло судебными отчетами. Здесь, облачившись в свою старую широкую куртку и зажав в зубах пенковую трубку, чаще всего незажженную, он сидел за столом, на котором были разложены всякие бумаги, и работал с усердием, приводя в стройную систему факты, подготавливая их для своего начальника, человека гениального, но лишенного правильной системы.

В час дня он выходил на улицу, чтобы пешком отправиться закусить, всегда в одно и то же место, неподалеку. Когда его соблазняли пойти куда-нибудь в другое место, он говорил: «Нет, нет! Идемте со мной; нигде не подкрепитесь лучше, чем у Сима!» Это был установленный факт, и никакие новшества не могли поколебать его. Потом с сигарой в зубах он двадцать минут гулял по Темпл-Гарден, заложив руки за спину, иногда один, иногда с кем-нибудь из друзей, и зачастую можно было услышать его добродушный смех — смех толстого человека; потому что хотя он часто взвешивался и не давал своему телу толстеть, душу свою он взвесить не мог и потому, не имея на руках фактов, на которые можно было бы опереться, не мог следить за ее полнотой.

С двух до четырех он продолжал приводить в систему факты, а после закрытия судебного заседания представлял их начальнику. С высоты своего умения рассматривать их просто как факты, никак не отвлекаясь, он несколько покровительственно относился к этому неорганизованному выдающемуся человеку. Потом, вымыв руки мылом Писа и сказав клерку: «До свидания, Дайсон; больше ничего срочного нет», — он брал свой зонтик и пешком отправлялся в западную часть города. И снова по дороге он думал о многом, например: «Какой палкой лучше ударить на подходе к последней лунке?» — и опять, не размышляя слишком долго, принимал решение в пользу одной или другой.

Войдя в подъезд клуба, о котором он обычно говорил: «Я состою в нем уже двадцать лет, так что сами можете судить!» — он вешал шляпу всегда на одну и ту же вешалку, шел в комнату, где играли в карты, и — неизменно по маленькой — играл в бридж до семи часов вечера. Потом в двухколесной пролетке ехал домой, отдыхал душой и телом, бездумно глядя прямо перед собой на задки экипажей, ехавших впереди. Войдя в гостиную, он подходил к жене, целовал ее и говорил: «Ну, старушка, что ты поделывала?» — и тут же принимался рассказывать, что делал он сам, а кончив, говорил: «Ну, а теперь пора переодеваться к обеду! У меня аппетит разыгрался!» В белом галстуке и фраке, если они должны были обедать в гостях, или в черном галстуке и простом пиджаке, если они собирались обедать дома — ибо целесообразность такого костюма была установленным фактом — он входил в комнату жены, брал какую-нибудь бутылочку с ее туалетного столика и, разглядывая ярлычок, сообщал о своих планах на завтра.

Обедая в гостях, он проявлял, однако, ту же любовь к порядку. Так, он никогда не притрагивался к мороженому или к сладкому, боясь подагры, которая иногда давала о себе знать. Кофе он пил с коньяком, и вовсе не из боязни бессонницы, которой он никогда не страдал, а просто потому, что, как он обнаружил, употребление коньяка после определенных блюд было фактом более удобоваримым, чем употребление ликеров; после шампанского он выпивал стакан или два портвейна. Не-

которые пили кларет, полагая, что от него меньше вреда, но он всегда говорил в этом случае: «После шампанского — только портвейн; это дело проверенное». Ибо хотя для организма его, может, было и несущественно, что именно он там пьет, для душевного равновесия его было очень важно, что он сам выбирает напиток и придает большое значение этому выбору. Когда дамы удалялись из гостиной, он вел беседу о различных фактах, связанных с политикой или с охотничьими ружьями, с биржей или женщинами; он преподносил это в виде небольших историй — фактов о фактах. Всякому, кто пытался объединить эти факты мыслью, он тут же говорил: «Вот именно!» — и, смерив собеседника взглядом, восстанавливал прежний ход беседы, изложив какой-нибудь новый факт. Наконец он уезжал домой и в кэбе, протянув руку, дотрагивался до жены, просто чтобы удостовериться в факте ее присутствия.

По воскресеньям он играл в гольф — вооружившись неким фактом, он сильно бил им по другому факту поменьше, пока не загонял его в лунку, откуда извлекал его и вновь посылал вперед. И это ему нравилось. Возвращаясь поездом вместе с другими игроками, он молчал, перебирая в памяти подробности этого приятного занятия, и в эти минуты его лицо с голубыми глазами, румяными щеками и светлыми, едва начинающими сидеть усами становилось особенно добродушным и приятным. Вдруг, обратившись к соседу, он начинал ему рассказывать о том, что в какой-то момент игры он ударил по маленькому факту слишком сильно, а в какой-то, наоборот, проявил излишнюю осторожность.

За два дня до наступления двенадцатого августа он брал свои ружья и жену и отправлялся в Шотландию, где каждый год арендовал небольшой участок, на котором водились шотландские куропатки.

Приехав, он прежде всего принимал ванну, а потом вместе с егерем выходил из дому, захватив с собой охотничьего хорька, и шел просто «взглянуть» на свои угодья, причем первое, что он говорил, было: «Ну, Мак-Нэб, как дела? Боюсь, я что-то немного не в форме!» И старый егерь отвечал на это: «Что ж, это может быть, а только день по горам походите, и все будет в порядке».

И каждый вечер, возвращаясь с охоты, он приказывал

вал, чтобы все эти первые факты, лежавшие в корзинке, притороченной к седлу пони, вынимали и раскладывали перед ним рядами, так, чтобы он мог пересчитать их, потрогав для верности кончиком стека; и чем больше их было, тем большее удовольствие он испытывал. А потом, когда их уносили и развешивали в кладовке, он заносил их число в книжку. И по мере того, как число это росло, он день за днем и неделя за неделей сравнивал его соответствующими числами за соответствующие дни и недели предыдущих лет, и, таким образом, в зависимости от того, возрастало или убывало это число, он мог в любой миг сказать, сколь велико удовольствие, получаемое им от жизни.

Вернувшись в Лондон, он говорил: «Год выдался превосходный — пятьсот пар». Или качал головой, приговаривая: «Двести тридцать пар — скверный нынче год!»

Особенно замечательный экземпляр, подстреленный им, он отдавал чучельщику, чтобы увековечить этот факт.

Раз, а быть может, и два раза в год его вдруг постигала какая-то болезнь — появлялось чувство, что жизнь его не совсем такова, как ему хотелось бы, просыпалось какое-то желание, которое он не смог бы выразить словами, и твердое ощущение, что в жизни его недостает каких-то фактов. Он становился почти раздражительным и говорил: «Мужчина делает ошибку, когда женится, уверяю вас, он добровольно замыкается в семейном кругу». А потом в один прекрасный день он вдруг начинал понимать, чего ему хочется, и под предлогом, скажем, двухдневной спортивной прогулки отправлялся в Париж. Свершение этого факта, неправильного и беспорядочного, — он ни за что на свете не позволил бы себе такого в Англии — целительно влияло на его душу, и он возвращался домой еще более упорядоченный, чем когда бы то ни было.

Ведь он был человеком действия и признавал только то, что сделано и стало свершившимся фактом. Он не видел проку во всяких жизненных планах, в теориях, мечтах или химерах. Всем идеям, как он любил говорить, цена полдюжины пенс. И лишь тот факт, что фактам, не связанным идеей, цена всего «полдюжины полпенса», был, пожалуй, единственным, которого он не

признавал. Собственно говоря, он был как бы создан для того, чтобы накапливать и нанизывать длинные ряды мелких фактов, располагая их почти в безупречном порядке, почти во всех направлениях. И побуждаемый своим характером к нанизыванию этих фактов без мысли о том, к чему это может привести, он никогда не понимал да и не пытался понять, когда и что взорвет эта цепь фактов; а когда она в действительности взрывала нечто такое, чего он никак не мог ожидать, или просто заводила в тупик, то столкнувшись с этим фактом, он начинал нанизывать свои факты снова в первом попавшемся направлении. И эта активная деятельность спасала его от сомнений, раздумий и всякого вздора: он бывал обычно так занят, что ему некогда было даже взглянуть вперед и увидеть, куда он идет; впрочем, если бы он и пришел к чему-то, все равно не заметил бы этого, так что это не имело никакого значения.

Кроме всего прочего, он верил в свободу; ему никогда не представлялось ничего такого, что его образ жизни мог бы помешать ему сделать, и потому он был убежден, что располагает самой большой свободой, какая только возможна в мире.

И никогда не бывал он удивлен столь неподдельно, как тогда, когда ему сказали, что его образ жизни очень типичен для страны, в которой он живет. Он ответил лишь пристальным взглядом, отлично зная, что это не может быть доказано с непреложностью факта. Осознавать и осмысливать что-либо было не в его привычках, и потому он не пытался осознать, что представляет собой он сам или его страна,— именно это и позволяло ему быть таким, каким он был.

Когда он встречал на улице своих двойников (а это случалось ежечасно), он и не подозревал, что это он сам; напротив, он смотрел на себя, как на существо совершенно особого склада, а большинство прочих людей находил «довольно смешными».

Попытки отнести его к какому-либо типу или классу он встречал недоверчиво, как некое проявление социализма. И все же он обедал бок о бок с самим собой в ресторанах и в гостях, путешествовал рядом с собой в поездах, читал в газетах свои речи в парламенте, или статьи о том, как ему пришлось однажды страдать сре-

ди лиц голландского происхождения, или как он на какой-то границе покарал некое племя, поведение которого несколько отличалось от его собственного. Он играл в гольф с самим собой и охотился вместе с людьми, похожими на него, как две капли воды. И это сходство вовсе не ограничивалось людьми его класса; нередко он вез самого себя домой в кэбе, смотрел на себя, марширующего перед казармой или расхаживающего взад и вперед в синем мундире, охраняя по ночам от грабителей свой дом. Если ему нужно было послать посыльного из клуба, он посылал самого себя; он продавал самому себе жилетки и даже мостил улицы, по которым совершал свое ежедневное паломничество на службу.

Из непосредственной близости к нему воображение, расправив крылья, может перенести нас дальше. Покровитель факта, образец порядка, столп закона, повсюду, где он появлялся, появлялся и упорядоченный беспорядок. Он вечно был занят делами, и что бы он ни делал, тут же возникала необходимость сделать еще вдвое больше, и он сделает это — со временем, конечно! Уверенный, что не причиняет существенного вреда ни себе, ни другим, он сохранил молодость и свежесть! О! Удивительную свежесть!

А в старости, покончив с делами, он будет рассказывать, сидя в курительной комнате своего клуба и шевеля пышными седыми усами, о том, как он некогда охотился и как бегал; как он женился на той самой славной девушке; и как умер тот самый старина, его дружище; будет рассказывать подробности о той самой отличной шутке и о том самом неудавшемся обеде; и будет любовно перебирать все эти не связанные между собой факты, и старые голубые глаза его заблестят. А потом, когда станет совсем поздно и он останется один, он положит на диван свои старые, усталые ноги, вынет сигару из своих старых губ и, держа ее в футе от глаз, станет пристально разглядывать пепел; затем, найдя этот факт несколько подозрительным, он нахмурится.

ВЛАСТЬ

По утрам, вставая, он первым делом падал на колени у своей кровати. Его фигура в белой ночной рубашке, и без того длинная и тощая, казалась еще длиннее теперь, согнутая в пояснице. Густые светлые волосы, почти не растрепавшиеся во время сна, да часть шеи и щеки — вот все, что было видно сверху: лицо его было зарыто в стеганое одеяло. Так он вступал в общение с божеством, которое создал для себя из своих тайных помыслов и желаний, из самых интимных стремлений души. Во время долгого и сложного процесса созерцания это божество являлось ему в виде одетой в белое фигуры, чья голова и лицо как бы скрывались от его взора в морозной дымке, но руки, большие и чуть-чуть красные, были всегда явственно видны, неподвижно покоились на коленях, раздвинутых под белым ниспадающим одеянием. Фигура эта в его воображении как бы сидела в воздухе на высоте десяти — пятнадцати футов над полом широкого, беломраморного коридора, подавляя и усмиряя своими большими руками все, что оказывалось перед ними. Так удивительно конкретен был этот образ, что иной раз он не обращал к нему никакой молитвы, а просто стоял на коленях, чувствуя его над собой; и когда он поднимал наконец голову, какое-то ищущее выражение появлялось в его напряженном взгляде, а лицо наливалось кровью. Если же он молился, то сам едва ли знал, о чем, — разве только о том, чтобы быть таким же, как его божество, спокойно восседающее в воздухе над мраморным коридором.

Ибо в конечном счете это его божество, как и божество всякого человека, было лишь его собственным «я», неестественно раздутым и возведенным в идеал, лишь конкретизацией постоянно жившего в нем ощущения, что никому нельзя предоставлять свободу действий независимо от неподвижных холодных рук власти. Он сам никогда не осмелился бы действовать иначе как по указке этого своеобразного божества и уж менее всего был склонен предоставлять свободу действий другим. Это отсутствие доверия, возможно, было следствием естественного желания ставить всех и все на свое место и с детских лет давало ему право занять почти любой ответственный пост. А природа, распознав его, использовала его сотни тысяч раз, отбирая таких, как он, среди менее добродетельных и более доверчивых его собратьев и громоздя их штабелями, один на другой, пока не воздвигала из них храмов власти в каждом подразделении государства. При этом она предъявляла к нему всего лишь два требования: чтобы он не был доверчив и чтобы был согласен лежать под штабелем, находящимся сверху, пока не придет время ему самому оказаться наверху. Он был уже на примете еще тогда, когда маленьким мальчиком, гуляя с гувернанткой, сбивал палкой головки чертополоха и указывал правила игр своим братьям, чтобы они знали, во что играют. Она видела, как он брал за ошейник свою собаку и, присев на корточки, тыкал ее носом в печенье, которое та не хотела есть; она отмечала выражение его серых глаз, устремленных на маленького белого фокстерьера, который отчаянно пытался выдернуть голову из ошейника. Она сразу увидела, что он не верит, будто бедная тварь лучше его знает, хочется ей печенье или нет; для нее настал час есть это печенье, и, если даже, тыча собачку носом в печенье, он не мог заставить ее есть, он мог поставить ее в угол за то, что она не хочет есть печенье. Так природа поняла, что из года в год, шаг за шагом он будет все больше отдаляться от других, пока не попадет в холодные, безмолвные коридоры Власти, где беспрепятственно будет служить этой богине. Затем она с интересом наблюдала за ним в школьные и университетские годы, обдумывая, какое подразделение государства лучше всего строить с его помощью, ибо ей

было почти все равно, будет ли он снабжать продовольствием солдат, надзирать за просвещением или организовывать посадку в тюрьмы своих собратьев. Главным было стремление к порядку, а возможность мягко, но решительно накладывать руку на голову общества — желательной: в конце концов так или иначе кто-то должен был делать это, и, безошибочно угадывая пути наиболее экономного использования сил, природа увидела, что это должен делать он.

Итак, достигнув соответствующего возраста, он поступил на государственную службу и остался на ней, получая повышение за повышением.

Отлично сознавая, что его занятие приводит к ограниченности собственного мышления, он с самого начала заботился о том, чтобы сохранять гибкость ума: тренировал его чтением, словопрениями и привычкой рассматривать каждое дело со всех точек зрения, прежде чем вынести суждение; он и в самом деле часто становился на точку зрения другого, чтобы, придав ей правильность, доказать, что в действительности тот имел в виду нечто иное. И лишь когда ему возражали, в его глазах появлялось неприятное выражение и странная улыбка кривила его прямые губы между светлыми усиками и небольшой, выхоленной светлой бородкой. В такие моменты он вскидывал руки — красные, правильной формы, хотя великоватые, — как бы намереваясь обрушить их на голову или плечи нахала, осмелившегося перечить ему. Ибо, пребывая в уверенности, что он всегда рассматривает дело со всех точек зрения, прежде чем решить его, он знал, что он прав. Но он был осторожен и избегал самоуправства, понимая, что самоуправство никак не подобает бюрократу.

Сохраняя гибкость ума, он всегда был готов приветствовать прогресс в любой области; более того, это слово можно было часто слышать из его уст, и он видел в прогрессе необходимое условие благосостояния современного государства; лишь когда речь заходила о какой-либо конкретной форме прогресса, он испытывал сомнения. В таких случаях, медленно поглаживая бородку и беря в руки перо, если оно оказывалось под рукой, он начинал перечислять трудности. И оказыва-

лось, что они были более многочисленны, нежели это представлялось уму профана.

Во-первых, следует четко уяснить себе, как надо понимать прогресс; лично он и мысли не допускает, будто прогресс надо понимать как продвижение к худшему. При такой предпосылке возникает настоятельная необходимость спросить, созрело ли общество для того, чтобы воспринять так называемые реформы. Лично у него имеются серьезные сомнения на этот счет; он был бы рад, если бы его в этом убедили, но у него имеются очень серьезные сомнения. И его губы раздвигались в едва заметной улыбке, как бы говорившей: «Да, да, уважаемый сэр, вы весьма ловко оперируете словом «прогресс», и все мы согласны, что прогресс необходим. Но если вы полагаете, что мы поможем прогрессу, доверяя человеческой натуре,— нет, уж извините! Можете вы назвать мне хоть один прецедент? Вне всякого сомнения, можно доверять себе, ибо у тебя есть чувство долга перед своим божеством, но людям в массе?.. Подумайте минуту, и вы увидите, что, в сущности, они совсем лишены чувства долга и ответственности. Вы говорите, что хотите воспитать это чувство, но, уважаемый сэр, если мы будем воспитывать его, что станется... с правительством? Можете мне поверить: чувство долга является исключительным достоянием тех немногих, кому его прививали. Не думаю, что было бы разумно идти хоть на малейший риск в столь серьезном деле. Узы, которые связывают всех нас, а меня удерживают на моем месте, это сложная машина нравственности. Государства каждодневно подрываются разрушительными силами, и если учесть, что я нахожусь на своем посту — благодаря естественному отбору, разумеется, отнюдь не случайно — для охраны корабля государственности, я вовсе не намерен способствовать тому, чтобы следующая волна разнесла его на куски. «Все дело в том,— скажете вы,— насколько назрела необходимость». На мой взгляд, это очень опасная словесная увертка. Я нисколько не сомневаюсь, что во все времена все так называемые реформы вводились при помощи этого выражения. Вы глубочайшим образом заблуждаетесь, слишком доверяя человеческой натуре. Можете мне поверить, если бы вы были на моем месте и столь же близко, как я, видели подоплеку всего

и поработали бы, как я, в атмосфере власти, если бы вы знали, каких мучений и трудов стоит что-либо изменить и как неблагодарны люди, на которых работаешь, вы очень скоро получили бы совсем другое представление о необходимости того, что вы называете реформой. Вы не должны забывать, что государство стремится устроить все ко всеобщему благу и что я всего-навсего служащий государства. Сейчас, до того, как я смогу уйти, мне предстоит по крайней мере три часа заниматься важными вопросами (которые вы, несомненно, презираете), связанными с государственными делами, а для меня вопрос долга и чести — исполнять свои обязанности как следует. Так что уж извините, что прекращаю разговор на эту тему, хотя, конечно, я по-прежнему всегда готов внять чужим доводам. Прогресс необходим, с этим все должны согласиться, но, уверяю вас, в данном случае вы ошибаетесь».

Улыбка сходила с его губ, и, провожая непрошеного гостя к двери, он вежливо отворял ее. Затем, стоя в мраморном коридоре, он устремлял взор поверх удаляющейся спины посетителя. Там, вверху, сложив большие красные руки на коленях, раздвинутых под белым ниспадающим покровом, сидела Власть, его божество; и в душной, пыльной атмосфере коридора возносилась безмолвная молитва, настолько безотчетная и привычная, что слова были не нужны:

«О великий образ, поставивший меня на это место! Зная, как тебе и надлежит знать, слабости моих ближних, дай мне власть следить за тем, чтобы они хорошо вели себя; позволь мне предписывать моральную и социальную диету, которая им требуется. Ибо, пребывая на этом месте, я с каждым днем, с каждым часом все яснее понимаю, чего они действительно хотят, и все более убеждаюсь, что с твоей помощью смогу дать им это. О великий образ! До того, как ты поставил меня на это место, я не был уверен ни в чем, но теперь благодаря тебе все с каждым днем становится для меня яснее и определеннее и дух мой все меньше мятется. Пусть и дальше так будет, о великий образ, пока он совершенно не успокоится и я не стану таким же холодным, безмолвным и неизменным, как этот мраморный коридор».

ДОМ БЕЗМОЛВИЯ

Там, внутри, за высокими серыми стенами,— безмолвие.

Под квадратом неба, замкнутым высокими серыми зданиями, не видно ничего живого, кроме заключенных, да тюремщиков, да кота, который охотится за тюремными мышами.

Этот дом полнейшего безмолвия содержится в полнейшем порядке, словно здесь поработал сам господь бог,— ни грязи, ни спешки, ни медлительности, ни смена. Здесь все налажено, как хорошо смазанная машина, неизвестно зачем пущенная в ход. И все люди в его стенах тоже действуют, как заводные механизмы, день за днем, год за годом. Солнце восходит, солнце заходит, а в Доме безмолвия все остается неизменным.

Его обитатели с клеймом на желтой арестантской одежде обязаны работать. Каждого, когда он попадает сюда, измеряют, взвешивают и выслушивают, и в соответствии с записью, сделанной против его номера, ему назначается его доля безмолвного труда и ровно столько пищи, чтобы заключенный в силах был выполнять свою работу. Он делает ее изо дня в день, и если это работа сидячая, ему полагается час в день шагать по голому двору, посыпанному гравием, от одного наmaleванного на стене номера до другого. Каждое утро, а по воскресеньям — два раза в день, он вместе со всеми молча идет в церковь и там голосом, который стал почти беззвучным, славит безмолвного бога заключенных; это единственное излишество, которое ему дозво-

лсно. Его жадные уши ловят слова священника, и он сидит неподвижно среди других заключенных, физически наслаждаясь звуками человеческого голоса. Смысл слов от него ускользает, ибо он опьянен музыкой речи.

Прежде чем его допустили в этот Дом безмолвия, он вытерпел, как полагается, полгода полнейшего одиночества, и теперь в маленькой, выбеленной камере с темным полом, который он тщательно моет, остается наедине с собою всего четырнадцать часов из двадцати четырех, не считая воскресений, когда он проводит здесь двадцать один час, потому что этот день посвящен богу. Он проводит эти часы, шагая из угла в угол, бормоча про себя, прислушиваясь к малейшему звуку извне, не сводя взгляда с маленького «глазка», в который его могут видеть, а ему ничего не видно. Около его кружки и начищенной до блеска оловянной миски, щетки с жесткой черной щетиной и куска мыла возвышается пирамидка душеспасительных книг. Ни звук, ни запах, ни одно живое существо, будь то хотя бы паук, не нарушают его общения с богом — мешает только его чувство юмора. Зато уж ничто решительно не мешает ему шагать из угла в угол, прислушиваться к малейшему звуку, лежать, прижавшись лицом к полу, пока наконец не наступит темнота и можно будет глядеть в нее и молить, чтобы сон, единственный друг заключенных, коснулся его крыльями. И так день за днем, неделя за неделей, год за годом — в соответствии со сроком, указанным против имени, которым звали его там, за этими стенами.

В мастерских Дома безмолвия стоит та же тишина, — слышится только постукивание инструментов. Люди с клеймом на желтой одежде работают поразительно усердно. Их руки, ноги, глаза в непрестанном движении; не шевелятся только губы. На них не увидишь улыбки — ведь здесь царит строгий порядок.

На всех лицах застыло одинаковое выражение, словно эти люди хотят сказать:

— Нас ничего не интересует, мы ни на что не надеемся, мы так работаем, чтобы заглушить в себе ужас.

Их тусклые глаза немедленно приковываются к тому, кто пришел, чтобы стать свидетелем их молчания; и в глубине этих глаз, любопытных, гневных или подо-

зрительных, таится какой-то вызов, будто в этом посетителе они видят тот мир, из которого их вышвырнули, миллионы свободных людей, не осужденных на одиночество с утра до вечера, изо дня в день, людей, которым не запрещено говорить; будто в этом посетителе они видят Общество, которое вскормило их, воспитало и довело до крайней степени того физического и духовного гнета, когда остается только один выход — преступление, искупаемое этими долгими годами безмолвия; будто в самом звуке шагов и в тихих вопросах непрощенного посетителя они слышат приговор людского правосудия:

«Вы были опасны! Вас, неполноценных от природы, жизнь сделала духовными пигмеями, и вы пришли к преступлению. Поэтому, чтобы охранить себя, мы упрятали вас под замок. Вы будете здесь работать, ничего не видя, не слыша, не чувствуя, без ответственности, без инициативы, лишённые возможности общаться с себе подобными. Мы позаботимся о том, чтобы вас содержали в чистоте, кормили настолько, чтобы вам не умереть с голоду; вас будут осматривать и взвешивать и давать одежду, но только самую необходимую, чтобы прикрывать наготу днем и ночью. Вы будете посещать церковную службу; работу распределят между вами в соответствии с вашими силами. Телесные наказания будут применяться очень редко. И чтобы вы не могли причинить нам новые неприятности и оказывать дурное влияние друг на друга, вы будете жить в безмолвии и, по возможности, в одиночестве. Вы погрешили против Общества; у вас был дурной образ мыслей. Было бы лучше, если бы благодаря нашим стараниям вы расстались с эгим образом мыслей! По причине, которую мы не можем постичь, у вас с самого начала был очень слаб социальный инстинкт; этот слабый социальный инстинкт скоро стал еще слабее. Вот почему вы должны, пройдя через горькие раздумья и вечное безмолвие, через ужас одиночных камер и уверенность в том, что вы пропащие люди, не нужные, совсем не нужные ни для кого, ни для чего на свете, начисто лишиться социального инстинкта. Мы человечны и вооружены знаниями, мы переросли варварские основы устаревшего закона. Мы действуем лишь во имя нашей безопасности и вашего блага. Мы

верим в перевоспитание. Мы не мучители. При помощи одиночества и безмолвия мы сокрушим ваш дух, чтобы вселить совершенно новые души в ваши тела, о которых мы проявляем такую заботу. В безмолвии и одиночестве нет настоящего страдания — так мы полагаем, ведь мы сами за всю свою жизнь не провели ни одного дня в безмолвии, ни единого дня в одиночестве».

Вот что, судя по выражению их глаз, слышат люди в желтом, и вот какой ответ можно прочесть в этих глазах:

«Начальник! Вы говорите — сам я виноват, что угодил сюда, несмотря на полученное воспитание, — ну, еще бы, ведь я родился в роскоши, на Брик-стрит, Хамёрсмит. Мой отец никогда не имел дела с полицией — он попадал туда только во время припадков падучей; лучше бы он не был моим отцом и лучше бы мне не иметь такую мать, — она с горя пристрастилась к рюмке, вот я сызмальства и рос дикарем. Вся беда в моей вспыльчивости. Парень, который ухлестывал за моей девушкой, хорошо это знает, — он два года пролежал на спине после того, как я с ним как следует расправился. И вот меня решили перевоспитать. Да так усердно взялись за это, что для начала дали мне шесть месяцев одиночки. И все эти шесть месяцев я спрашивал себя: «Если бы меня выпустили и если бы он опять стал увиваться вокруг моей девушки, как бы я поступил?» И отвечал: «Я опять отделал бы его как следует». Вы говорите, не надо было об этом думать. А больше ведь не о чем было думать, начальник. Только об этом да еще гадать, что делается на воле, пока я тут заживо погребен. Вы уверены, что одиночество должно было быть мне очень полезно, — оно и впрямь так. Я совсем переменялся. Ну и вот вышел я на волю и сразу сделал большую ошибку: я, бывший арестант, захотел жить честным трудом, словно я никогда и в тюрьме не сидел. Ремесло плотника или какое-нибудь другое, для которого нужны надежные люди, — не для меня: люди ведь не очень-то любят пускать к себе в дом тюремную пташку! И, значит, мне надо было заняться такой работой, которая не требует общения со своими ближними. Вы говорите, мне нужно было возлюбить ближнего своего. Но дело-то в том, начальник, что, когда я вышел из тюрьмы,

я для этого уже совсем не годился. А когда человек пал духом, начальник, его тянет на выпивку; хочется согреть нутро, подбодриться. И вот, когда заведется в кармане шесть пенсов, ты их и выкладываешь за горяченькое. Вы скажете, что это скверно. Но знаете, выпивка придает духу человеку, которому в поисках работы остается только надеяться на любовь своего ближнего.

...Ну вот, скоро опять захотели меня исправить и наградили новым приговором: опять шесть месяцев одиночного заключения. А когда тебе ничего не остается, как только мучиться и молчать, когда ты вот-вот ума лишишься, оттого что нет ему никакой пищи, когда с утра до вечера, день за днем чувствуешь себя жалкой бессловесной тварью, крысой, попавшей в капкан,—то в конце концов не выдержишь и кинешься на стражника,—он для тебя то же, что кот для крысы. На этот раз, начальник, я уж должен был выйти на волю совсем другим человеком. Так оно и было. Я должен был настроиться на другой образ мыслей, ведь мне очистили душу и научили меня любить бога. Но вот я стал думать с утра до вечера, день за днем, да так и не мог додуматься, что же я такого сделал, чего другой на моем месте не решился бы сделать. И надумал идти своей собственной дорогой, не слушая вас больше. Иду этой дорогой, и считаюсь с тех пор совсем отпетым, как вы сами можете теперь видеть. А если спросите меня, что я думаю обо всех вас, которые там, на воле, я вам ничего не отвечу, ведь мне говорить не дозволено...»

Вот что, мне кажется, говорят заключенные, беззвучно шевеля губами.

А стражник следит за движением их губ, и его глаза, глаза сторожа в зверинце, словно предупреждают:

— Проходите, пожалуйста, сэр, не то заключенные придут в возбуждение. Здесь больше нечего смотреть!

И посетитель выходит на тюремный двор. К старому серому зданию пристраивают новый корпус; он уже высоко поднялся к квадрату неба. На деревянных лесах стоят заключенные, укладывая камни. Они работают на стофудовой высоте и старательно строят надежные камеры, чтобы потом туда, за выбеленные известкой стены, упрятали их самих; старательно возводят толстые стены; старательно подгоняют камень к камню

и замазывают промежутки между ними, чтобы ни одно живое существо, даже самое маленькое, не могло потом проползти внутрь и разделить с ними одиночество; старательно оставляют оконные проемы на такой высоте, чтобы самим же потом до них не дотянуться, чтоб из этих окон можно было смотреть только в пустоту; помогают стирать самих себя из памяти всех, кто не погрешил против созданных людьми законов, ибо людям хочется позабыть о приговоренных к безмолвию и одиночеству, — ведь вспоминать о них так неприятно. Над ними небо серо, под небом сереют они; вниз доносится только приглушенное постукивание их инструментов о камни.

Посетитель уходит с тюремного двора и направляется к тюремным воротам, а навстречу ему входят в ворота трое осужденных; самый рослый — посредине — уже старик, у него твердый шаг, серая щетина пробивается на загорелом, обветренном лице. В его глазах, устремленных на посетителя, вспыхивает огонек; он осклабился, показав желтые зубы. Вот губы его зашевелились, с них слетают слова. Так в непогожий день сквозь темные тучи вдруг проглянет солнце, свидетельствуя о красоте земного бытия. Эти слова — бесценное доказательство очистительного действия одиночного заключения, единственные слова, которые можно услышать в Доме безмолвия, тихо звучат в тюремном воздухе: «Эх, ты!..»

ПОРЯДОК

Мы вышли из тюремной кухни и пошли по коридору. Старый надзиратель в темно-синей форме с низко надвинутой на лоб фуражкой, из-под которой виднелись прямые с проседью брови, остановился.

— Вот здесь,— сказал он,— наша сокровищница.— И, сняв с пояса ключ, отпер железную дверь.

Арестант с желтым лицом, в желтой одежде с тюремным штемпелем и куском желтой кожи в желтой руке глянул в нашу сторону, потупился и с безмолвной рабской покорностью, проскользнув мимо нас, скрылся за дверью. Теперь мы стояли одни среди сокровищ, которые он, очевидно, чистил.

— Мы в шутку зовем эту кладовую сокровищницей,— сказал старый надзиратель и в первый раз за все утро улыбнулся, но улыбка сразу же исчезла с его лица, глаза снова погасли.

Есть люди, у которых всегда таится в глазах этот мрак, как будто целиком посвятив себя служению жестокостям мира, они загубили свою душу.

Старик снял со стены один из экспонатов и протянул его мне. Два легких стальных браслета, соединенные легкой стальной цепочкой.

— Вот что теперь носят, если это необходимо.

Ни одна кладовая при конюшне, где хранят сбрую и где повсюду блестят уздечки, удила, шпоры, не могла бы сравниться с этой кладовой. Все четыре ее стены от пола и до потолка были увешаны всевозможными «драгоценностями», сверкающими, как бриллианты: тяже-

лыми и легкими наручниками, всякими цепями — короткими и длинными, стальными и железными, тонкими и массивными.

— Все это устарело и вышло из моды, — сказал надзиратель.

— А это?

То, на что я указывал, стояло совсем близко: три блестящих стальных бруска, соединенные вверху и широко расставленные у основания, были посередине скреплены поперечными брусками.

— Это треугольники, — сказал он несколько поспешно.

— Вы часто применяете телесные наказания?

Надзиратель посмотрел на меня с удивлением. «У вас не хватает такта», — прочел я в его глазах.

— Нет, очень редко, — ответил он. — Только в случае необходимости.

И, не сознавая того, что в его словах выразилась самая суть той системы, которой он служил, суть всех подобных систем, он щелкнул каблуками, как бы салютуя дисциплине и порядку.

Ни в лице старика, суровом, но не злом, ни в его прямой, подтянутой фигуре не было ничего вызывающего отвращение. Но мне вдруг показалось, что мы не одни: неисчислимое множество блюстителей порядка выстроилось рядом с ним, заполнило всю комнату, поднимаясь все выше и выше по живой лестнице, — на моих глазах росла внушительная бюрократическая пирамида, подобная стальным треугольникам. Чиновники стояли прямые, подтянутые, и каждый из них произносил: «Только в случае необходимости». Как безукоризненно чисты были линии этой незыблемой пирамиды, как гладко отшлифована ее поверхность! Идеально правильная пирамида из людей, спаянных родством душ, прочная, как древняя каменная кладка, застывшая в своей мертвой неподвижности. А глаза всех этих блюстителей порядка — голубые, черные, серые и грустные светло-карие — упорно смотрели в одну точку с одинаковым выражением, словно говорили: «Отойдите, пожалуйста, не касайтесь пирамиды».

Повернувшись к треугольникам спиной, старый надзиратель повторил:

— Только в случае необходимости.

— А когда возникает такая необходимость?

— На это есть правила.

— Я понимаю, но кто их устанавливает?

— Существующая система.

— А вам известно, как она возникла?

Надзиратель нахмурился — нашли о чем спрашивать!

— Это не моего ума дело, — ответил он с легким раздражением и отвернулся, как бы предлагая: «Спроси об этом стоящего за мной!»

Напрягая зрение, я попытался рассмотреть вершину пирамиды, но она была слишком высоко.

— Мы должны поддерживать порядок, — заявил вдруг надзиратель, решив, видно, отстаивать свою точку зрения.

— Ну, разумеется. И все, что есть в этой комнате, служит именно этой цели.

— Да, все, чем мы теперь пользуемся.

— Ах, вот как! Но вы, кажется, говорили, будто кое-что устарело.

— Да, тяжелые наручники уже ни к чему, и толстые железные кандалы тоже устарели.

— У них и в самом деле какой-то странный варварский вид.

Он улыбнулся:

— Что ж, пожалуй.

— А вы можете мне объяснить, почему от них отказались?

Старику, видно, снова захотелось уклониться от ответа и кивнуть на кого-то, стоящего сзади.

— Нет, этого я не могу объяснить. Вероятно, отпала необходимость.

— А когда они были в ходу, начальство полагало, что это необходимо?

— Безусловно, иначе ими и тогда бы не пользовались.

— Никому, верно, и в голову не приходило, что мы, увидев эти предметы, назовем их варварскими.

Старик посмотрел на тяжелые кандалы.

— Их просто надевали и не раздумывали, плохо это или хорошо.

— Очевидно, считали, что они необходимы для поддержания дисциплины.

— Вот именно.

— И тогда дисциплина была лучше?

— Ну, нет. Порядок нарушали чаще, чем теперь. Говорят, тогда было куда больше хлопот с арестантами.

— А если бы кто-нибудь доложил начальству, что пользы от этих громоздких вещей никакой, его бы, наверно, подняли на смех?

Надзиратель улыбнулся.

— Конечно.

— А если через несколько лет сюда придут люди, увидят треугольники и все эти сокровища и назовут нас варварами — что тогда?

Он нахмурил брови.

— Едва ли назовут, — сказал он. — Мы ведь не можем обойтись без них.

— Вы считаете, что это невозможно?

Старику снова захотелось кивнуть назад.

— Да, — сказал он мрачно. — Мы не можем обойтись без них.

— И, по-вашему, даже попытаться было бы опасно?

Он покачал коротко остриженной головой.

— Я против таких попыток. Мы должны поддерживать порядок.

— Но ведь когда запретили сковывать людей этими тяжелыми цепями, наверное, тоже считали, что идут на риск?

— Мне об этом ничего не известно, — холодно произнес старик.

— Значит, существующий порядок установлен навечно?

Он повесил наручники на гвоздь и, резко обернувшись, словно опасаясь удара сзади, сказал:

— Нас это не касается. Мы только исполнители и подчиняемся нашей системе, такой, какая она есть, а ко всему этому прибегаем лишь в случае необходимости.

— Так вы считаете вопрос решенным?

— Не мое дело решать такие вопросы, — сказал он с достоинством, положив руку на треугольник. И как только он произнес эти слова, у него за спиной снова выросла живая пирамида превосходно подогнанных

друг к другу людей с совершенно одинаковым выражением глаз — как у строгого наставника, — живая пирамида, обращенная в камень силой своей незыблемости. Мне даже послышался ропот одобрения, но оказалось, что это всего лишь скрежет треугольников, которые отодвинул надзиратель.

Потом старик подошел к двери, отворил ее, и, следуя его молчаливому приглашению, я вышел за ним. В дверях я оглянулся на ослепительно блестящие «драгоценности». Они висели на стене вокруг треугольников; и вдруг все с той же безмолвной рабской покорностью в комнату проскользнул арестант с желтым лицом, в желтой одежде с тюремным штемпелем и куском желтой кожи в руке. И прежде чем дверь с лязгом захлопнулась за ним, я увидел его за работой; он старательно чистил и без того сверкавшие «драгоценности».

С тех пор я часто вижу его во сне: один среди этих эмблем идеального порядка, он молча и сосредоточенно работает. А порой мне снится, что меня ведет куда-то старый надзиратель; у него очень строгое, неулыбчивое лицо и глаза, в которых застыла грусть о чем-то безвозвратно потерянном.

МАТЬ

Она шла, словно очень торопясь, тенью скользя вдоль оград домов. Глядя на ее тщедушную фигуру в заношенном черном платье, едва ли можно было предположить, что она родила шестерых сыновей. Под мышкой у нее был маленький узелок; она всегда носила его с собой по домам, в которых работала. И лицо у нее было худое, с усталыми карими глазами, обрамленное черными, мягкими, как шелк, волосами, выбивавшимися из-под черной соломенной шляпы; глядя на это лицо, помятое и костистое, как вся ее фигура, никак нельзя было подумать, что жизнь наделила ее достаточной силой, чтобы рожать детей.

Хотя еще не было и девяти часов, она уже проделала дома все, что можно было сделать в двух комнатах, где жила их семья: разожгла огонь под плитой, умыла младших мальчиков, приготовила завтрак на четверых, еще не ходивших в школу, подмела пол, застлала одну постель — в другой все еще лежал муж — и подала мужу чай. Она нарезала хлеб к полднику для двух старших сыновей, завернула его в газету и положила на подоконник — уходя в школу, они возьмут его с собой. Затем она отсыпала порцию угля на весь день, дала старшему сыну денег на покупку каждодневной пачки чаю и сахару, выстирала кое-какую драную одежонку, заштопала пару штанишек, надела шляпу, даже не взглянув в треснувшее зеркало, и поспешила из дому. Так как каждый пенс был у нее на счету, она ходила пешком.

Сняв черную соломенную шляпу и переодевшись в синий холщовый халат, который почти закрывал ее рваные башмаки с подметками, изношенными до толщины оберточной бумаги, она, можно сказать, была готова приступить к работе. И пока она, стоя на коленях, скребла и чистила медную посуду, какое-то приятное чувство покоя охватывало ее; глядя в зеркальную глубину натертой до блеска меди, она не думала ни о чем. Но бывали утра, когда работа подвигалась туго. Это случилось тогда, когда муж, вернувшись из пивнушки с очередных ночных словопрений, избивал ее ремнем, чтобы показать, что он над ней хозяин. В такие утра она возилась с посудой дольше обычного, зачастую приходилось чистить ее дважды, поднося совсем близко к глазам. А в голове без конца стучала мысль: «Ему не следовало бить меня, не следовало так обращаться со мной, матерью его детей». Вот как далеко заходила в мыслях эта простодушная женщина, но не дальше: ей никогда не приходило в голову, что ее сыновья, рожденные и воспитанные пьяницей-отцом, когда-нибудь продолжат его славные традиции. И очень скоро — поскольку все это было ей не впервой — она переставала размышлять об этом и, склонившись над зеркальной поверхностью меди, которая странно сплющивала и округляла ее лицо, снова работала без единой мысли в голове.

Внизу в кухне, где она обедала, она никогда не говорила о своих неприятностях, боясь, как бы это не повредило ее репутации. Она вообще говорила мало; ей не о чем было говорить, и она не могла считаться интересной собеседницей. Но время от времени в ней что-то прорывалось, и тогда она изливала на сыновей монотонный эпический монолог; казалось, вопреки всему, она видит заслугу в том, что родила их. Из-за этих словоизвержений, которые случались не реже раза в неделю, ее дома считали неисправимой болтушкой.

После полудня она чистила не посуду, а другие вещи. Домой отправлялась в шесть часов. Опять надев свое черное платье, она скользила в сумерках вдоль оград, по-прежнему торопясь и еще более похожая на тень. В одной руке (показывая свои руки какой-нибудь женщине, чьи нежные руки в кольцах восхищали ее, она обычно

говорила, как бы оправдываясь: «У меня такие ужасные руки, мам!»), в одной красной, загорбелой руке она сжимала маленький сверток со съестным, которое ей давали в приплату, в другой — заработанные деньги.

Она переходила Хай-стрит, ныряла в узкий, темный переулок, делала покупки в магазине и спешила дальше. Подойдя к дверям своей квартиры, она останавливалась и прислушивалась, пытаясь угадать, вернулся ли муж; она делала так всегда, хотя, в сущности, все равно надо было подниматься наверх, так как сыновья-то, во всяком случае, были дома и ждали, когда их накормят. Бесшумно взойдя по узкой лестнице, своеобразный запах которой она никогда не замечала, она входила в первую комнату. Тут сидели или валялись на кровати четыре ее сына; устремив глаза на дверь, они сердито задирали друг друга, как молодые птенцы, ждущие пищи. Сняв шляпу, мать присаживалась, чтобы перевести дух. Но, видя, что она сидит и ничего не делает, сыновья принимались тормозить ее: дергали за рукав, трясли стул, на котором она сидела, а самый младший, случалось, лез целовать ее своим маленьким грязным ртом. Тогда она вставала и начинала чистить картошку. Она чистила ее быстро, ловко работая ножом совсем близко от своей тощей груди, а мальчики, напустив на себя равнодушие, теперь, когда она взялась за дело, опять начинали беспрестанно задирать друг друга, бросая между тем нетерпеливые взгляды на усердно работавший нож и падавшие на пол желтые ленты кожуры. Если мать не чувствовала себя слишком усталой, она время от времени покрикивала на них, но запас слов у нее был ограниченный: все, что она говорила, было уже не раз сказано, и сыновья почти не обращали внимания на ее нотации. Все же они хорошо к ней относились и предпочитали ее общество обществу отца.

Немного спустя нож замирал в ее руках, голоса сыновей затихали: с лестницы слышались шаги отца.

Он входил в своем старом зеленом пальто, шарфе и грубых башмаках; тяжелый взгляд его говорил: «Я иду путем, который уготовила мне жизнь, и для меня это подходящий путь!» В зависимости от настроения, иногда веселого, иногда угрюмого, он разговаривал или хранил молчание, и в этом молчании слышался хруст сре-

заемой ножом кожуры, шум стряпни, стирки и разборки постелей, а под самый конец — едва уловимый шорох материи под иглой.

Но в субботу все бывало иначе, так как в субботу муж возвращался не раньше, чем закрывалась пивнушка. В такие вечера ее сердце начинало колотиться уже с восьми часов и стучало все громче по мере того, как проходили часы, так что под конец, по ее собственному выражению, ей казалось, что она «вот-вот свалится». В эти часы, когда сыновья уже спали, какой-то странный яд разливался в ее душе, какая-то скрытая лихорадка протеста против побоев, которые посыплются на нее, если он придет пьяный. То оживал некий дух строптивости, данный ей провидением; он как бы накликал эти побои, можно сказать, напрашивался на них, но вместе с тем помогал ей выстоять. Когда часы на ближайшей башне били полночь, ее сердце падало, и, лежа под грязным, вонючим ватным одеялом, она пыталась притвориться спящей. Старая, тщетная уловка — и все же она каждый раз прибегала к ней, ибо ее ум не отличался изобретательностью. Немного погодя раздавались шаги мужа; медленные, неуверенные, они слышались все ближе, прерываясь остановками, бормотанием сквозь зубы и время от времени глухим шумом падения. Ее дыхание становилось прерывистым, а глаза впивались в квадрат двери, смутно видный в свете потрескивающей свечи. Дверь медленно растворялась, и он входил. Сквозь щелки прижмуренных глаз она видела, как он стоит, покачиваясь, на пороге. И внезапно гневная мысль, что вот он явился, этот пьяница, пропивающий и ее и свой заработок, оглушала ее; страх бесследно исчезал. Хотя он мог сейчас сорвать с нее одеяло, вытащить ее из кровати и осыпать ударами, — в эту минуту в ней кипела лишь острая, ядовитая злоба, неудержимо рвавшаяся с языка и из глаз. Только когда он отпускал ее и, повалившись на кровать, засыпал мертвецким сном, она ощущала боль от побоев. Едва передвигая ноги, заползала под одеяло и укрывалась с головой.

Но в иные субботние вечера он приходил до двенадцати; встав у двери, глядел на жену, отвесив нижнюю губу и слегка покачиваясь. По его лицу распол-

залась плотоядная усмешка, и он окликал жену по имени.

Тогда она знала, что обязанности ее еще не все выполнены. И без улыбки на усталом лице, без радости в изнуренном теле, без единой мысли в отупевшем мозгу, мысли о тех бесчисленных детях, которых она родила этому всегда полупьяному человеку, или о тех бесчисленных детях, которых ей еще предстоит родить,— она лежала в своей убогой кровати и ждала.

БЛАГОПОЛУЧИЕ

Они занимали квартиру на шестом этаже. С одной стороны окна выходили в парк, с другой — сквозь ветви вяза виднелся ряд домов с такими же комфортабельными квартирами, как их собственная. Было очень приятно жить на такой высоте, куда не достигали ни шум, ни раздражающие запахи, где приходилось видеть только людей такого же сорта, как они сами. Ибо они — совершенно безотчетно — давно поняли, что самое лучшее — не видеть, не слышать и не обонять всего того, что им неприятно. В этом отношении они ничуть не отличались от многих других. Они приспособлялись к окружающей жизни так же естественно, как животные Арктики обрастают густой белой шерстью, а голуби рождаются с маленькими головами и настолько плотным грудным оперением, что охотникам остается только стрелять им в хвост. Супружеская чета, о которой я хочу рассказать, в некоторых отношениях была схожа с голубями — так же хорошо защищена и так же привлекательна на вид. Разница между ними и этими птицами заключалась только в том, что такие люди бескрылы и неспособны к взлетам... В общем же, это была приятная и дружная чета, очень здоровая, делавшая все то, что им полагалось, а дети у них — сын и две дочурки — были прелестные, лучших и желать нельзя. И если бы мир состоял целиком из таких людей и их потомства, — право, он был бы подобен дивной стране Утопии.

Каждый день в восемь часов утра они, лежа в постели и попивая чай, читали полученные письма. По-

винуясь необъяснимому инстинкту, заставляющему человека оставлять лучшее напоследок, они начинали с тех писем, которые даже внешним своим видом напоминали об изнанке жизни. Просмотрев их, муж и жена обменивались мнениями: такой-то, по-видимому, заслуживает благотворительной помощи, но такой-то, к сожалению, — безнадежный субъект. А присланный подписной лист опоздал, они только вчера внесли свою лепту. Подобные вести из внешнего мира были не очень многочисленны: обитателей отдельной квартиры не беспокоили всякими поборами и постоянными напоминаниями об их общественных обязанностях, вплоть до обучения чужих детей. Швейцар не пускал в лифт нищих и просителей, и к тому же муж и жена оба решительно отказывались вступать в различные общества, находя, что уж слишком много их развелось.

После писем неприятных они читали приятные. Из закрытой школы писали о том, как хорошо чувствует себя там их мальчик. Леди Баглосс приглашала на обед в такой-то день. Отдыхавшая на юге Франции Нетта сообщала, что там убийственная погода.

Наконец супруги покидали спальню: он шел в ванную, она — поглядеть, спят ли дети. Они снова встречались за завтраком и читали газету. Газета, которую они выписывали, пропагандировала искусство делать жизнь приятной и благополучной. Когда же она бывала вынуждена констатировать явления внешнего мира, чуждые кругу ее читателей, она это делала внушающим доверие способом, как бы говоря между строк: мы, орган свободной мысли и свободного слова, предлагаем вам, любезные читатели, рассматривать эти мелочи с точки зрения, освященной нашими традициями. Мы знаем, что эти явления были, есть и будут. В жизни не все совершенно, и ставить на одну доску несовершенное с совершенным было бы противно естественным законам природы. Поэтому, если мы и пишем об этом, то пишем так, чтобы вы могли воспринять эти факты с нашей традиционной точки зрения, не преувеличивая их масштаба.

Пробежав глазами такого рода заметки, супруги переходили к сообщениям, имеющим более злободневный интерес: прочитывали речи одного представителя оппо-

зиции в парламенте и приходили к заключению, что сей государственный деятель, вероятно, плут и уж, во всяком случае, дурак. Затем они изучали объявления (так как серьезно подумывали о покупке автомобиля) и отчет о событии международного значения — крикетном матче между Австралией и Англией. Читали они также отзывы о книгах и спектаклях и старательно записывали названия тех, которые могли доставить им удовольствие, а также отмечали те, которые этого не обещали. «Пожалуй, можно будет сходить на этот спектакль. Пьеса, кажется, недурная», — говорила жена. «Что ж, сходим», — отзывался муж. «А этот роман ты в список не вноси, я вовсе не намерен его читать». Потом опять наступало молчание, они сидели, держа перед собой развернутые листы газеты, словно щит, заслоняющий их сердца. Случалось, газета рекомендовала книги, чтение которых омрачало настроение, ибо из книг этих было видно, что в мире не всем живется хорошо. Прочитав такую книгу, супруги не столько сердились на рекомендовавшую ее газету, сколько огорчались, и час-другой бывали молчаливы, но потом решали, что нет никакого смысла принимать близко к сердцу темные стороны жизни. «Разумеется, очень печально, что они существуют, но ведь у всякого свои заботы. И если разобраться, то почти всегда оказывается, что люди сами виноваты в своих несчастьях». Впрочем, газета редко подводила их, и они не лишали ее своего доверия. Они ли сделали эту газету такой, какая она есть, или, наоборот, она сделала их такими? Это одному богу известно.

Они сидели за столом и, завтракая, часто поглядывали друг на друга с дружеской нежностью. «Ты — мое утешение, а я — твое», — говорили эти взгляды.

Лицо у женщины было свежее, с упругими и круглыми щеками, высокие скулы почти касались темных орбит ее серых глаз. Волосы блестели так, словно на них всегда падал солнечный луч, и мягко ложились на чисто вымытые розовые ушки. Подбородок только едва намечался на ее круглом лице. У мужа щеки были не так упруги и четко очерчены. На этих плоских щеках разлит был темный румянец, жесткие рыжеватые усы обрамляли плотно сжатые полные губы. Его профиль внушал смутное подозрение, что когда-нибудь аппетиты этого

человека возмут верх над тяготением к спокойной и уютной жизни.

После завтрака супруги расходились: он отправлялся по своим служебным делам, она — за покупками, а потом с визитами. Во всем, что они делали, была целеустремленность и простодушная уверенность в важности того, что делалось. Чутье, в своем роде гениальное, подсказывало им, чего следует избегать. Они всегда твердо знали, что им нужно, и умели этого добиваться.

За обедом они рассказывали друг другу обо всем, что произошло за этот полный событий день: он — какие рискованные операции пришлось проделать у Ллойда, где он служил страховым агентом, она — какое заказала платье и как, побывав на выставке картин, увидела там одного из членов королевской фамилии. Он успел также зайти к Тэттерсэлу поговорить насчет пони для сыночка, который приедет из школы на каникулы, а она в конторе по найму опросила трех кухарок, но ни одна не оказалась подходящей. Приятно слышать такую спокойную беседу за столом в уютной домашней обстановке, беседу, полную взаимного понимания и уверенности каждого из собеседников в искреннем сочувствии другого!

Иногда они возвращались домой расстроенные или возмущенные, когда им попадалась на глаза бездомная собака или свалившаяся на мостовой загнанная лошадь, которую доконали жара и непосильная работа. Обоих супругов как-то особенно трогали страдания животных. Закрывая руками розовые уши, жена восклицала: «Ах, Дик, как это ужасно!» А он говорил: «Ну-ну, не принимай всего так близко к сердцу, дорогая». Когда же им встречались несчастные, страдающие люди, они, вернувшись домой, редко говорили, а может, и не помнили о них, отчасти потому, что это было такое обычное явление, отчасти же потому, что они слушались своего инстинкта. А инстинкт твердил: «Если станешь обращать внимание на то, что творится у тебя перед глазами всякий день и час, то либо потеряешь покой и придется уделять несчастным время, сочувствие, деньги, причиняя этим вред, так как помощь лишает людей независимости,—либо станешь циником, а это отвратительно. Так лучше замкнись в своем саду и никогда не выглядывай

наружу. Тогда ты не будешь видеть, что происходит вокруг, а чего не видишь, того словно бы и не существует!»

Несомненно, еще глубже и прочнее укоренилось в этих людях бессознательное убеждение, что они — достойнейшие представители общества. Не проверяя разумом своей смутной уверенности, они безотчетно понимали, что такими сделало их благополучие и мирное существование их отцов, их самих и их детей, и, если они позволят чему-нибудь нарушить этот мирный уют, нервы их не выдержат — и прощай покой и довольство! Глубокий инстинкт, вложенный в них природой, подсказывал им: бесполезно уделять внимание тому, что не способствует сохранению их собственного благополучия и благополучия их потомства. Надо думать только о том, как упрочить это благополучие до той степени, когда нервы уже в должной мере невосприимчивы, а душа обрастает корой и буквально не способна ничего видеть. Это чувство, настолько неуловимое, что оставалось подсознательным, вселяло в них уверенность, что таков их долг перед природой, перед собой и обществом.

Они сидели вдвоем за обедом, более чем когда-либо напоминая мирную и благодушную пару голубей, которые клюют корм на лужайке, и, вертя головками, то и дело поглядывают друг на друга. Иногда муж, не донеся до рта вилку с куском мяса, вдруг вперял свои круглые светлые глаза в стоящую перед ним вазу с цветами и произносил что-нибудь:

— А знаешь, я сегодня встретил Элен. Худа, как щепка! Эта новая работа ее в гроб вгонит.

Вот супруги пообедали, спустились вниз и, подождав кэб, отправляются в театр. Дорогой молчат и, глядя в пространство, переваривают поглощенную еду. В свете уличных фонарей мокрые мостовые кажутся белесыми, и ветер с полнейшим беспристрастием овеивает и безмятежные лица людей, подобных нашим супругам, и лица, изнуренные голодом. Не поворачиваясь к мужу, жена говорит вполголоса:

— Не могу решить, мой друг, сейчас ли заказать девочкам летние платья или подождать до пасхи.

После ответной реплики мужа снова наступает молчание. Когда кэбмен круто сворачивает за угол, какая-то женщина в платке, с ребенком на руках, проскользнув

под самой мордой лошади, обращает к сидящим в кэбе бледное, как смерть, лицо и бормочет проклятие. Не обратив на нее никакого внимания, муж бросает окурок сигары и говорит спокойно:

— Послушай, дорогая, если мы в этом году за границу не едем, то, пожалуй, пора мне поискать местечко в Скай, где можно развлечься рыбной ловлей.

Затем они сворачивают снова на главную улицу и останавливаются у театрального подъезда.

К театру у них необъяснимое влечение. В стенах его они испытывают блаженное успокоение—так чувствовал себя, наверное, в далекие времена какой-нибудь воин, когда, сняв доспехи, грелся по вечерам у огня. Это чувство отдохновения супруги испытывают, вероятно, по двум причинам. Им, должно быть, смутно кажется, что они весь день проходили в латах и только здесь им не грозит столкновение с мрачной и обнаженной правдой жизни. Здесь ничто не может смутить их душевный покой, ибо успех пьесы, а следовательно, и доходы от нее зависят от того, понравится ли она им. И потому все в ней изображается в духе «традиционном», приемлемом для людей их круга. Но радует их не только это. Сидя рядышком и внимательно глядя на сцену, они упиваются сознанием, что «видят жизнь». И, увидев эту «жизнь» (столь далекую от подлинной), они как бы обретают священное право не замечать никаких иных ее явлений.

Они выходили из театра окрыленные, укрепившись в своем мировоззрении. И опять-таки один бог знает, пьеса ли делала этих людей тем, чем они были, или они были виной тому, что писались и ставились такие пьесы. Из театра они возвращались домой полные воодушевления, и оно не оставляло их, пока они добирались до своего шестого этажа.

Однако случалось (к счастью, редко), что отзыв газеты вводил их в заблуждение, и они бывали вынуждены смотреть пьесу, грубо нарушавшую их душевное равновесие. Тогда на их лицах внимательное выражение сменялось сначала недоумевающим, затем оскорбленным и наконец негодующим. Они повертывались друг к другу, безмолвно делясь своим возмущением, и словно пытались этим смягчить нанесенную им обиду. Потом же на громким шепотом произносила: «Премерзкая пьеса!»

А муж отзывался: «И притом какая скука — вот чего я не могу простить!»

После такого спектакля они на обратном пути уже не молчали в кэбе, но говорили о чем угодно, только не о пьесе, как бы изгнав ее из своих мыслей. Но по временам между ними воцарялось какое-то неловкое молчание. Его нарушал обычно муж; щелкнув языком, он выпаливал: «Черт бы побрал эту гнусную пьесу!» И жена, скрестив руки на груди, вздыхала с облегчением, чувствуя, что к ней возвращается привычное чувство спокойного довольства. Оба дружно возмущались этой пьесой и отзывом в газете, коварно заставившим их весь вечер смотреть ее.

В такие вечера они, прежде чем уйти в спальню, прокрадывались в детскую — мать первая, отец позади, словно стыдясь своих чувств. И здесь, стоя рука об руку, они долго смотрели на спящих дочек. Слабый свет ночника падал на кровати и спокойно раскинувшиеся в них детские тельца. Освещал он и любовавшихся ими родителей, легкую улыбку на губах матери, полускрытых пушистым воротником пальто, и лицо отца над белоснежной манишкой, красное, лоснящееся, его смущенную ухмылку, словно говорившую: «Они и в самом деле очень милы. И как это я ухитрился породить таких славных ребятишек?»

Частенько, должно быть, стаивали так эти два голубя, любясь своими кругленькими, пухлыми серо-белыми птенцами. Подталкивая друг друга, они указывали то на закинутую на подушку ручонку, то на раскрытый во сне ротик. Потом на цыпочках выходили из детской.

А в спальне, постояв минуту у окна и подышав свежим ночным воздухом, они чувствовали, как снова оживает в них блаженное чувство мирного благополучия.

За окном лунный свет серебрил лохматые ветви вяза, темный ряд домов для богатых людей... Что еще освещала луна в этом большом городе, супруги, к их счастью, не могли видеть.

РЕБЕНОК

В тот февральский день в Кенсингтонском саду было очень тихо. Деревья протягивали свои обнаженные ветки к небу, такому серому и застывшему, словно на свете никогда не было ни ветра, ни солнца. И на этих ветках сидели голуби, тихо и неподвижно, словно понимая, что еще не пришел срок начинать жизнь; казалось, они ждали, не распуская крыльев, боясь пропустить приход весны.

Внизу, из земли, уже пробивались крохотные язычки зеленого огня — предвестники близкого пожара цветов, который вспыхнет, как только пригреет солнце.

А на скамье сидел ребенок.

Он сидел между отцом и матерью и глядел прямо перед собой. Было видно, что он глядит так потому, что у него просто нет сил повернуть голову вправо или влево — так бледно было его лицо, такие хилые были у него ручки и ножки. Одежда на нем была явно с чужого плеча и очень к стати скрадывала линии тела.

Однако он не был что называется заброшенным ребенком; он был тщательно умыт и ухожен, насколько позволяли судьба и средства его родителей; на шее у него был свалявшийся меховой воротник, который раньше, видимо, носила та, к чьему тощему боку он прижимался. Мать смотрела себе под ноги с таким выражением, словно у нее не было в жизни никакого другого занятия.

Отец сидел, закрыв глаза, — поношенная одежда, серое лицо, серый воротничок, когда-то сверкавший белизной. Его худые щеки, как видно, были только что выбри-

ты по случаю субботнего дня; эти выбритые щеки, а также ботинки с тонкими, как бумага, подметками, но все же хоть как-то защищавшие ноги, свидетельствовали о том, что он не опустившийся бродяга и не безработный, а скорее всего рабочий. который вышел прогуляться с женой и ребенком. Закрыв глаза, он сидел, ни на что не обращая внимания, и лишь время от времени двигал челюстью из стороны в сторону, словно у него болели зубы.

Между этим-то мужчиной, зачавшим его, и женщиной, его родившей, тихо сидел ребенок, который, как видно, любил их, не сознавая того, что это они вызвали его из теплых потемок, где он был счастлив, из сладостного небытия, в которое,— может быть, очень скоро, он уйдет опять, не сознавая того, что тем самым они вступили в разлад с миром или мир вступил в разлад с ними и что он ел вдвое меньше пищи, чем ему было необходимо, да и та была скверной. Судя по выражению лица этого бледного, маленького заморыша, он твердо усвоил ту истину, что все идет так, как и должно идти. Казалось, он сидит и видит перед собой всю свою жизнь, не сомневаясь в том, что она должна быть такой, какой была,— из часа в час, из дня в день, из года в год.

И передо мной тоже проходило все то, из чего складывалась его короткая жизнь; я видел, как он встает утром с кровати, в которой ему редко удавалось согреться, и, грызя корку хлеба, идет в школу вместе с другими детьми, среди которых он почти самый слабый; я видел, как он несет в кулаке остатки своего завтрака и часто теряет их, а иногда меняет на мятные лепешки, потому что у него нет охоты доедать этот завтрак, который его маленькому желудку переварить не под силу. И я понял, что, привыкнув чуть не с рождения есть мало, он почти всегда старался есть поменьше, и не потому, что хотел умереть — ему вовсе не были свойственны такие причуды,— а просто потому, что его часто тошнило; а бледная, отчаявшаяся мать заставляла сына есть, когда у нее было чем его накормить, и это тяготило его, потому что он считал, что ради такой еды не стоит и работать челюстями. Вероятно, ей нелегко было внушить ему, что есть необходимо, так как, судя по его виду, он не мог есть с аппетитом ничего, кроме мятных лепеш-

шек и копченой селедки. Я представлял себе его в школе: он не учился, не хотел учиться, не понимал, зачем ему это, и не осознавал особой милости провидения, которое долго колебалось, давать ли ему образование, так как это могло довести его родителей до нищеты, а теперь, испортив ему желудок и лишив его способности усваивать знания, принуждало его учиться. Это маленькое бледное существо, несомненно, еще не имело понятия о том, что будущее благополучие вырастает не из будущего, а из прошлого. Он знал только, что каждый день он уходит в школу голодный и каждый день возвращается еще более голодный.

Все это, казалось, проходило перед его глазами, но оформлялось в мысли; его знание было слишком глубоким для слов; он просто чувствовал все это, сидя на скамье между своими родителями, как, вполне естественно, чувствовал бы всякий другой ребенок на его месте. Время от времени он раскрывал рот, подобно птичке, раскрывающей свой клювик, просто так, без всякой цели, и его губы, казалось, шептали: «У меня в животе как будто скребется мышь, и ноги у меня болят, но, конечно, так и должно быть!»

Чтобы понять, каким образом апатия уживается в нем с воспоминаниями о том, как он беспокойно, но не весело бегал по дорожкам сада и прыгал по лестнице со ступеньки на ступеньку, вспомним, какой неисчерпаемый кладезь мужества таит в себе человеческая натура. Ибо хотя жизнь ему безразлична, но пока он жив, он будет тянуть лямку до конца, потому что так надо: иного выхода нет. И зачем изводить себя бесполезными сожалениями и мечтами о том, чего он не может увидеть, надеждами стать тем, чем он не может стать! Он ни на что не в обиде — это видно по его покорным глазам, — не в обиде даже на тех двоих, что сидят по обе стороны от него, и не подозревает, что он стал таким для того, чтобы тех, кто породил его помимо его воли, закон мог вынудить сохранять самоуважение, которое они давно уже потеряли, и иметь непрощеную честь давать ему образование, которое его не накормит, — причем образование весьма неполное, ибо он до сих пор понятия не имеет о политической экономии. Он отнюдь не рассматривает свою судьбу с узко личной или пристрастной точки зре-

ния, он и не подозревает о различных партиях, не считает себя заморенным голодом ребенком, который должен бы плакать до тех пор, пока его не накормят по крайней мере не хуже тех собак, что пробегали мимо него; казалось, он видит в себе нечто безликое и величественное, именуемое Будущим Нации.

Так глубока была его апатия!

Я все смотрел на него, и вдруг «Будущее Нации» повернулось к отцу.

— Слышь, как поет эта птица, черт подери! — сказал он.

Это голубь, сидевший на дереве, неожиданно начал ворковать. Его голова отчетливо вырисовывалась на фоне серого застывшего неба, он запрокидывал ее, потом опускал вниз и снова запрокидывал; его нежное воркованье разносилось далеко вокруг, призывая все живое плодиться и размножаться.

«Будущее Нации», с минуту, не двигаясь, наблюдало за птицей и вдруг засмеялось. Его смех походил на негромкое, сухое постукивание двух досок друг о друга — в нем не было ни живости, ни малейшей мелодичности, — вероятно, так могла бы смеяться марионетка, человечек из проволоки и дерева.

И в этом смехе мне послышался отзвук смеха, звучащего во многих тысячах домов, где живут многие миллионы голодных детей.

Так смеялось будущее самой богатой, самой свободной и самой гордой нации на земле в тот февральский день, когда из земли уже пробивались язычки зеленого огня, под серым застывшим небом, не оживленным ни ветром, ни солнцем, — так он смеялся, глядя на голубя, призывавшего весну.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Представив себе, как он сидел передо мной в своей поношенной одежде, комкая в руке матерчатую кепку, подавшись вперед и неподвижно глядя в стену глазами, похожими на два огня за стальной решеткой, и вспоминая его слова: «Она умерла для меня — я уезжаю и навсегда забуду ее!» — я написал это письмо.

«Уважаемый мистер...

Размышляя над тем, что вы сказали вчера, считаю своим долгом предупредить вас, что, уехав в Канаду, вы не будете вольны снова вступить в брак.

Как вам известно, я присутствовал в полицейском суде, когда вы рассказывали свою историю — историю, которую там часто приходится слышать. Я знаю, что вы не виноваты и что вы рассказали правду. Без всякой вины с вашей стороны ваша жена оставила вас и ведет порочную жизнь. Это несчастье лишило вас дома, детей и работы, и, не видя иного выхода, вы решили уехать в Канаду. Остаток жизни вы и ваша жена проживете в разных полушариях. Вы еще молоды и сильны, вы привыкли к семейной жизни и уезжаете в страну, где нужно быть женатым, страну беспредельных пространств и беспредельного одиночества, где на много миль вокруг вашего дома не будет другого жилья.

Все это так, и тем не менее вы столь же тесно связаны с вашей женой, оставившей вас для постыдной и распутной жизни, как если бы она была вернейшей из жен и матерей нашего города.

Если там, куда вы уезжаете, вам встретится девуш-



«МОДА»



«НАДЕЖДА»

ка, на которой вы захотите жениться, вы не сможете этого сделать,— в противном случае вы станете двоеженцем, преступником. А если эта девушка станет жить с вами вне брака, она, разумеется, потеряет свое доброе имя. Если у вас родятся дети, они будут считаться незаконнорожденными, и, как вы вскоре убедитесь, то, что их не спрашивали, хотят ли они родиться на свет, мало поможет им. Если же эта девушка откажется жить с вами вне брака — за что вы едва ли будете вправе упрекнуть ее,— вам, как многим мужчинам в вашем положении, возможно, придется искать утешения у женщин, подобных вашей жене. Общество, разумеется, осуждает их, люди чувствительные смотрят на них с состраданием, люди здравомыслящие — с ужасом. Эти женщины — язва на теле нации; но, поскольку вы не можете жениться снова, боюсь, что вам придется свести с ними знакомство.

В вашей судьбе нет ничего необычного — тысячи людей в нашей стране находятся в таком же положении; над всеми вами стоит беспристрастный закон.

Закон этот гласит: жена может развестись с мужем, который ей изменяет, жестоко обращается с ней или бросает ее. Муж может развестись с неверной женой. Вы могли бы развестись со своей женой. Почему бы вам этого не сделать? Давайте посмотрим.

Вы были сперва солдатом, потом стали рабочим. Как солдату вам платили, если не ошибаюсь, шиллинг и два пенса в день; допустим, вы откладывали один пенс из этих денег. Каким образом вам это удавалось? Скажем, ваша жена сама содержала себя, а дети питались воздухом. Четырнадцать пенсов в неделю — три фунта восемь пенсов в год. А рабочим вы, кажется, получали тридцать шиллингов в неделю. Имея четырех детей, вы, вероятно, могли отказаться от подписки на любимую газету да еще откладывать по два пенса в день. Итого три фунта восемь пенсов в год. Развод в суде — ибо закон, несомненно, дает вам право на развод — обошелся бы вам от шестидесяти до ста фунтов. Выходит, что при строгой экономии вы могли бы получить свидетельство о разводе, скажем, лет через двадцать, если ваши свидетели останутся живы и если сами вы не умрете к тому времени.

В такой проволочке нет ничего особенного или несправедливого. Как вам известно, закон один для всех — богатых и бедных, плебеев и благородных. Суд не делает различий между богачом и человеком, который зарабатывает немногим больше семидесяти фунтов в год и держит пять фунтов в сберегательной кассе; миллионеру, служащему и рабочему развод стоит одинаково.

Однако из этого правила есть исключение, разумеется, в пользу бедных. Тот, кто может доказать, что у него нет в наличии двадцати пяти фунтов, получает право считаться неимущим и может просить развода *in forma pauperis*¹. В сущности, это не относится к рабочим или служащим, имеющим работу; но вы были выбиты из колеи поведением жены, потеряли работу, ночевали в парках и ночлежных домах, не имея никакого пристанища, — и вы могли бы доказать, что у вас нет и двадцати пяти пенсов. Вы могли бы просить развода *in forma pauperis*. Это — великая привилегия! Вам пришлось бы найти адвоката, который взялся бы вести ваше дело без всякой надежды на гонорар, собрал бы улики, не заплатив ни пенса, заставил бы ваших свидетелей прийти в суд и даром тратить время (а ведь каждый потерянный час для них — кусок хлеба, вырванный изо рта); вы одержали бы эти победы над природой и могли бы получить развод за сумму всего лишь от семи до пятнадцати фунтов стерлингов. Правда, у вас нет даже суммы от пятнадцати до семи пенсов, зато у вас есть привилегия!

Все согласны, что вы были хорошим мужем, лучшего и найти трудно; все согласны, что она одна во всем виновата. Все согласны, что вы вправе требовать развода. Но закон, который один для всех, считает, что этого недостаточно.

Вот что я хочу вам объяснить. Состоятельный человек может довести свою жену до того, что она его возненавидит, — ибо закон запрещает ему только «жестоко обходиться» с ней; он может развлекаться с другими женщинами, лишь бы она не знала об этом, — ибо закон запрещает ему «изменять» ей; в сущности, он может быть негодяем, но, будучи состоятельным, он наверняка полу-

¹ Как неимущий (лат.).

чит развод, если она уйдет от него к другому,— разве только ему очень уж не повезет. Таким образом, не имеет никакого значения, изменяли вы ей или нет, раз она об этом не знала; и вовсе незачем быть добродетельным; имеет значение лишь то, сможете ли вы, рабочий, получающий тридцать шиллингов в неделю, заплатить шестьдесят или сто фунтов за развод, а если вы бедняк без гроша за душой — от семи до пятнадцати фунтов.

Закон о разводах, как и все наши законы, беспристрастен и призван защищать интересы всех; он основан на равенстве и справедливости, дабы помогать обиженным и наказывать виновных. Для него безразлично, богаты вы или бедны, он осуществляет простые принципы, требуя, чтобы люди имущие платили за развод столько же, сколько все, независимо от их средств, а неимущие — больше, чем им позволяют их средства.

Вероятно, вы спросите: «А не мог бы я заплатить за развод соответственно своим средствам? Неужели я, как и всякий другой рабочий, которого бросит жена, должен ходить по кабакам и шататься ночью по улицам, быть осужденным на вечное одиночество или погрязать в пороке?»

Ответ прост: если бы все служащие и рабочие, а также все жены тех служащих и рабочих, чье право на развод, как в вашем случае, очевидно почти для каждого и для кого развод, как опять-таки очевидно для каждого, насущная необходимость,— если бы все эти люди имели возможность заплатить за развод соответственно своим средствам, в нашей стране ежегодно было бы на несколько тысяч разводов больше, чем сейчас. А это стало бы настоящим бедствием для брачной статистики. Общественное мнение, создаваемое, не забывайте об этом, исключительно в высших кругах (ибо рабочие о подобных материях не рассуждают и никогда не рассуждали), исключительно теми, кто может позволить себе платить за развод,— это всемогущее общественное мнение решило бы, что тем самым делается шаг назад по стезе нравственной чистоты. Оно решило бы, что, согласившись дать вам, народу, то, что вы по своей глупости и недалекости были бы склонны счесть обычной справедливостью, оно полностью пожертвовало бы самыми основами морали. Безнравственность, к которой

существующий закон вынуждает и будет вынуждать вас и всех прочих, оказавшихся в вашем положении, никогда не выйдет на свет божий, никогда не станет предметом статистики и не оскорбит взора общества. А то, что не является предметом статистики, не может повредить нравам страны и ее престижу. Уверенное в том, что уж оно-то сумеет воспользоваться правами и привилегиями, предоставляемыми законом, общественное мнение просто решило принести жертву ради поддержания нравственной чистоты всех нас. «Жертва необходима,— рассудило оно.— Так давайте принесем в жертву тех, кому нечем платить! Лишь по чистой случайности эти тысячи и тысячи людей не принадлежат к нашему кругу; кто-то должен страдать, чтобы все мы могли быть добродетельными!»

Таков ответ. Пожалуй, было бы чрезмерным требовать от вас, чтобы вы, погрязнув в болоте страданий, с вашей узко личной точкой зрения, оценили высоты беспристрастности, достигнутые этой искупительной жертвой. Но как не уважать ее за бесконечную глубину здравого смысла? Можете ли вы упрекнуть общественное мнение, создаваемое без вашего участия, за его житейскую мудрость? Разве вы не согласились бы с ним, если бы сами участвовали в его создании? Будь вы состоятельным человеком, я хочу сказать — достаточно состоятельным, чтобы действительно пользоваться привилегиями, предоставляемыми законом, попытались бы вы всерьез преодолеть ваши понятия о нравственном достоинстве своей страны? Ведь при этом вы отчасти потеряли уважение к самому себе, поскольку таким образом вы распространили бы эти привилегии на тех из ваших сограждан, которые не могут за них платить. Напротив, вы скорее подумали бы: «Самому-то мне жаловаться не на что. А это все сплошная сентиментальность, идея абстрактной справедливости! Если они хотят справедливости, пусть платят!»

Вы ни в коем случае не должны думать, что этот великий принцип денежной компенсации относится только к разводам; в той или иной мере он составляет основу всякой справедливости. Без денег нигде не обойтись. Деньги определяют меру справедливости и способы ее осуществления. Это так глубоко вошло в нашу жизнь, что

мы даже не замечаем этого. В самом деле, едва ли найдется человек, который, приди вы к нему частным образом, выслушав вас, не сказал бы сразу, что с вами поступили несправедливо! Но перед законом вы не можете предстать частным образом, а он и есть блюститель всякой справедливости.

Я объяснил вам требования закона. Вы не выполнили их. Совершив эту ошибку, вы, очевидно, должны будете в дальнейшем либо жить в одиночестве до конца своих дней, либо, повинаясь велению природы, общаться с женщинами, которые ежеминутно будут напоминать вам, чем стала теперь ваша жена; и какой бы путь вы ни избрали, на любом из них вас, несомненно, должно поддерживать сознание, что вы блюдете чистоту нравов и укрепляете уважение, которым окружен брак в нашей стране. Вас должна вдохновлять мысль, что по этому радостному, почетному пути вы идете вместе с тысячами мужчин и женщин, таких же честных и добрых, как вы сами. И из года в год вы будете проникаться все большей гордостью за свою страну, достигшую таких высот справедливости...»

НАДЕЖДА

В ненастье и вёдро, в жару и в холод, в любую погоду можно было не сомневаться, что хромой пройдет здесь со своей плетеной корзиной, висящей через плечо, и шишковатой дубовой палкой. В корзине, под мешковиной, лежали семена крестовника да изредка, когда наступал сезон, немного грибов, тщательно завернутых в бумагу и лежавших особо.

Его здоровое, обветренное лицо с квадратным подбородком, обрамленное густой, темной, уже седеющей бородой, было изрезано морщинами и всегда печально оттого, что хромая нога сильно докучала ему. Искалеченная в результате несчастного случая, она стала на два дюйма короче и была способна разве что напоминать ему о бренности всего живого. Вид у него был приличный, хотя далеко не щегольской, так как его старое синее пальто, брюки, жилет и шляпа вылиняли и были сильно потрепаны от долгой носки во всякую погоду. До того, как с ним случилось несчастье, он был рыбаком и ходил за рыбой в открытое море, теперь же зарабатывал себе на жизнь, стоя на улице, всегда в одном и том же месте, в Бейсуотере, с десяти утра до семи вечера. И всякий, кто хотел побаловать свою птичку, останавливался перед его корзиной и покупал на пенни семена крестовника.

Зачастую ему, как он выражался, приходилось «здорово попотеть», чтобы раздобыть этот товар. Он вставал в пять часов утра и с первым трамваем выбирался из Лондона в заповедные места всех тех, кто зараба-

тывает на прожорливости комнатных канареек. Здесь, пригнувшись и с трудом волоча искалеченную ногу по земле (небо редко заботилось о том, чтобы держать ее сухой для него), он кропотливо рвал крестовник — зеленые кустики с желтыми цветами, — хотя зачастую, как он говорил, «в этих штуках не было ни капли жизни, они были побиты заморозками!» Собрал все, что судьба соизволила ему дать, он возвращался на трамвае в город и приступал к своим обязанностям.

Временами, когда дела шли неважно, он возвращался домой затемно, и его можно было увидеть ковыляющим по улице в девять, а то и в десять часов вечера. В такие дни в его серо-голубых глазах, еще не утративших такого выражения, словно он глядел вдаль сквозь морской туман, отражалась глубина его души, где лежала птица-усталость с подрезанными крыльями, постоянно пытаясь взлететь.

В сущности — и это было ясно без слов, — он жил из года в год, едва перебиваясь, и не питал иллюзий относительно своей профессии: она не давала ничего. Все же это было лучше, чем торговля цветами, которая давала и того меньше. В конце концов, он привык к метаниям птицы-усталости в своей душе, и, если б ей вдруг удалось подняться и полететь, ему, вероятно, не доставало бы ее.

«Тяжелая жизнь!» — говорил он иногда, когда крестовника бывало мало, покупателей еще меньше, а сырость болью отдавалась в искалеченной ноге. Это говорилось как нечто само собой разумеющееся и было пределом его жалоб, хотя он охотно плакался на свои задачи с крестовником, покупателями и больной ногой перед теми немногими, кого можно было этим пронять. Впрочем, как правило, он стоял или сидел молча, наблюдая шумевшую вокруг жизнь, как в прежние дни наблюдал волны, накатывавшие на его стоявший на якоре парусник, и затуманенный взгляд его голубых зорких глаз выражал удивительное терпение; казалось, он постоянно провозглашал простое бессознательное решение человека: «Буду держаться, пока не упаду».

О чем он думал, стоя так на улице, трудно сказать; быть может, о прежних днях на Гудвинских отмелях или о желтых головках крестовника, не желающих раскры-

ваться как следует, о своей больной ноге, о собаках, обнюхивавших его корзину и отворачивавшихся с презрением, о жене, страдающей подагрой, о селедке к чаю, о задолженности за квартиру, о том, как мало людей спрашивает крестовник, и снова о больной ноге.

Никто не останавливался взглянуть на него, кроме женщин, покупавших на пенни крестовника для своих хилых птичек. И если иная бросала на него взгляд, она видела перед собой просто темнобородого человека с лицом, изрезанным глубокими морщинами, хромоногого, часто предлагавшего крестовник такого качества, что они не решались давать его канарейкам. Они говорили ему об этом и добавляли, что погода сейчас холодная, на что он отвечал, зная это лучше, чем они: «Да, мэм, вы не поверите, как я чувствую это в своей ноге». Он не вкладывал в свои слова никакого скрытого смысла, но женщины отводили глаза и спешили дальше, полагая, что, пожалуй, ему не следовало заговаривать о своей ноге — слишком похоже на то, что он хочет заработать на этом. В действительности же он огличался щепетильной сдержанностью моряка, но больная нога мучила его уже так долго, что нервы больше не выдерживали; это мучение было так тесно связано с его жизнью, что он не мог не говорить о нем. Иногда — главным образом в ясные теплые дни, когда крестовник был в полном цвету и он меньше нуждался в случайных прибавках, — покупатели, поддавшись доброму порыву, платили ему пенс за то, что стоило полпенса. И незаметно для него самого это укрепляло в нем привычку плакаться на свою больную ногу.

Разумеется, он не имел дней отдыха, но иногда его не было на посту. Это случалось тогда, когда больная нога, чувствуя, что он обходится с ней слишком уж бесцеремонно, доставляла ему, по его собственному выражению «уйму боли». В таких случаях задолженность за квартиру росла, но он говорил: «Раз не можешь выйти из дому, значит, не можешь — так ведь?» После таких дней вынужденного отдыха он с особым рвением принимался за работу и выезжал за крестовником далеко за город, а по вечерам оставался на посту до тех пор, пока не продавал весь товар, ибо он чувствовал, что если не сбудет его сейчас, то ему так и не удастся его сбыть.

Рождество было его праздником: на Рождество людям хотелось побаловать своих птичек, и постоянные покупатели давали ему шестипенсовики. Это было очень кстати, так как в эту пору он почти всегда болел, то ли от недоедания, то ли просто от холода. После приступа «баранхита», повторявшегося каждый год, его обветренное лицо бывало необыкновенно бледно, а в голубых глазах, казалось, стоял туман многих ночных вахт — так, должно быть, выглядят призраки утонувших в море рыбаков; его загрубелая рука дрожала, пытаясь отыскать среди головок крестовника такие, от которых не отвернулась бы привередливая канарейка.

— Вы не поверите, с каким трудом я наскреб даже эту крохотную кучку, — говорил он. — Мне то и дело казалось, что я оставляю там свою ногу, я так ослаб, что совсем не было сил волочить ее по грязи. А жена? У жены подагрический ревматизм. Подумать только, какой я незадачливый! — И, бог весть откуда набираясь веселости; он улыбался, а затем, глядя на свою больную ногу, которую «едва не оставил там», с некоторой хвастливостью прибавлял: — Вот видите, в ней совсем нет силы, ни кусочка мускулов не осталось... — «Мало найдется людей с такой ногой», — казалось, с гордостью говорили его глаза и голос.

Беспристрастному наблюдателю было бы нелегко понять, чем еще может привлекать этого человека жизнь, разглядеть за мраком его непосильного труда и страданий все еще живые глаза птицы-усталости, скрытой на дне его души и пусть слабо, но непрестанно шевелящей обрубками искалеченных крыльев. На первый взгляд могло показаться, что, в общем, этому человеку нет смысла цепляться за жизнь, поскольку его ждет впереди лишь худшее, что она может дать. Относительно своего будущего он неопределенно замечал: «Жена все время говорит мне, что нельзя жить хуже, чем мы живем. И она, конечно, права, если только вообще можно сказать, что мы живем».

И все-таки ему, видно, никогда не приходила в голову мысль: «Зачем мне жить дальше?» Казалось, ему даже доставляло тайную радость мериться силами с злой судьбой, противостоять всем напастям, и это было отрадно, ибо и днем с огнем вы не сыщете более бла-

гоприятного предзнаменования для будущности рода человеческого.

С лицом усталым, но выражавшим твердую волю, стоял он на многолюдной улице перед своею корзиной, опираясь на шишковатую палку, стоял, как статуя великой, безотчетной человеческой доблести, того наиболее обнадеживающего и вдохновляющего, что только есть на земле: мужества без надежды!

1907—1908 гг.

Смесь

ПОРТРЕТ

Этот человек видится мне таким, каким он был в семьдесят лет: гораздо выше среднего роста, отлично сложенный, без малейшего признака сутулости — его стройная фигура и легкость движений восхищали всех, кто его знал. Серые, как сталь, глаза, глубоко посаженные, так что не были даже видны верхние веки, несколько не поблекли и смотрели с какой-то удивительной пронизательностью и прямоотой, готовой тут же смениться лукавым блеском. У него была удивительно красивая голова, — никто и не подозревал, что он носил шляпы, сделанные на заказ, на размер больше, чем любая из готовых шляп; голову эту обрамляли мягкие серебристые волосы, зачесанные набок и ниспадавшие красивыми завитками на кончики ушей; большая седая борода и усы скрывали рот и решительный подбородок с ямкой посередине. Еще в детстве ему перебили нос, и все же то был нос мыслителя — широкий и крупный. Щеки были здорового смуглого цвета, а густые высокие брови придавали его лицу выражение необычайного спокойствия. Но особенно привлекали внимание посадка и поворот его головы. Ни в театре, ни в церкви, ни в концертном зале не доводилось мне видеть такой красивой головы; серебристые волосы и борода добавляли к ее массивности удивительное изящество и утонченность.

Человек с такой головой не мог не обладать силой, мудростью, чувством юмора и справедливости. Эта голова выражала главное свойство его натуры — уравновешенность; ведь в нем как бы жили два человека: один,

с решительным подбородком — человек практический и энергичный, и другой, которому принадлежали этот лоб и нос, — величественно невозмутимый и склонный к раздумьям; но оба они так удивительно уживались друг с другом, что между ними не возникало неприятных конфликтов. Эта его уравновешенность тем более привлекала к себе внимание, что он обладал недюжинной способностью действовать и недюжинной способностью мыслить. Незаурядная личность, он ни в том, ни в другом не довольствовался малым. Всю жизнь, как рассказывают, он добивался большего, причем одна половина его существа постоянно требовала решительных действий, а другая стремилась к возвышенным мыслям и безупречному поведению. Стремление к идеалу как в материальной, так и в духовной сфере сохранилось у него навсегда. Он умел глубоко чувствовать, и если бы не та удивительная уравновешенность и тяга к внутреннему покою, которые, видно, никогда не покидали этого человека, корабль его судьбы мог бы потерпеть ужасное крушение.

Тем, кто следил за ним, казалось, что его плавание по жизни протекало без приключений, всегда при попутном ветерке. Он много работал и много развлекался, но никогда не работал и не развлекался сверх меры. Его частенько видели раздраженным, но, думается мне, никто не видел его скучающим. Он умел понять шутку быстрее любого из нас, не любил крайностей, но всегда бывал независим в своих мнениях и, может быть, не вполне отдавал себе отчет, что есть люди умнее его. Он вовсе не был самодоволен: это качество, которое сродни глупости и хвастовству, было свойственно ему не больше, чем новорожденному младенцу. Самый характер его был враждебен всякой вялости, но вместе с тем он не любил грубых и чересчур энергичных людей. Слово «нахал» было у него самым сильным порицанием. Как сейчас, вижу его в кресле после обеда, когда его собеседник, попыхивая сигаретой, захлебывался шумной самодовольной болтовней; каким открытым, понимающим взглядом смотрел он тогда на него — не презрительно, не саркастически, а словно бы просто говоря: «Нет, дорогой мой, хоть ты и говоришь красиво и собой хорош, а я тебя насквозь вижу. Стоит мне только захотеть, и ты у меня будешь, как шелковый!» Такие люди не могли устоять

против него, когда дело доходило до схватки: он подчинял их своей воле, как малых детей.

Он принадлежал к тому редкому типу, который именуется чистокровным англичанином: у его предков, по крайней мере за последние четыреста лет, не было ни капли шотландской, валлийской или ирландской крови, не то что чужеземной. Он был с самого юга Девоншира и происходил из старинного фермерского рода, представители которого вступали в брак только между собой, и весьма вероятно, что в жилах у него в совершенно равной степени была смешана скандинавская и кельтская кровь. Принцип равновесия сказывался даже в самом расположении его родового гнезда: старенькая ферма, где родился его дед, прилепилась у самого утеса, так что в характере его воплотились суша и море, кельт и викинг.

В шестнадцать лет его отец, плимутский торговец, чьи дряхлые суденышки плавали в страны Средиземноморья за фруктами, кожами и винами, определил его учиться юриспруденции; он переехал в Лондон и в самом скором времени — как многие мужчины в то время — получил право заниматься адвокатской практикой. Он не раз рассказывал мне о том, какой обед он устроил в честь того знаменательного события. «Я был тогда худой, как щепка, — любил говорить он (надо сказать, что он так никогда и не пополнился), — и мы начали обед с бочонка устриц». В этой пирушке и иных развлечениях его молодости было что-то от беззаботного веселья пиквикских времен. Став адвокатом, он полагался, в сущности, только на свои силы и, казалось, никогда особенно не нуждался в деньгах. Природное здравомыслие и умеренность, надо полагать, ограждали его от финансовых взлетов и падений, свойственных большинству молодых людей, но он не был скуп и всегда проявлял в денежных делах известную широту. Наверное, в силу закона притяжения, по которому у расчетливого человека деньги идут к деньгам, а также потому, что ему довелось жить в девятнадцатом столетии, этом Золотом Веке для тех, кто умел наживать деньги, он в то время, в возрасте восьмидесяти лет, давно уже был богатым человеком. Деньги означали для него упорядоченную, размеренную жизнь, полную сердечной теплоты, ибо он лю-

бил своих детей и очень заботился о них. Женился он лишь в сорок пять лет, но зато начал серьезно думать о будущем семьи, как только родился первый ребенок. Выбрав здоровую возвышенную местность не слишком далеко от Лондона, он сразу же взялся строить усадьбу, чтобы его крошки имели чистый воздух, парное молоко, собственные фрукты и овощи. Удивительно, с какой хозяйской предусмотрительностью строил он дом и распределял землю на склоне холма: здесь был и обнесенный оградой сад, и луг, и поле, и роща. Все было прочное и наилучшего качества — от невысокого квадратного дома из красного кирпича с бетонной террасой и французскими окнами до коровников за рощицей, от столетних дубов на лужайке до только что высаженных персиковых деревьев вдоль ограды на южной стороне. Но делалось это не напоказ и безо всяких излишеств. Все здесь было под рукой: хлеб домашней выпечки, грибы — лесные и тепличные, — конюшня с часами на низкой башенке и свинарники, розы, которые получали призы на всех выставках в округе, и полевые колокольчики, но ничего лишнего или претенциозного.

Усадьба была для него неисчерпаемым источником радости, ибо он до конца сохранил способность интересоваться не только крупными делами, но и мелочами. В одно место подвести горячую воду, в другом — улучшить освещение, уберечь от ос персики на деревьях, увеличить удои своих олдернейских коров, подкормить грачей — каждая маленькая победа над затруднениями приносила ему такое же простое, искреннее удовлетворение, как и любой, пусть небольшой, успех в его деятельности или в делах Компании, которой он руководил. При всем своем уме, практичности и почти наивном удовольствии, которое доставляло ему материальное благополучие, он жил весьма содержательной духовной жизнью и в душе отнюдь не был аскетом. Эта жизнь была насыщенная, словно музыка Моцарта, его любимого композитора, Искусство и Природа занимали в ней достойное место. Он, например, обожал оперу, но только такую, которую можно назвать «большой оперой», и его огорчало, что опера теперь не та, что прежде, хотя втайне он утешался тем, что он в свое время насладился шедеврами, которые не дано узнать нынешнему поколению.

Он любил почти всю классическую музыку, но особенно (после Моцарта) Бетховена, Глюка и Мейербера,— последнего он с не меньшей убежденностью, чем Герберт Спенсер, причислял к великим композиторам. Он изо всех сил старался понять Вагнера и после посещения Байрейта¹ даже убедил себя, что преуспел в этом, хотя не переставал подчеркивать огромную разницу между Вагнером и Моцартом. В живописи он почитал старых мастеров, особенно выделяя итальянцев: Рафаэля, Корреджо, Тициана, Тинторетто, а из англичан — Рейнольдса и Ромни. Хогарта и Рубенса он считал грубыми, зато восхищался Ван-Дейком, потому что тот превосходно писал руки, а это, по его убеждению,— признак подлинного таланта. Не припомню, как он судил о Рембрандте, но к Тернеру относился с недоверием, считая его слишком экстравагантным. Он так и не научился ценить Боттичелли и более ранних мастеров, а что до импрессионистов и Уистлера, то они не покорили его, хотя он отнюдь не бежал современных веяний, ибо был молод душой.

Помню, как однажды весной, поднимаясь на крыльцо, он сказал: «Восемь десятков, а! Даже не верится. Странно, я совсем их не чувствую. Подумать только — восемьдесят лет!» Потом, показав на поющего дрозда, он добавил: «Вот что облегчает бремя лет!» Он любил природу нежно, самозабвенно и бесхитростно. Как сейчас вижу: летний вечер, он стоит у пруда и наблюдает за стайкой скворцов, которых немало летало над полями, или, слегка склонив голову набок, восторженно слушает жаворонка. С безмятежным восхищением любовался он закатами и красивыми пейзажами. Но самую большую радость доставляли ему летние путешествия в Италию или куда-нибудь в Альпы, и память его хранила множество названий горных вершин, перевалов, итальянских гостиниц. Он любил ходить пешком и для пожилого человека был вообще очень подвижен. Помнится, в шестьдесят лет он ездил верхом, хотя никогда не был спортсменом, потому что охота ему не нравилась, а для рыбной ловли не доставало терпения, так что вре-

¹ Б а й р е й т — город в Баварии, где в 1876 году был открыт специальный оперный театр для постановки музыкальных драм Вагнера.

мя, которое можно было бы посвятить такого рода занятиям, он предпочитал проводить в любимых горах. Поклонение красоте во всех ее видах, как это ни странно, не ослабевавшее с годами, было еще более органичным и восторженным оттого, что на него никак не влияли ни традиции, ни формальная культура. Я думаю, что он перенял любовь к красоте от матери, о которой всегда говорил как о «самой красивой женщине в трех столицах». И эта любовь, чувственная и горячая, как пламя, пронизывала все его существо и словно выделяла его из большинства окружающих. Хорошенькое личико, стройная фигурка, нежная мелодия, танцы, пение дрозда, луна меж ветвями тополей, звездные ночи, сладкие запахи и язык Шекспира — все это глубоко трогало его, тем более, что он сам не умел ярко выражать свои чувства. Его литературные опыты были до крайности наивны и высокопарны; правда, стихи в юмористическом духе удавались ему лучше; в целом же он словно стыдился, как и его современники, выражать сокровенные чувства иначе, как в классическом стиле. И все же его литературные вкусы были проникнуты католицизмом. Выше всех он ставил Мильтона, восхищался Байроном, а Браунинга просто не читал; из романистов любимым автором его была Джордж Элиот, а в поздние годы, как это ни странно,— Тургенев. Помню, когда начали выходить переводы произведений этого писателя, он с нетерпением ждал томиков в желтых переплетах. Он сам не знал, почему они ему нравились,— ведь от этих русских имен только язык сломаешь; но я уверен, все дело было в том, что эти произведения писал человек, который обожествлял красоту.

Он читал и ценил Диккенса и Теккерея, хотя находил, что первый немного увлекается гротеском, а второй — сатирой. Скотт, Тrollop, Мэрриэт, Блэкмор, Харди и Марк Твен тоже ему нравились, Мередита же он считал «слишком туманным».

Завзятый театрал, он тем не менее весьма сдержанно относился к современным актерам, отдавая предпочтение славной плеяде прошлого — Эдмунду и Чарлзу Кину, Чарли Мэтьюзу, Фаррену, Пауэру, «Крошке Робсону» и Элен Фоси. В то же время он был страстным поклонником таланта Кейт Вогэн — это свидетельство-

вало о широте взгляда человека, чьи вкусы сформировались под влиянием мастерства Тальони¹.

Он питал отвращение к манерной игре Ирвинга и признавал его только в «Людовике XI», «Колоколах» и «Карле I»².

В его посещениях театра сохранилось что-то от былого блеска. Он приезжал туда не иначе, как в тончайших лайковых перчатках бледно-лилового цвета, и в конце акта, если спектакль ему нравился, довольно высоко поднимал руки и легонько хлопал в ладоши, в исключительных случаях приговаривая «браво». Он никогда не уезжал до конца спектакля, как бы решительно он ни называл пьесу «чепухой», что бывало, если говорить откровенно, в девяти случаях из десяти. Но он снова и снова посещал премьеры с какой-то трогательной верой в искусство, хоть оно так часто не оправдывало его надежд. Цилиндры, что он носил, были замечательны в своем роде, такие старинные, что почти утратили форму, и уж, разумеется, самые высокие в Лондоне. Я никогда не видел человека, который был бы столь постоянен в одежде, но платье его всегда бывало изящно и превосходно сшито, потому что он заказывал его у лучших портных и не допускал никаких эксцентричностей. Он постоянно носил при себе золотые часы с репетицией и тонкую, из круглых звеньев, золотую цепочку, извивавшуюся змейкой, а на ней маленькую черную печатку с изображением птицы и, казалось, никогда не снимал отлично сшитых, эластичных башмаков на пробковой подошве и не выносил никакой другой обуви, потому что о нее можно испачкать руки, тонкие руки с длинными отполированными ногтями и проступавшими сквозь смуглую кожу голубыми жилками. Для чтения он пользовался очками в черепаховой оправе, которые надевал на самый кончик носа, так что мог смотреть поверх стекол, потому что страдал дальнозоркостью. Он был край-

¹ Мария Тальони — знаменитая итальянская балерина XIX века.

² Английский актер Генри Ирвинг прославился в 60-е годы XIX века исполнением главных ролей в пьесе ирландского драматурга Бусиколя «Людовик XI», в инсценировке романа французских писателей Эркмана и Шатриана «Польский еврей», поставленной под названием «Колокола», а также в пьесе У. Уиллса «Карл I». Впоследствии играл главные роли в пьесах Шекспира.

не разборчив по части белья и других интимных вещей, но терпеть не мог, когда за ним слишком ухаживали и досаждали ему ненужными услугами. Даже в хорошую погоду он не выходил без зонта, наконечник которого, оттого что им постоянно постукивали по тротуару, был наполовину сбит и ободран.

По своим политическим убеждениям он был консервативным либералом, и лишь когда ему перевалило за шестьдесят и в силу вошел Дизраэли, он стал либеральным консерватором. Это было весьма странно, потому что он всегда неодобрительно отзывался о «Диззи» и даже называл его «мошенником». Вероятно, его оскорбляло то, что он называл «выходками» соперника Диззи. К герцогу Devonshire и лорду Солсбери он питал сдержанное уважение, а к Джону Брайту воспылал любовью, едва тот скончался. Но из всех политиков более всего привлекал его симпатии Пальмерстон, потому что тот, если мне не изменяет память, обладал, по его мнению, непревзойденной способностью «испытывать их слабые нервы». В нем, как и в каждом англичанине, жило глубокое недоверие к иностранцам, хотя он никогда не был шовинистом, а в последние годы был весьма умеренным приверженцем Британской империи. Ему казалось, что иностранцы — народ несерьезный, на них нельзя вполне полагаться, и необходимо время от времени напоминать им об этом. Появившись на свет через два года после битвы при Ватерлоо, он, как и его предки, гордился тем, что родился англичанином. И все же однажды он испытал такое глубокое уважение к одному иностранцу, с которым близко дружил долгие годы, что было забавно наблюдать, как отступает его традиционное недоверие. Все, кто знал его, часто удивлялись, почему он с его способностями и умом не пытался выдвинуться на общественном поприще. Объяснялось это несколькими причинами, из которых главная — необыкновенная его уравновешенность. Достичь выдающегося положения в какой-нибудь области означало бы для него пожертвовать слишком многими своими желаниями, отказаться от многих любимых занятий, и поэтому он не хотел посвящать себя целиком какому-нибудь одному делу. В нем не было ни капли тщеславия, но чем бы ему ни случалось заниматься, он благодаря своим знаниям

и силе воли оказывался впереди всех, хотя никогда не старался выдвинуться и не имел, по-видимому, иной цели в жизни, кроме здорового, умеренного и гармоничного существования.

Именно поэтому он останется в анналах отечественной истории как типичный представитель той невозвратимой золотой поры, когда людям казалось, что надо жить ради самой жизни, не заботясь о ее смысле и не особенно задумываясь о том, что всему приходит конец. Было что-то классическое, размеренное и спокойное в его шествии через годы, как будто его крестной матерью была сама Гармония. И хотя он исправно молился и посещал церковь, его никак нельзя было назвать верующим в современном смысле этого слова: религиозные представления его формировались в ту пору, когда на «религию» еще не обрушились удары, и она полновластно царила в умах нации, дремлющих и бесчувственных, а когда религия, потрясенная до самых основ, начала умирать, и люди вокруг него стали настолько религиозными, что отреклись от догм, которые их больше не удовлетворяли, он был уже слишком стар, чтобы менять свои привычки и отвергать формальную сторону веры, которая в общем-то никогда не была его насущной потребностью. В сущности, он ведь был язычником: для него все в мире было благом. Любовь для него воплощалась в Природе, а чудеса — в Великой Звездной Системе, которую он ощущал во всем. Это и было его Божеством. Он глубже всего постигал божественный порядок именно тогда, когда в одиночестве глядел на звезды. Подняв взор к этим своим холодным мерцающим друзьям, он, казалось, испытывал благоговейный трепет, какой никогда не вызывали в нем люди со своими верованиями. Красота ночи, ее черная бездонность и бесчисленные сверкающие миры волновали его до глубины души, и он подолгу стоял молча, иногда лишь произнося задумчиво: «До чего ж мы ничтожны! Крохотные жалкие существа!» Да, в такие минуты он действительно совершал обряд поклонения великим загадкам Вечности. Никто не слышал, чтобы он сколько-нибудь убежденно говорил о потусторонней жизни. Он привык полагаться на себя и потому не принимал на веру то, что говорили другие, прислушиваясь лишь к своему внутреннему голо-

су, который далеко не всегда звучал уверенно. По мере того как он старился, скептицизм по отношению ко всяким высоким материям становился неотъемлемой частью его истинной религии. Думаю, что он считал неоправданной дерзостью делать вид, будто он постиг то, что несравненно грандиознее его самого. Но ни его формальная вера, ни то благоговейное неведение, которое было его истинной религией, никогда не доставляли ему хлопот: они смиренно шли рядом в одной упряжке, погоняемые высшей силой — его бесконечным преклонением перед Жизнью. Он питал глубокое отвращение к фанатизму и в этом смысле отражал дух той величавой, тихоструйной реки — Викторианской эры, которая началась, когда он достиг совершеннолетия. И все же, заведя в его присутствии разговор о высоких или абстрактных понятиях, нельзя было игнорировать его критические суждения, в которых содержались порой удивительно меткие выводы, подкрепленные неумолимой логикой этого человека, не склонного особенно интересоваться иными мирами или вступать в спор. Он был истинным сыном своего времени на грани двух веков: века минувшего, с его некогда непоколебимой, а ныне отживающей верой в авторитеты, и века грядущего, века новой, уже рожденной, но не окрепшей пока веры. Все еще оставаясь под сенью старого, подгнившего и готового упасть дерева, он, пожалуй, не признавал вполне — хотя, наверное, смутно чувствовал, — что люди, подобно детям, чья мать их покинула, волей-неволей вынуждены теперь стать добрыми и доверчивыми, научиться верить себе и другим и тем самым лихорадочно, безотчетно, в силу суровой необходимости создавать новую, великую веру в Человека. Да, он был истинный сын межвременья, порождение эпохи, не знающей настоящей веры, индивидуалист до мозга костей.

Даже к последнему бедняку он относился как человек к человеку. За исключением мошенников (одно из любимых его словечек), которых он разгадывал удивительно быстро, он был готов помочь всякому, кого постигла неудача, и особенно тому, кто так или иначе был ему знаком. Однако свои благотворительные дела он старался держать в тайне, словно бы сомневался в их разумности и в целесообразности огласки; поэтому ему при-

ходило самое к упаковке и рассылать старую одежду, тайком раздавать небольшие суммы денег или чеки. Но в целом он считал, что «бедняков» должен опекать закон о бедных, а вовсе не отдельные граждане. То же самое с преступниками: он мог жалеть или порицать их, но ему и в голову не приходило, что общество, к которому он принадлежал точно так же, как и они, в какой-то степени несет за них ответственность. Его понятие о справедливости, как было общепринято в те времена, основывалось на убеждении, что каждый человек начинал с равными или по крайней мере с достаточно широкими возможностями и судить его должно исходя из этого. Право же, в ту пору никто не волновался из-за проблем, выходящих за пределы его круга. А в своем кругу и в домашних делах справедливее его не найти было человека на свете. Он не допускал, чтобы личные симпатии влияли на его объективность, — разве что изредка, когда этого требовали его интересы, делал исключение с очаровательной наивностью. Такая справедливость отнюдь не мешала окружающим любить его: несмотря на раздражительность — он быстро вспыхивал и так же быстро отходил, — его считали очень приятным человеком. В характере у него не было и следа суровости. Смеялся он на редкость заразительно и весело, от всей души, как ребенок.

От удачной остроты его большое, благородное, исполненное достоинства лицо преображалось поразительным образом. Оно морщилось, словно скомканное, а в глазах загорались такие огоньки, погасить которые, казалось, могли только слезы. Он восклицал: «Богатая штука!» — это было излюбленное его выражение, когда что-нибудь ему нравилось, и вообще он любил употреблять девонширские словечки, всякий раз отыскивая их в потаенных уголках памяти и со вкусом повторяя их снова и снова. Он с детства сохранил пристрастие и к разным девонширским блюдам, вроде творога со сливками и мускатным орехом или запеченного в тесте бифштекса, а одним из самых приятных его воспоминаний было то, как он, когда ехал дилижансом из Плимута в Лондон, закусывал на почтовой станции в Эксетере, пока меняли лошадей. Они проехали тогда двадцать четыре часа без остановки, по десять миль в час! Вот

это езда! А какая была говядина и вишневая наливка! А старик возница; «невероятный толстяк», который правил лошадьми!

Он не был большим гурманом, но в Сити, где помещалась его контора, обедал у Роша, Пима или Берга, в этих солидных старинных заведениях, а не в современных претенциозных ресторанах. Он превосходно разбирался в еде и напитках, и, хотя сам пил крайне умеренно, в лучшие свои годы считался одним из самых тонких знатоков вина в Лондоне. Он очень любил чай и, полагая, что китайский чай пьют только люди, лишенные вкуса, признавал лишь лучшие сорта индийского и требовал, чтобы заваривали его по всем правилам.

Он не питал особой любви к своей профессии, считая себя выше нее, был убежден, что его истинное призвание — заниматься юриспруденцией, и, вероятно, был прав: со своим проницательным умом он наверняка стал бы виднейшим адвокатом. Я убежден, что государство потеряло в его лице великого вершителя правосудия. Несмотря на неприязнь к тому, что он называл «кляузными делами», он снискал глубокое уважение у своих клиентов, а акционеры — он состоял членом правления нескольких компаний — так высоко ставили его честность и здравый смысл, что он с успехом проводил свою политику, частенько более широкую и дальновидную, нежели позволял дух времени.

На общем собрании акционеров его лицо и вся фигура, невзирая на неприятности, дышали спокойным достоинством и редким мужеством. Он сидел молча, словно бы непричастный к разгоревшимся бурным страстям, и невозмутимо обдумывал свои дальнейшие планы.

Особенно памятны его столкновения с одним человеком, единственным достойным его соперником среди членов всех этих правлений, и я не припоминаю случая, чтобы он потерпел поражение. Горячность сочеталась в нем с осторожностью. И хотя он не обладал твердостью и железной выдержкой своего противника, зато он глубже заглядывал в суть дела, упорнее добивался своего, сочетая настойчивость с личным обаянием. Словом, он неизменно достигал своей цели.

Но все-таки самые лучшие, самые приятные его ка-

чества раскрывались в отношении к детям. С ними он становился нежен, проявлял неисчерпаемый интерес ко всем их делам, бывал терпелив до нелепости и заботлив, как мать. Ни один ребенок не мог устоять перед его добротой, это было просто невысказано. Детям нравились его седые волосы и борода — «перышки», как называл их один малыш. Им нравилось прикосновение его тонкой руки, которая никогда не бывала влажной или холодной, и, ухватившись за нее, они охотно шли с ним куда угодно, кроткие и послушные. Я не раз наблюдал, как он отправлялся в увлекательнейшее путешествие со своим внуком, и старик, повернув голову, серьезно смотрел вниз на обращенное к нему куда менее серьезное детское личико; я слышал, как они озабоченно обсуждали, что бы такое им придумать. Я не раз наблюдал, как они возвращались домой, усталые, но все такие же озабоченные тем, что им еще предстояло. Дети всегда охотно играли с ним в крикет, потому что он был медлителен, подавал им удобные мячи и проигрывал, едва успев начать партию. Несмотря на то, что в последние годы он стал увлекаться крикетом и проводил немало времени, глядя, как играют на площадках. Лорда¹ или у Оваля (причем посещал только игры высокого класса и не терпел матчей между Итоном и Харроу), сам он придерживался классической манеры, словно научился играть в конце двадцатых годов прошлого столетия и вдруг получил возможность потряхнуть стариной в 1895 году. Он играл изогнутой битой, отставляя одну ногу, и, когда попадал наконец по мячу, что случалось не слишком часто, неизбежно посылал его высоко вверх. В его ударе была такая удаля, которая никак не вязалась с его характером, так что он, как уже сказано, довольно быстро выходил из игры. Покидая площадку, он делал вид, что ужасно огорчен, и, к несказанному восторгу внука, швырял битку на землю, словно показывая, что он, мол, приложил все усилия, чтобы выиграть, и вообще-то говоря, так оно и было на самом деле. Однако его манера бросать мяч была чрезвычайно внушительна: он приседал и прицеливался, поднимая мяч к самым глазам, словно играл в кегли; он повторял это не-

¹ Томас Лорд — основатель «Мерилбоунского крикетного клуба».

сколько раз, а потом уступал подачу внуку, говоря, что ему стало жарко. Подавая мяч, он никак не мог сразу сообразить, что надо сдвинуть — колени или ступни; к тому же нагибался он с осторожностью, так как у него часто бывали прострелы, и от этого несколько страдало его великолепие, но зато, когда он завладевал мячом, начиналось самое увлекательное: никто не знал, бросит ли он мяч в бегущего противника, в «калитку» или в своего партнера, в зависимости от того, что ему покажется целесообразным. В его время игра не была единственным, что заполняет жизнь, и потому он не принимал всерьез подобные занятия. Те, кто вместе с ним переходили от обычного крикета к иному крикету в большом и равнодушном мире, замечали в нем необъяснимую, казалось бы, перемену. Детям же нравилось не только то, как он играет в крикет, — больше всего любили они его за то, что он всей душой отдавался любому занятию. Полюбоваться раковиной, послушать не смолкающий в ней шум моря, сделать треугольную шапочку из «Таймса», коллекционировать пуговицы, кормить хлебными крошками голубей, подержать за ножку ребенка, едущего на пони, чтобы тот не упал, — все это настолько занимало его, что в нем и следа не оставалось от рассудительного, всеми почитаемого делового человека. Он был удивительно терпим к детским проказам и никогда, ни за какие провинности не мучил ребенка поучениями, а на это способен лишь человек, который искренне любит возиться с детьми. При детях лицо его, обычно невозмутимое, светлело, становилось оживленным и беспечным.

Он берег, словно жемчужины, всякие ребячьи словечки и выдумки. Нравились ему, например, такие стишки:

На земле лежал червяк,
Был червяк почти мертвяк.
Я лопату раздобыл,
Ему голову срубил.

Он находил их весьма и весьма многообещающими. Его приводило в восторг, когда дети высказывали свое мнение о взрослых, особенно побывав в цирке. Он любил вспоминать такой разговор:

— Пап, а пап, а дядя — умный?

— Гм-м, ну... разумеется.

— Что-то я не заметил. Он даже палку на носу держать не умеет.

Он любил слушать, как дети перед сном молились сперва о «дорогих папочке и мамочке», а потом обо «всех бедных и страждущих», и его умиляло не столько чувство, которое они вкладывали в молитву, сколько то, как они в своих длинных ночных рубашонках так забавно старались оттянуть минуту, когда придется лечь в постель.

Что ни говори, а лучшими друзьями его были дети, и они понимали это.

За всю свою долгую жизнь он приобрел мало настоящих друзей среди взрослых, но зато, насколько мне известно, не нажил и врагов. Дело в том, что при всей своей общительности он был очень разборчив в знакомствах и так любил всегда быть первым, что редкий человек его возраста и положения не вызывал у него чувства законного превосходства.

Самую прочную и искреннюю дружескую привязанность он питал к одному большому и сильному человеку, который ненавидел обман и обладал отчаянным характером. Они глубоко уважали друг друга или, как, вероятно, выразились бы они сами, клялись именем друг друга, причем один посмеивался над непоколебимой уравновешенностью другого и вместе с тем уважал в нем эту уравновешенность, а другой сетовал на безрассудство приятеля и восхищался им. Замечания вроде: «Узнаю Джона — осторожный парень!» или: «Узнаю Сила — отчаянная душа!», не сходили у них с языка. Как и все люди их поколения, они были скупы на похвалы, и как же сильны были их чувства друг к другу, если они иногда все же высказывали их! Хотя жили они, что называется, душа в душу, они никогда не разговаривали на абстрактные темы и не касались области духа — попыхивая сигарами, они деловито говорили о знакомых, о капиталовложениях, винах, о своих внуках и племянниках, а также о государственных делах, неизменно осуждая дух рекламы, царивший везде и всюду. Иногда один из них рассказывал что-нибудь — но они слишком хорошо знали все друг о друге; иногда они вспоминали стихи Байрона, Шекспира или Мильтона; иногда

не в лад насвистывали несколько тактов песенки из репертуара Гризи, Марио или Дженни Линд. А иногда, когда незаметно нахлынут воспоминания юности, этой невозвратимой золотой поры, они подолгу сидели молча, серьезно и пристально глядя на кольца голубоватого дымка... Да, они любили друг друга, хоть и скрывали свои чувства.

Я словно и сейчас вижу того, чей портрет я попытался нарисовать, на похоронах его друга: серый ноябрьский день, тусклое, осеннее солнце освещает его чуть склоненную седую голову, его необыкновенно скорбное лицо. Я слышу его голос, все такой же твердый и звучный, и, вспоминая его глаза, которые словно видели под покровом смерти какой-то одному ему доступный потаенный смысл, понимаю, каким он был достойным, разумным и обаятельным человеком.

Люди этой породы вымирают, их почти не осталось. И когда мне вспоминается его высокий спокойный лоб, его мягкость, его взгляд, который проникал в самую суть всего, на чем бы ни остановился, я с грустью думаю, что такого человека мне уже никогда не встретить. Вместе с ним словно бы ушел из мира некий принцип, золотое жизненное правило, даже более того — дух, самая душа внутреннего равновесия. Этот дух исчез, как исчезают звезды на рассвете. Он витает теперь там, где обретается этот человек, постигший его таинственную сущность.

ЛОВЕЦ ЧЕЛОВЕКОВ

Немало уже прошло с той поры, когда я чуть не каждый день видел, как он выходит из пасторского дома; две собаки — ирландский сеттер и фокстерьер — шли за ним по пятам. Он направлялся к кладбищу и, становясь за воротами, устремлял взгляд за корнуэльское нагорье, где был его приход, к морю, блестящему примерно в миле отсюда. Поверх суганы у него висел небольшой золотой крест — единственное светлое пятно на всей его черной тощей фигуре. Выражением глаз в такие минуты он напоминал рыбака, что следит с высокой скалы за проплывающими мимо сардинами; но едва только взгляд этого ловца человеков упирался в серые, с желтыми заплатами лишайника крыши домов, где обитали его «двуногие рыбы», на впалых щеках вспыхивали красные пятна. Губы его начинали шевелиться и, резко отвернувшись, он входил в ворота, над которыми виднелась надпись «Небесные врата».

Могильные плиты сплошь покрывали кладбище, и лишь один зеленый уголок оставался незанятым. Кажется, пастор никогда не забывал взглянуть на него и подумать: «Этот уголок я сохраняю для себя. Не хочу лежать среди тех, кто отступился от бога».

Ибо это было несчастьем, которое, словно злой рок, преследовало его из года в год все двадцать лет его пасторства. Это угнетало его, как угнетает человека все, что ему не дано постичь. Короче говоря, число душ, уловленных им, постоянно сокращалось, и с тех пор, как он впервые был назначен в этот приход, от трехсот осталось

едва сорок. Каждое воскресенье он отправлял положенные три службы. Дважды в неделю, всматриваясь с ветхой кафедры сквозь полумрак церкви в лица своей все редеющей паствы, он резким, прерывистым голосом, который в его собственных ушах, без сомнения, звучал как музыка, благословлял, согласно своей вере, одних и проклинал других. Неделя за неделей разъяснял он нам, какой это грех не посещать храм божий и не соблюдать воскресенье. Он чтит все ритуалы и обряды, никогда не отказывался окрестить даже незаконнорожденного младенца или похоронить умершего, если только тот не сам лишил себя жизни; и всегда с особенной готовностью венчал тех, чье поведение вызывало в деревне пересуды. Непочтительности он не терпел: помню, никто не смел появиться в церкви иначе, как в праздничном костюме.

И однако стадо господне убывало. Пастор был холост и жил в запущенном доме при церкви со своими собаками, старухой экономкой и канарейкой. Он, по-видимому, не увлекался ни охотой, ни рыбной ловлей, ничем, что могло бы отвлечь его от пасторских обязанностей; он только и желал, чтобы прихожане не закрывали от него свои дома и души; и часто можно было видеть, как он, черный, худой, чисто выбритый, проходя мимо их дверей, останавливался и грозил пальцем, а потом шел дальше, глядя прямо перед собой неуголенным взором. Из года в год для поддержания в прихожанах веры он на свои деньги печатал и раздавал памятки, состоящие из таких выражений: «Лучше было бы для него, если бы повесили ему жернов на шею и бросили в море» или «А неверующие и малодушные будут гореть в геенне огненной». Когда он писал это, глаза его, наверно, сверкали, словно он уже видел, как грешники корчатся в вечных муках. Может быть, его прихожане и в самом деле заслуживали такой участи?

Если во время своих прогулок он встречал какого-нибудь нерадивого прихожанина, рыбака или фермера, он останавливался и в упор смотрел на преступника.

— Ты перестал ходить в церковь. Почему?

Они, как истые корнуэльцы, старались избежать неприятностей и придумывали какую-нибудь вежливую отговорку: мол, право, не знаю, как это вышло; или —

что-то хозяйка моя прихворнула. Всегда находилось не одно, так другое! Эти бесстыдные ухищрения не имели ровно никакого успеха, глаза пастора сверкали гневом, или он раздражался резким отрывистым смехом.

— Ты сам не знаешь, что говоришь! Ты, должно быть, с ума сошел, если думаешь, что спасешь свою душу. Мы живем в христианской стране!

Не было случая, чтобы после подобной встречи этот прихожанин хоть раз появился в церкви.

— Как же, дожидайся! — ворчали они. — Нечего нам в твоей церкви делать, коли ты с нами разговариваешь, как с собаками!

А между тем, будь они и впрямь собаками, пастор не стал бы так с ними говорить. С собаками-то он был неизменно ласков. Иногда его можно было видеть у поля спеющей пшеницы, где над золотистыми стеблями то здесь, то там мелькали головы двух его собак, гонявшихся за выводками серых куропаток или за молодыми фазанами. Было слышно, как он звал своим резким голосом: «Джим! Джим! Пэт! Пэт! Назад, разбойники!» Но когда они с высунутыми от восторга языками выбегали из хлебов, он только наклонялся к ним и грозил пальцем, а они, хорошо зная, что он никогда их не ударит, лизали ему руку или терлись о его ноги. Так же ласков он был с любым животным, с любой пичугой или насекомым, и они ничуть его не боялись. Нередко он сидел где-нибудь на верхней ступеньке перелаза через изгородь или стоял у обочины дороги среди зарослей дрока и ежевики; склонив набок голову в широкополой шляпе, он слушал, как снегирь или завирушка на ветке, футах в трех от него, поверяли ему свои маленькие тайны. Прежде чем отправиться на прогулку, он осматривал в бинокль золотистые пшеничные поля, выжженные солнцем пастбища и дюны, проверяя, не хочет ли какая-нибудь лошадь пить, не барахтается ли где-нибудь без помощи упавшая овца. Кроме того, он был ярый враг всяких капканов и силков и, если находил их, старался испортить так, чтобы в них ничего не попало. Эта неизменная доброта к бессловесным тварям, возможно, вызывалась желанием защитить их от фермеров, которые упорно не ходили в церковь, но больше, мне кажется, состраданием к этим бедным существам: ведь они не

имеют души, сегодня они живы, а завтра их уже нет; они не могут надеяться на вечное спасение и потому заслуживают сострадания в отличие от этих людей, чьи бессмертные души самим богом отданы на его попечение — любое наказание за их своенравие и непокорность было бы еще недостаточно сурово. Получалось так, словно, дав ему власть над другими людьми, церковь заставила его раздвоиться.

Ибо на жизнь он смотрел весьма просто, без малейшей примеси иронии, он не грешил любопытством или желанием связать воедино причину и следствие, или хотя бы допустить, что всему и всегда есть причина. В некий день бог создал из материи землю; материю эту он разделил на живую и мертвую, и они не связаны друг с другом; живую он разделил на животных и людей; в последних он вложил душу, создал их по своему образу и подобию. Для управления людьми и для их совершенствования бог сам воплотился в свою церковь. Церковь же воплотилась в своих священников. Таким образом, священнослужителю, которого провидение поставило выше страха оказаться неправым, вменяется в обязанность поучать, управлять и любой ценой спасать души людские.

Вот почему, я думаю, встретив в простых людях, отданных на его попечение, непонятный ему скрытый дух демократизма, упорное убеждение, что мир неделим, что власть не дана свыше, а создана людьми, что все в мире относительно, а не абсолютно, и прочее в том же роде, они выражали все это на свой лад, просто и безыскусственно, — пастор наш с самого начала испытывал мучительную досаду, которая, словно червь, точила его сердце. Мало-помалу эта червоточина стала заметна — она читалась у него в лице, в осанке, в глазах и голосе и даже в жестах его костлявых рук. Всем своим видом он напоминал потемневшее дерево, что чахнет под иссушающим ветром, подобно вековым дубам корнуэльского нагорья, искривленным и расколотым атлантическими бурями.

Ни днем, ни ночью в своем ветхом пасторском доме с верандой, застекленной красными стеклами, не забывал он, должно быть, про обиду, которую нанесли ему прихожане: ведь они отняли у него то, что принадлежало



«НАВСЕГДА»



«ЕЩЕ РАЗ»

ему по праву,— возможность спасти их души. Так чувствовал бы себя капитан, если бы ему, связанному по рукам и ногам и с кляпом во рту, пришлось наблюдать, как экипаж без него управляет кораблем. Или учитель, привязанный к столу среди беснующихся в классе сорванцов. Неудача эта была удивительна и невыносима для него, необъяснима и трагична, ибо для людей, которые слепы к изъянам собственного характера, их отношения с ближними всегда загадочны. Он не сомневался, что, из упрямства отказавшись от его поучений и тем самым от церкви, а через нее и от бога, прихожане обрекли себя на вечные муки. Но если они таким образом обречены на вечные муки, то он, их истинный пастырь, законный наставник, ставленник церкви и, значит, бога,— лишь бесплодное, бессильное ничтожество. Мысль эта не давала ему покоя. Неспособный посмотреть на себя со стороны, он пытался найти оправдание заблудшим — и не находил: он ведь проповедует не какие-нибудь узкие, отталкивающие своим фанатизмом догмы, как церковь католическая и диссиденты. Догмы и каноны, которые он призван внушать своей пастве, отличаются должной и необходимой широтой. Он добросовестно соблюдал все указания свыше, даже тогда, когда сам был не вполне с ними согласен. Поэтому в его поучениях не было ничего такого, что могло бы объяснить, почему тает его паства. Не мог он также отыскать ничего предосудительного и в форме своих поучений. И все же, подобно тому, как море во время отлива отступает от подножия седых корнуэльских скал, так и людское море неторопливо, но неумолимо отступало от его церкви. Как видно, прихожане хотели этим оскорбить его самого — что еще ему оставалось думать?

Где бы он их ни встречал — в школе, в почтовой конторе, на выгоне, на спевках или по дороге в церковь, — всегда ему чудилось какое-то пренебрежение, недостаток учтивости. Он, кажется, уже недалеко был от мысли, что эти люди, никогда не посещающие церковь, нарочно рождаются, женятся и умирают в самое неподходящее время, чтобы досадить своему пастору и посмеяться над ним, который не может, да и не желает отказываться от исполнения своего долга. Их поведение было просто кощунством! Обходя стороною божий храм и в то же вре-

мя призывая священника совершать требы, они обращали бога в своего слугу.

Вечерами пастора всегда можно было застать в его кабинете. Он сидел в задумчивости, опершись подбородком на руку; лампа слегка коптила; у ног его, свернувшись, лежали собаки; клетка с канарейкой была прикрыта занавеской, чтобы свет не тревожил птицу. И с первых же слов пастора становилось ясно, о чем он так неотступно размышлял.

— Ничего не добьешься в этой деревне! Я уже все испробовал! Что ни возьми — хоть футбольный клуб, хоть воскресную школу, — нигде нет порядка! Что делаешь с таким народом, если у него ни почтительности, ни смирения и послушания! Вам еще не приходилось сталкиваться с ними, как мне!

О его столкновениях с прихожанами и впрямь шла недобрая слава по всей округе. Прошение о том, чтобы его убрали отсюда, написанное втайне и поданное епископу, разумеется, ни к чему не привело. Пастора нельзя было убрать из прихода ни под каким видом — это место купил ему отец. Оказывалось, если прихожанам не нравится священник, это еще не значит, что они могут от него избавиться — с тем же успехом они могли бы просить, чтобы от них убрали самую церковь. Убедившись, что его позиция неприступна, люди хмурились и говорили:

— Ладно, нам-то что!

Шел уже двадцатый год его пасторства, когда, не поладив с приходским советом, он написал такое письмо:

«Считаю долгом сообщить, что не намерен впредь участвовать в заседаниях совета, так как, будучи христианином, я не могу больше встречаться с теми, кто упорно отказывается ходить в церковь».

Это было в конце сентября, и на следующее воскресенье был назначен праздник урожая. Неделя прошла, однако никаких даров для украшения церкви прихожане не принесли; рыбаки, по старинному обычаю этого прихода всегда приносившие фрукты вместо своих блестящих рыбин, тоже ничего не дали. Как видно, все заранее сговорились устроить бойкот.

Но когда в воскресенье пастор поднялся на кафедру, в церкви оказалось больше народу, чем всегда. Видно,

даже тем, кто давно уже забыл сюда дорогу, не терпелось посмотреть, как «старик» проглотит горькую пилюлю. Глаза фермеров и рыбаков, закаленных в борьбе со стихиями, горели мрачным и насмешливым любопытством — подобное выражение можно заметить в глазах людей, окруживших какого-нибудь пойманного с поличным горемыку, которого эта толпа, движимая беспощадным чувством справедливости, довела до потери облика человеческого. Почти на всех лицах, казалось, было написано: «Мы вас не выбирали, сударь, нашего согласия не спрашивали. С первого же дня вы показали свой дьявольский характер. Вы всегда были нам не по вкусу. И уж коли приходится вас терпеть, так мы хоть потешимся малость!»

Белая фигура пастора, выросшая над темной кафедрой, сразу приковала к себе наши глаза; а неутоленный взгляд его глубоко запавших глаз был устремлен в библию, которую он держал в руке. Он начал проповедь на текст: «Обильна земля плодами, в должный срок приносит она...»

Он говорил о милосердии и благодати божьей. По соизволению всевышнего земля каждый год дает людям пищу, какую им нужно. Голос пастора в это утро был, помню, непривычно тих и ровен, словно мир и довольство щедрой осени проникли и в его ожесточившуюся душу. Но вот он замолчал и, подавшись вперед, обвел взглядом всех, одного за другим. Теперь глаза его горели тем странным огнем, который был нам хорошо знаком. Он опять возвысил голос:

— А как вы, братья мои, отнеслись к этой милости, чем вы отблагодарили бога? Представителем его на земле является церковь и я, ее служитель. Вы думаете, господь позволит вам оскорблять его безнаказанно? Видно, в глупой гордыне вы возомнили, что он не покарает вас за это умышленное неуважение к нему? Если вы так думаете, вы горько ошибаетесь. Я вижу насквозь ваши мятежные души, я читаю в них, как в этой книге. Вы своенравны и непокорны, вы пытаетесь и всегда пытались восставать против моей пастырской власти. Но слушайте: бог, который поставил над вами свою святую церковь, строг и справедлив; как добрый хозяин наказывает своих собак для их же блага, так и он накажет

вас. Вы пытались от меня избавиться, — его бледные губы искривились, и в тишине слышалось что-то, похожее на смех, — избавиться от церкви и от самого бога! Это было величайшее ваше заблуждение. И вы думаете, что мы, в вечной заботе о спасении вашем, станем считаться с подобным ребяческим бунтом? Нет! Мы богом поставлены — и лишь перед богом мы в ответе. Даже если бы не осталось в приходе ни одного человека, ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, которые посещали бы церковь, я и тогда ни на шаг не отступил бы от своих обязанностей, не бросил бы свою паству. Поистине, можно подумать, что святая церковь для вас не больше, чем какой-нибудь жалкий, выбранный людьми наставник, который зависит от ваших капризов и которого можно прогнать, когда вам захочется. Вы, видно, вообразили, будто можно не принимать всерьез ни церковь, ни пастора, будто я должен потакать вам во всем и вести вас туда, куда вы прикажете? Нет, братья мои, не бывать этому! Разве пастуха выбирают овцы? Внемлите мне, пока еще не поздно: истину вам глаголю. Церковь — это скала, воздвигнутая господом посреди бурного житейского моря. Она рождена небом, а не этой жалкой землей. Ей дано приказывать, вам — повиноваться. Если в этой христианской стране все до последнего человека окажутся бунтовщиками и отступниками, церковь и слуги ее все равно будут стоять непоколебимо, как я стою перед вами в священном стремлении спасти ваши души. Падите на колена и молитесь всевышнему, чтобы он простил вам дерзкое оскорбление!.. Псалом двести шестьдесят шестой: «Свет благостный, выведи нас из тьмы кромешной!»

Над сумрачными приделами, где царила глубокая тишина, поплыли звуки органа. Первый стих псалма пел только хор да несколько женских голосов, потом один за другим присоединились и мужчины. Никогда еще мы не слышали в нашей маленькой церкви такого громкого пения — голоса слились в мятежный, дикий рев, словно каждый в этой угрюмой толпе вкладывал в слова кроткого псалма все накопившееся в его сердце негодование. Вылетая из открытых дверей, рев этот, должно быть, заставлял вздрагивать случайного человека и гусей на окрестных фермах. Закончился он стоном, подобным протяжному всхлипу волны, что откатывается от берега.

Толки об этой проповеди не смолкали в деревне чуть ли не целую неделю. Фермеры и рыбаки — люди, умудренные жизнью. Неустанный труд, вечная борьба с землею и морем, к которой их побуждает лишь собственное мужество, и весь уклад жизни сделали их философами. Среди рыбаков был один седобородый старик, который, по-видимому, усмотрел в проповеди пастора какой-то особый смысл.

— Поп вознес себя над нами, вроде как русский царь,— говорил он,— вот в чем несправедливость. Говорят: добро, любовь,— а церковь только и твердит нам: «Делай, как велят, или будешь проклят!» И наша заноза из того же самого полена!

По словам старика выходило, будто вся церковь относится к людям так же, как их пастор. Крестьяне по этому поводу выражались проще:

— Можно загнать коня в воду, а уж пить силком не заставишь.

— Захотел, вишь, спасти наши души! Пускай свою спасает!

— Где нам, дуракам, его мудрые проповеди слушать!

В следующее воскресенье утром пастор застал в церкви только служку, двух приезжих, трех старух, из которых одна была совершенно глухая, да четырех девочек.

Позднее, в тот же ветреный, непогожий день, по деревне со смехом передавали из уст в уста:

— Старик залез на Треселинский утес, морю проповедует!

Быстро собралась толпа, жаждущая какого-нибудь развлечения, чтобы убить скуку. За оврагом, над серыми крышами рыбацкого поселка, круто вздымался Треселинский утес. На его вершине, у самого края, виднелась крохотная черная фигурка с воздетыми к небу руками. Вот человек в черном опустился на колени и надолго застыл так, а позади него белым и коричневым пятнышками свернулись в невысокой траве его собаки. Вдруг он вскочил и принялся исступленно размахивать руками, так что собаки отскочили в сторону и снова прижались к земле, словно испуганные поведением хозяина.

Целых два часа жители деревни молча, с жадным вниманием наблюдали это странное зрелище. Общее

мнение было, что «старик вконец свихнулся». Но мало-помалу вид этого черного человечка, взывавшего к своему богу, богу властному и воинствующему, пробудил суеверное чувство в людях, которые жили в постоянной борьбе со стихиями. Они не могли не оценить того, что так соответствовало мстительному духу воинственной расы. Они даже заметно оробели. Потом налетевшая с моря стена дождя скрыла от их глаз и утес и человека на нем.

На другое утро разнесся слух, что пастора нашли в кресле мертвым; у ног его лежали собаки, а на окоченевшей руке сидела канарейка. На нем была все та же мокрая одежда, словно он только и смог из последних сил дотащиться до своего кресла, чтобы здесь умереть. Тело «бедного незадачливого джентльмена», как назвала его старуха экономка, поникло и съежилось, подбородок уперся в маленький золотой крест, висевший поверх сутаны.

Его похоронили в стороне от его прихожан, в том зеленом уголке, который он приберегал для себя, и на могильной плите высекли такие слова:

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ
ПАСТОР АНГЛИЙСКОЙ ЦЕРКВИ
П... В...
«БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ»

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ

Стоял погожий летний день. Лето только начиналось, и птицы еще не допели свою весеннюю песнь, и не облетели еще лепестки с цветущих деревьев. Мы сидели в садике у нашего лондонского дома.

— Чу! А вот щегол! — сказал внезапно наш друг.

Дрозды здесь действительно водились — и черные и простые — и сколько угодно синиц. По ночам ухала сова. Залетал и птичий Христофор Колумб — кукушка, которая раз в год вполне серьезно принимала этот заросший деревьями зеленый островок за лесные массивы Кента и Суррея. Но щегол? Никогда!

— Я его слышу вон там! — сказал он опять, встал и пошел к дому.

Вернувшись, он снова сел и заметил:

— А я и не знал, что вы держите птицу в клетке.

Мы признались, что у нашей кухарки и вправду есть клетка с канарейкой.

— Вот дубина! — бросил он.

Его явно что-то взволновало, и притом очень сильно, но что именно, мы не могли понять.

Вдруг его прорвало:

— Не выношу, когда кого-то держат в клетке — животное, птицу, человека. Видеть не могу!

И, сердито взглянув на нас, как будто мы, воспользовавшись случаем, нарочно вытянули из него это признание, он быстро продолжал:

— Несколько лет тому назад я вместе с приятелем был в одном немецком городе. Приятель занимался ис-

следованием разных социальных проблем и однажды позвал меня осматривать тюрьму. Я тогда еще ни разу тюрьмы не видал и согласился. День был такой же точно, как сегодня,—небо совершенно чистое, и все вокруг искрилось тем прохладным мерцающим светом, который только кое-где в Германии и увидишь. Здание тюрьмы стояло в центре города и имело форму звезды, как и все дома заключения, построенные в Германии по типу Пентонвилльской тюрьмы. Здесь действовала, как нам сказали, та же система, что и много лет назад. Тогда — как и теперь, без сомнения,—немцы носились с идеей, что узников следует заточать в полном одиночестве. Но в то время это была для них новая игрушка, и они наслаждались ею с той фанатической основательностью, которую немцы вкладывают во все, за что ни возьмутся. Не хочется рассказывать о том, какая это была тюрьма и что мы в ней видели; насколько это возможно, когда речь идет о заведении, которое основано на такой страшной системе, порядок в ней был хороший. Начальник, во всяком случае, произвел на меня неплохое впечатление. Я вам просто расскажу о том единственном, чего никогда не забуду; для меня оно навеки стало символом неволи — для четвероногих и двуногих, больших и малых — для всего живого.

Друг наш помолчал, а потом с еще бóльшим раздражением, как будто чувствуя, что совершает насилие над собой, изменяя природной своей сдержанности, продолжал:

— Мы уже успели обойти все это серое здание, когда начальник тюрьмы спросил моего товарища, не хочет ли он увидеть одного-двух «пожизненных».

«Я покажу вам одного, который пробыл здесь двадцать семь лет,—сказал он. (Вы понимаете, я помню все, что он говорил, слово в слово.)—Этот человек немного утомлен своим долгим заключением». Пока мы шли к камере, он рассказал нам историю этого узника. Работая подручным у краснодеревщика, он совсем мальчишкой связался с воровской шайкой, чтобы ограбить хозяина. Застигнутый врасплох на месте преступления, он ударил вслепую и убил хозяина на месте. Его приговорили к смертной казни, но вмешалась какая-то августейшая особа, которую в свое время привел в душевное

расстройство вид трупов — кажется, после битвы при Садове¹. Приговор был смягчен: пожизненное заключение.

Когда мы вошли в камеру, он стоял совершенно неподвижно и глядел на свою работу. Ему вполне можно было дать лет шестьдесят, хотя на самом деле он никак не мог быть старше сорока шести — согбенный, дрожащий, настоящая человеческая развалина, прикрытая длинным грязновато-желтым фартуком. Лицо его, мучнисто-бледное и рыхлое, как у всех заключенных, казалось, было лишено всякого выражения. У него были впалые щеки, большие глаза, но, оглядываясь теперь назад, я не могу припомнить, какого они были цвета да и был ли у них вообще цвет. Когда мы, один за другим, входили в железные двери, он снял свой круглый арестантский колпак, тоже грязновато-желтый, как и все вокруг, и, обнажив пыльно-серую, почти совсем облысевшую голову с коротким, реденьким ежиком седых волос, встал по стойке «смирно», глядя на нас робкими, покорными глазами. Он был похож на сову, встревоженную дневным светом. Видели вы когда-нибудь ребенка, который впервые в жизни заболел и бесконечно удивлен своими страданиями? Такое лицо было у этого человека — но только кроткое, необыкновенно кроткое! Мы перевидали много заключенных, и только он один порази нас этой душераздирающей кротостью. И потом этот голос: «Ja, Herr Director.—Nein, Herr Director²»,—тихий, безнадежный—я и сейчас его помню,—в нем не осталось и следа твердости, воли...

Наш друг замолчал и нахмурился, припоминая. Но вот он заговорил снова:

— В руке он держал лист плотной бумаги, на который значками азбуки для глухонемых переписывал евангелие. Он провел тонкими пальцами по шрифту, показывая нам, как легко будет глухонемым читать, и я увидел у него на руках налет белой пыли, как у мельника. В камере не было ничего такого, откуда могла бы взяться

¹ Садова — город в Чехословакии, где во время австро-прусской войны 1866 года произошла битва, закончившаяся поражением австрийцев.

² Да, господин директор.—Нет, господин директор (нем.).

эта пыль; я убежден, что это вообще была не пыль, а какое-то вещество, выделяемое человеческим организмом, загнивающим, если можно так сказать, на корню. А лист бумаги в его вытянутой руке трепетал, как крыло насекомого. Один из нас спросил, кто придумал систему, которой он пользуется в работе, и назвал какое-то имя. «Nein, nein», — промолвил он и застыл, дрожа от напряжения, от усилия припомнить имя. Наконец он поник головой и пробормотал: «Ah, Herr Director, ich kann nicht»¹, — как вдруг само собой это имя сорвалось у него с языка. В тот миг он стал похож на человека — в первый раз. До тех пор я не понимал, что значит для человека свобода, какова истинная ценность общения с тебе подобными, как необходимо, чтобы каждую минуту твой мозг шлифовали звуки, образы, необходимость запоминать и использовать то, что запомнил. А этот узник не находил применения для своей памяти. Он был похож на растение, посаженное там, где никогда не выпадает роса. Нужно было видеть, как изменилось его лицо, когда он всего-навсего припомнил какое-то имя! Будто крошечный клочок зелени, уцелевший в сердцевине увядшего куста. Человек, скажу я вам, — это нечто поразительное! Самая терпеливая из всех земных тварей!

Наш друг встал и зашагал взад-вперед по дорожке. — Невелик был его мир: приблизительно футов четырнадцать на восемь. Он прожил там двадцать семь лет без единого друга — хотя бы мышонка какого-нибудь дали в товарищи! В тюрьме дело поставлено основательно. Подумать только, какая громадная жизненная сила должна быть заложена в человеческом организме, чтобы пережить такое... Как вы думаете, — продолжал он, резко обернувшись к нам, — что же поддерживало в нем эту искру рассудка? Так вот, я вам скажу, что. Мы все еще рассматривали его «глухонемые» письма, как вдруг он протянул нам деревянную дощечку величиной с большую фотографию. Это был портрет девушки, сидящей посреди сада с яркими цветами в руке. На заднем плане протекал узенький извилистый ручей, вдоль которого кое-где росли камыши, а на берегу стояла

¹ Ах, господин директор, я не могу (нем.).

большая птица, похожая на ворона. Девушка была изображена под деревом с крупными плодами — удивительно симметричным и не похожим ни на одно из настоящих деревьев. И все-таки было в нем что-то, присущее им всем: такой вид, будто у них есть души, будто деревья — друзья человеку. Девушка глядела прямо на нас совершенно круглыми голубыми глазами, и цветы в ее руке, казалось, тоже смотрели на нас. Мне почудилось, что вся картина пронизана — как бы это выразиться?.. — недоумением, что ли. Она отличалась той грубостью красок и рисунка, какая свойственна работам ранних итальянских мастеров: чувствовалось, что художнику было трудно, и только вдохновение преодолело эту трудность. Кто-то из нас спросил, учился ли он рисовать до того, как попал в тюрьму; но бедняга не понял вопроса. «Nein, nein, — сказал он. — Господин начальник знает, что у меня не было натурщицы. Я эту картину выдумал!» И он улыбнулся нам такой улыбкой, что сам дьявол не удержался бы от слез. Он вложил в эту картину все, о чем тосковала его душа, — здесь были женщины и цветы, птица, деревья, синее небо, и ручей и его бесконечное недоумение, что все это у него отняли. Работал он над нею, как нам сказали, восемнадцать лет, — писал, соскабливал, повторял, пока наконец не закончил этот сотый по счету вариант. Это был шедевр. Да, двадцать семь лет просидел он здесь, осужденный всю свою жизнь провести в этом гробу, лишенный возможности обонять, видеть, слышать, осязать то, что естественно для человека; лишенный даже памяти. Он исторг из своей изголодавшейся души это видение — девушку с полными изумления глазами и с цветами в руке. Это был величайший триумф человеческого духа, величайшее свидетельство всемогущей силы искусства, какое мне когда-либо доводилось видеть.

Наш друг коротко засмеялся:

— Но ведь вот какое толстокожее животное человек: даже тогда я не мог вполне почувствовать, что за смертельная мука — жизнь этого узника. Правда, потом я это понял. Я случайно увидел его глаза в ту минуту, когда он пытался ответить на вопрос начальника, как он себя чувствует. До смертного часа мне их не забыть. Это была настоящая трагедия. Целая вечность одиночества

и безмолвия, которую он пережил здесь, смотрела из этих глаз; целая вечность, которую ему еще предстоит пережить, пока его не похоронят там, на тюремном кладбище. Такие жалкие, такие несчастные глаза были у него, каких на воле не увидишь у всех людей, вместе взятых. Я не мог вынести этого зрелища и поспешил выйти из камеры. В те минуты я раз и навсегда понял, почему страдание священо. Говорят, русские понимают это, хоть некоторые и считают, что они ведут себя порой, как дикари. Я почувствовал, что все мы должны склонить перед ним головы; что я, свободный, добропорядочный человек, выгляжу шарлатаном и грешником рядом с этим живым распятием. Какое бы преступление он ни совершил — не все ли мне равно, какое, — перед ним, этим бедным, потерянным существом, согрешили так страшно, что я — лишь прах у него под ногами. Подумаю о нем — он ведь и сейчас, наверное, там, — и во мне поднимается злоба на мне подобных, и я чувствую щемящую боль всех, кто сидит в клетке, — всех на свете.

Он отвернулся и с минуту молчал.

— Я вспоминаю, — проговорил он наконец, — как на обратном пути мы проезжали по городскому парку. Вот уж где вдоволь было приволья и света. Каких только там не росло деревьев — липы, буки, дубы, платаны, тополя, березы, яблони в цвету — и каждое благоухало по-своему, каждая веточка, каждый листок так и светились счастьем. Парк был полон птиц. Птицы, эти пернатые символы свободы, порхали себе на солнышке, распевая на все голоса. Да, это было сказочное местечко. Прекрасно помню, как я подумал, что среди бесконечно разнообразных созданий Природы лишь человек да паук терзают свою жертву так медленно, потихоньку высасывая из живого существа самую жизнь. Но холодно и невозмутимо подвергать такой пытке своих собратьев — на это способен только человек. Это, насколько мне известно, один из фактов естественной истории. Могу вас уверить, что увидев — как видел я в глазах того заключенного — и поняв раз навсегда, что это за невыносимый кошмар, вы уже никогда не сможете по-прежнему относиться к людям. В тот вечер я сидел у окна в кафе, слушал музыку, болтовню, смех, смотрел, как проходят по

улице приказчики, солдаты, торговцы, чиновники, священники, нищие, знатные господа, проститутки. Из окон струился свет, едва заметно трепетали листья на фоне изумительного темно-синего неба. Ничего этого я не видел и не слышал. Я видел только мучнисто-белое лицо того бедняги, его глаза, пыльные, дрожащие руки, картину, написанную им там, в этом аду. С тех пор я вижу ее каждый раз, стоит мне только увидеть одинокую живую тварь в клетке.

Наш друг замолчал и очень скоро, сославшись на какой-то предлог, встал и ушел.

МУЖЕСТВО

— В то время,— сказал Ферран,— я жил в бедности. И это была не та бедность, когда обходятся без обеда, а та, когда нет ни завтрака, ни обеда, ни ужина и человек кое-как существует, довольствуясь только хлебом и табаком. Жил я в одной из четырехпенсовых ночлежек в районе Вестминстера, где в комнате стоят три; пять, а то и семь коек. Если платишь исправно, можно пользоваться отдельной койкой, если нет, в твою постель обязательно пустят постояльца, а он, конечно, оставит по себе памятку. В этом квартале очень мало иностранцев; живут здесь преимущественно англичане, и почти все они пьяницы. Три четверти населения ночлежек не едят—не могут: организм их уже не воспринимает твердой пищи. Они пьют и пьют. Это все народ, ради которого вам не стоит раскошелиться. Извозчики, продавцы газет или шнурков для ботинок и так называемые «сэндвичмены»¹. Многие, очень многие из них потеряли человеческий облик, и возрождение для них уже невозможно. Да и может ли быть иначе? Они живут уже только для того, чтобы наскрести себе на пропитание и удержать душу в теле; ни о чем другом они не могут думать — нет ни времени, ни сил. Поздно ночью они возвращаются в ночлежку, валяются и засыпают. Спят как убитые. Они почти ничего не едят: кусочек хлеба и все! Зато они пьют!

¹ Сэндвичмен — человек-реклама. На спину и грудь ему вешают листы плотного картона с наклеенной на нем рекламой. Он обязан ходить по городу 8—10 часов в день.

К нам в ночлежку часто приходил один французик; лицо у него было желтое, с мелкими морщинками у глаз, а ведь он не старый был — лет тридцати! Но жизнь у него сложилась нелегко — в такие места от хорошей жизни никто не попадает, особенно французы: они ведь очень неохотно покидают родину. Этот француз приходил брить нас — по пенни с человека. Ему часто забывали платить, так что на круг он получал пенни за три бороды. Работал он и в других ночлежках — тем и зарабатывал себе на жизнь. Правда, у него еще была лавчонка по соседству, но торговля шла из рук вон плохо. Как этот человек работал! Он ходил еще и в тюрьму брить арестантов, хотя это была работа невыгодная: платили там по одному пенни за десять человек. Шевеля усталыми пальцами, похожими на желтые палочки, он часто говорил мне: «Эх, работаю, как вол. Зарабатываю один пенни, а трачу четыре. А как же быть, друг мой? Надо как-нибудь питаться, чтобы иметь силы брить десять человек за один пенни». Он мне напоминал муравья, который кружит и кружит около своего муравейника и все только для того, чтобы прожить. Он мечтал накопить столько денег, чтобы можно было вернуться во Францию. Мы понравились друг другу. В нашем крольчатнике он был единственным человеком, у которого имелись свои мысли и идеи, если не считать одного «сэндвичмена», бывшего актера и человека очень умного — когда ему случалось быть трезвым. Французик очень любил развлечения, увлекался мюзик-холлом, посещал его не реже двух раз в год и постоянно болтал о нем. Правда, о некоторых прелестях мюзик-холла он имел весьма смутное представление — на это у него не было денег, — но восторгался им чистосердечно. Меня он всегда брил последним и делал это очень медленно.

— Для меня брить вас — отдых, — говаривал он.

А для меня это было развлечением, потому что к тому времени я приобрел привычку по несколько дней кряду не раскрывать рта. Редко попадается человек, с которым можно поговорить по душам. Остальные только поднимают тебя на смех, принимают за идиота или чудака, одним словом, за существо, которое надо запереть в клетку или привязать за ногу.

— Да, — говорил французик. — Когда я приехал сю-

да, я думал, что скоро вернусь во Францию, теперь я уже не так уверен в этом. Теряю иллюзии. Говорят, что у денег есть крылья, но ко мне они не летят. Поверьте, мой друг, я всю душу вкладываю в бритье этих субъектов. Как они страдают, бедняги, какие они несчастные! Вы скажете: зачем пьют? Но только это их и спасает, другой радости нет! Я, к сожалению, не могу пить, организм не позволяет. Вот здесь.—И он показал, где именно организм не позволяет.—Вам тоже, дружище, видно, не очень-то везет, но вы молоды. Да что говорить, *faut etre philosophe* — будем философами! Но вы представляете себе, как в этом климате трудно оставаться философом — особенно южанину!

Когда я уходил надолго из ночлежки, потому что мне уже нечего было закладывать в ломбард и нечем платить за койку, он давал мне денег, именно давал, так как в таких местах денег не одалживают: если человек здесь расстается с деньгами, то это значит, что он их просто отдает, и счастье, если еще вдобавок его не ограбят. Много здесь таких парней, которые высматривают у кого-нибудь ботинки или приличное пальто и, когда все заснут, извлекают выгоду из своей бессонницы и сразу исчезают с этими вещами. Нравственность отступает перед нищетой — для нее нужен человек из железа, а эти люди из соломы. Одно только можно сказать об англичанах, попавших на дно, — они не кровожадны, как их французские или итальянские собратья.

Я ушел из ночлежки и нанялся кочегаром на пароход, потом некоторое время бродяжничал и наконец через полгода снова вернулся в ночлежку. В первое же утро я увидел своего приятеля француза. Был день стрижки и бритья, и он работал изо всех сил, его руки, ноги — все было в движении, и более, чем когда-либо, он напоминал муравья. Мой француз еще больше пожелтел, и на его лице как будто прибавилось морщинок.

— А! Вот и вы! — окликнул он меня по-французски.— Я знал, что вы вернетесь. Подождите, пока я побрею этого субъекта, мне о многом надо с вами поговорить.

Мы пришли на кухню — большую, с каменным полом и обеденными столами — и сели у огня. Был январь; впрочем, огонь здесь, на кухне, горел и зимой и летом.

— Итак, вы вернулись,— сказал француз.— Не повезло? Ничего, ничего, терпение! В вашем возрасте не страшно потерять еще несколько дней... Какие стоят туманы! Видите, я все еще здесь, а мой товарищ, Пигон, умер. Помните его — такой высокий мужчина, черноволосый. Он еще держал лавчонку на этой улице. Приятный человек и мой большой друг. Женатый. Его жена — красивая женщина. Правда, слегка перезрелая, у нее, видите ли, много детей, но красивая и из хорошей семьи. Пигон умер внезапно, от разрыва сердца. Одну минуту, я сейчас вам все расскажу...

Это случилось в один прекрасный октябрьский день, вскоре после того, как вы уехали. Я только что кончил брить наших ночлежников и сидел у себя в лавке. Пил кофе и думал о бедняге Пигоне — это было на третий день после его смерти. Вдруг — бац! Стук в дверь, и появляется мадам Пигон. Спокойная, очень спокойная — сразу видно, что хорошо воспитанная женщина из хорошей семьи. Красивая и такая представительная... Но щеки бледные и глаза красные, заплаканные. Бедняжка!

— Мадам,— спрашиваю,— чем могу служить?

Оказывается, бедняга Пигон умер банкротом. В лавке ни цента. Он всего два дня в могиле, а судебные приставы уже явились к вдове.

— Ах, мосье! — говорит она мне.— Не знаю, что делать.

— Подождите, мадам,— говорю я, беру шляпу и вместе с ней отправляюсь в лавку.

Какая сцена! Два судебных пристава — которым, кстати, не мешало бы побриться — сидели в лавке, а повсюду, *та fói*¹, повсюду были дети! Девочка лет десяти, очень похожая на магь, два мальчика помоложе в коротких штанишках, третий еще меньше, в одной рубашонке, да и на полу ползали двое малюток. Все они, кроме девочки, ревели. Такой шум! Все вопили, плакали, словно их раздирали надвое! Приставы сидели озадаченные. Я и сам чуть не заплакал! Семеро, к тому же один меньше другого! А я и не знал, что у бедняги Пигона их столько!

¹ Даю слово (франц.).

Приставы вели себя очень хорошо.

— Ну,— сказал старший,— даем вам двадцать четыре часа, чтобы достать денег. А пока мой помощник останется в лавке. Поверьте, мы не хотим поступать с вами круто!

Я помог матери успокоить детей.

— Будь у меня деньги,— сказал я,— они немедленно были бы в вашем распоряжении, мадам. Человек благородного происхождения должен быть гуманным. Но у меня нет денег. Попытайтесь вспомнить, нет ли у вас друзей, которые могли бы помочь вам?

— Мосье,— отвечала она.— У меня нет друзей. Да и было ли у меня время завести их. Я... ведь у меня семеро детей!

— Но, может быть, дома, во Франции, мадам...

— Нет, и там никого, мосье. Я поссорилась со своей родней. Вот уже семь лет, как мы покинули родину, и уехали мы только оттого, что никто не хотел нам помочь.

Все это было очень печально, но что я мог сделать? Мне оставалось только сказать:

— Никогда не теряйте надежды, мадам, и доверьтесь мне!

Я ушел. Целый день размышлял о ее необыкновенной выдержке. Изумительно! И все время я твердил себе: «Ну давай же раскинь умом, придумай что-нибудь!» Но придумать ничего не удавалось.

На следующий день я должен был работать в тюрьме. Я отправился туда. Голова у меня была занята мыслями о бедной женщине и о том, как ей помочь. У меня было такое чувство, как будто ее малыши вцепились в мои ноги и повисли на мне. Я опоздал и, чтобы наверстать время, брил ребят так, как никогда их не брил. Что и говорить — жаркое было утро, я весь вспотел! Десять за пенни! Десять за пенни! Я все время думал об этом и о бедной женщине. Наконец всех выбрил, сел отдохнуть. И тут я сказал себе: это уж слишком! Зачем ты это делаешь? Просто глупо так тратить силы!

И тогда-то мне пришла одна мысль! Я вызвал начальника.

— Мосье, — сказал я, когда он появился.— Я больше сюда не приду.

— Что это значит? — спросил он.

— Хватит с меня такой работы по десятку за пенни. Я женюсь, и я не могу позволить себе ходить сюда за такие гроши. Здоровье дороже.

— Что? — говорит он. — Вы счастливый человек, если можете так швыряться деньгами.

— Я швыряюсь деньгами?! Простите, мосье, но вы только посмотрите на меня! — Я все еще был весь потный. — На каждом заработанном у вас пенни я теряю три, и это не считая износа подметок. Покуда я был холостяком, это было мое личное дело, я мог себе позволить излишество. Но сейчас... сейчас надо с этим кончить... Честь имею, мосье!

Я вышел и направился прямо в лавку Пигона. Пристав еще сидел там. Тьфу! Он, наверное, все время курил не переставая.

— Я больше не могу ждать, — сказал он мне.

— Это и не нужно, — ответил я, постучал и вошел в комнату за лавкой.

Дети играли в углу, а старшая девочка — ах, какое золотое сердце! — смотрела за ними, как мать. Мадам сидела у стола, на руках у нее были ветхие черные перчатки. Дорогой друг, поверьте, я никогда не видал такого лица — спокойного, но такого бледного и унылого! Можно было подумать, что она ждет смерти. Положение ее было очень скверное, очень, тем более, что надвигалась зима.

— Доброе утро, мадам! — сказал я. — Какие новости? Вам удалось что-нибудь уладить?

— Нет, мосье. А вам?

— Тоже нет. — И я опять посмотрел на нее.

Прекрасная женщина! Ах, какая женщина!

— Но сегодня утром, — сказал я, — мне пришла в голову одна идея. Что бы вы сказали, если бы я попросил вас быть моей женой. Это все-таки какой-то выход...

Она подняла на меня черные глаза и ответила:

— Охотно, мосье.

И только тогда, дружище, ни на секунду раньше, она расплакалась.

Француз умолк и пытливо посмотрел на меня.

— Гм! — отозвался я после паузы. — Вы мужественный человек!

Он снова посмотрел на меня; в его взгляде появилось

беспокойство, как будто я сказал ему неудачный комплимент.

— Вы так думаете? — сказал он, и я заметил, что эта мысль грызет его, точно слова мои пролили свет на какое-то неясное опасение, таившееся в его душе.

— Да! — сказал он, помедлив с ответом. Морщины на его добром желтом лице стали глубже и словно потемнели.— Да, я боялся. Я боялся даже тогда, когда просил ее руки. Семеро ребятишек! — Он еще раз взглянул на меня.— Но потом... иногда... иногда я...

Он помолчал, а потом горячо и взволнованно сказал:

— Жизнь очень трудна! Но что было делать? Я знал ее мужа. Не мог же я оставить ее на улице!..

ВСТРЕЧА

Гуляя однажды по Кенсингтонскому саду, я набрел на маленькое кафе, куда эlegantная публика никогда не заходит, и сел с той стороны, где посетителей защищает от солнца широкий тент.

Ветерок, налетая легкими порывами, шевелил на полуголых ветках недавно распустившиеся листья; воробьи и голуби искали в траве крошки; и все бледно-желтые стулья и круглые мраморные столики на трех ножках, с перевернутыми толстыми чашками и одиноко стоящими сахарницами предлагали мне свое холодно-ватое гостеприимство. Несколько столиков было занято; за одним сидел худенький, бледный ребенок в непомерно большой белой шляпе и с ним жизнерадостная нянюшка из Красного Креста и какая-то дама в сером, чьи трогательные робко-благодарные глаза говорили о том, что ей нелегко дается выздоровление; за другим жевали пирожки две дамы — скорее всего, американки — с приятными, умными загорелыми лицами; за третьим курил коренастый старик, седой и плешивый. И через короткие промежутки времени, как зов души этого весеннего дня, долетал из-за озера крик павлинов.

По гравию дорожки слева шел, помахивая тростью, молодой человек в модном фраке, блестящем цилиндре и лакированных ботинках. У него было свежее, румяное лицо, подкрученные темные усики и дерзкие блестящие глаза. Он шагал, как спортсмен, у которого икры и бедра упруги от мускулов, и поглядывал вокруг с преувеличенной беспечностью. Но за развязностью его поход-

ки я разглядел ожидание, беспокойство, вызов. Он прошел обратно, явно отыскивая кого-то, и я потерял его из виду.

Скоро он возвратился, но теперь с ним была она. О, она была просто прелесть! Из-под вуали виднелось нежное, как цветок, личико; она кидала быстрые взгляды по сторонам и старалась держаться с полной непринужденностью, как человек, уверенный в своей правоте. Но за этим тоже скрывалась сложная смесь чувств: скрытое недовольство своим положением, и какое-то грешное торжество, и боязнь понасться. А он? Как он изменился! Глаза, теперь уже не дерзкие и беспокойные, были полны робкого восхищения, почтительного обожания; исчезло это выражение животного самодовольства и беспечности.

Выбрав столик неподалеку от моего, очевидно, за какие-то его стратегические выгоды, он выдвинул для нее стул, и они сели. Я не мог слышать, что они говорили, но я мог наблюдать их, и у меня не было ни малейших сомнений в том, что это их первая встреча украдкой. Та первая встреча, когда их не должны были видеть, или, вернее, та первая встреча, когда они чувствовали, что их не должны видеть,—это вещи очень различные. В душе они преступили невидимую границу приличия. Это был момент, надвигавшийся, может быть, в течение месяцев, прелюдия, которая в истории каждой любви бывает один только раз и которая так облегчает горечь последующего.

Все это мне сказали их глаза — ее, неустанно следившие за всем, что происходило вокруг и неожиданно прикивавшие взглядом к его глазам, и его, пытавшиеся скрыть волнение и откровенно восхищенные. Для психолога было бы интересно наблюдать эту разницу между мужчиной и женщиной. В упоении своей украденной радостью она все-таки наблюдала за окружающими, инстинктивно заискивая перед ними, как бы признавая свою вину перед обществом; он же был озабочен лишь тем, чтобы не казаться смешным, не уронить себя в собственном мнении. Для него мнение общества гроша ломаного не стоило теперь, когда он вот так смотрел ей в глаза.

«А ну их всех к черту!» — говорил он себе. Она же,

по-прежнему глядя на окружающих, как кошка глядит на драчливого пса, знала, что смешной она казаться не может, этого ей нечего опасаться. И, когда их взгляды встречались и на мгновение приковывались друг к другу, у тех, кто их видел, тихонько сжималось сердце, как сжимается оно от крика павлинов и первого аромата платанов весной.

Я задумался. Мне представилась жизнь, неизбежно уготованная их любви, которая была теперь в цвету, как эти деревья,— первые робкие ее ростки, цветение и увядание. Может быть, они были тем исключением, которое обманывает все ожидания и только подтверждает правило? Нет, где там! Это были просто двое влюбленных, мужчина и женщина, у которых все молодо, сильно, естественно, у которых весна в крови; они только что «двинулись», как говорят о лососях, и так же неотвратно должны были вернуться в море в свой срок. На эту пару, склонившуюся друг к другу головами, все предречения и наставления морали могли бы повлиять не более, чем мокрый снег на неизбежный ход весны.

Я думал о том, что их ждет: его — часы ожиданий, когда замирает сердце и мучает неизвестность: «Придет она?» или «Почему она не пришла?» Ее — часы сомнений: «Неужели он меня любит? Не может быть, он меня не любит!» Свидания украдкой, когда восторг встречи тут же проходит при мысли о расставании; и самые расставания, когда глаза с трудом отрываются от глаз и страшная, беспросветная пустота в сердце; и начало нового ожидания. А потом ее — тайный страх и радость при виде почты в тот час разноски, когда (для безопасности) по уговору должны приходить его письма; разные хитрости, чтобы можно было уходить из дому, хранить свою тайну, оставаться одной. А его — хождения возле заветного дома, когда стемнеет, чтобы увидеть свет в окнах и судить по нему о том, что происходит; и холодный пот, и неистовства ревности и отчаяния; часы утомительных прогулок пешком, чтобы прийти в себя; бессонные часы вождений.

А потом этот час, неотвратимый час в один из дней, украдкой проведенных вместе где-нибудь у реки или под благодетельной сенью леса. И выражение ее лица на обратном пути, и его предложение покончить с собой,

чтобы избавить ее от своего присутствия, и с трудом вырванное обещание встретиться еще раз. И эта следующая встреча, нескончаемая череда встреч. Яростные восторги, предельное изнеможение и всегда, как басовая тема аккомпанемента, бесконечные уловки и ухищрения. А потом медленное, постепенное охлаждение: отговорки, бесконечное плетение самооправданий; торжественные трезвые объяснения; отыскивание недостатков друг в друге; унижающие клятвы и протесты; и наконец день, когда она не пришла или он не пришел. А потом письма, неожиданное *garrochement*¹ и еще более неожиданный... конец.

Все это проходило в моем воображении, как кадры кинематографа, но я заметил, как под столом руки их украдкой потянулись друг к другу, и мрачные пророческие видения исчезли. Мудрость, опыт и все остальное — что значили они в сравнении с этой лаской?

Оставив их вдвоем, я поднялся и пошел по аллее каштанов, а крик павлина летел мне вдогонку.

¹ Примирение (франц.).

СТАДО

— Порядочность изменяет людям только тогда, когда они сбиваются в стадо,— сказал Х.— Сужу по собственному опыту. Отдельному человеку — я не говорю о дикарях — более свойственно великодушие, чем низость, он редко бывает жесток, он склонен к благородству. А вот когда к нему присоединятся еще трое-четверо, тогда его порядочность, чувство ответственности, его личные мерки и представления — все идет прахом. Похоже на то, что он становится жертвой какой-то заразной болезни. Право, мне кажется, что это какой-то телесный недуг... Вот попал я вместе с другими тремя в попечительский совет, и уже целый год мы все четверо занимаемся таким крохоборством, какое каждому из нас в отдельности и во сне не снилось.

— Пример не совсем удачный,— сказал Д.— Но в общем я с вами согласен. Человек и в одиночку не ангел, а в толпе он становится жестоким.

Они рассуждали еще несколько минут, потом в разговор вступил П., до тех пор не произнесший ни слова.

— Говорят, щепотка живого опыта стоит в споре целого фунта доводов,— сказал он.— Когда я учился в университете, был у нас студент по фамилии Чокрофт, сын высокой духовной особы; этот совершенно безобидный и прекрасно воспитанный юноша имел несчастье быть радикалом, некоторые даже считали его социалистом,— во всяком случае, он носил отложные воротнички и зеленые галстуки, на студенческих собраниях всегда от-

стаивал какую-нибудь сомнительную точку зрения и никогда не участвовал в наших празднествах. В сущности, это был книжный червь — из тех, знаете, на кого еще в детстве плохо повлияло окружение, так что они до странности неспособны правильно смотреть на вещи. Он никогда не бывал пьян или хотя бы слегка навеселе, не играл ни в какие спортивные игры, лошадей и женщин, по общему нашему убеждению, просто боялся, а из физических упражнений признавал только дальние прогулки в обществе одного студента не из нашего колледжа либо в одиночку уходил вверх по реке на байдарке; он много читал и всегда готов был поговорить на отвлеченные темы. Словом, не за одно, так за другое его невзлюбили почти все уважающие себя старшекурсники. Не думайте, что он был исключением, вовсе нет: у нас в М. в то время было немало таких, но этот Чокрофт возмущал нас непозволительной уверенностью в себе, какой-то спокойной язвительностью, которая делала его просто невыносимым. Считалось, что он «чересчур задается». Вернее, он словно не сознавал, как полагалось бы книжному червю, что далеко ему до своих одноклассников; напротив, худощавый, немного сутулый, он расхаживал по колледжу с видом невозмутимой уверенности в себе: на бледном лице с жалким подобием бакенбардов, над ненавистным зеленым галстуком мелькала чуть заметная улыбка; притом было совсем непохоже, чтобы он нуждался, а ведь только бедность служит оправданием книжным червям в их отщепенстве. И он, в самом деле, ничуть не нуждался, его комнаты были из лучших в колледже — и этого ему тоже не прощали.

— На основании всего этого,—продолжал П.—однажды вечером решено было устроить над ним «суд». Своим происхождением этот похвальный обычай был обязан одному третьекурснику по фамилии Джеффриз, смуглому парню с носом, точно хобот, и слоновьей походкой; у него был злой язык, острый, как бритва, и крохотные бесстыжие глазки развратника. Ныне он шотландский баронет. Подвыпив, сей джентльмен преисполнялся злобы к людям и почтения к закону. Ночами он слонялся по университетским дворам, и ему нетрудно было в любую минуту собрать ораву молодцов, ищущих развлечения,

воодушевленных патриотизмом или, может быть, горячительными напитками; во главе такой вот оравы, с гиканьем и криками, Джефффриз, полный самых благих намерений, вваливался ко всякому, кто, на его взгляд, заслуживал суда, и вершил оный по всем правилам британского судопроизводства. Однажды я уже присутствовал на таком процессе над одним балбесом, который своими дурацкими выходками и в самом деле всем осточертел. Церемония получилась довольно забавная, да и подсудимый как будто был не против, только ухмылялся до ушей и все повторял:

— Ну, знаешь, Джефффриз!

Но в том случае, о котором я сейчас расскажу, все было по-другому. Когда мы пришли к Чокрофту, он сидел у холодного камина при свете трех свечей и читал. Мы с шумом и гамом ввалились в комнату; стены были обшиты панелями темного дуба, и три желтых огонька почти не освещали ее.

— Чокрофт, мы пришли тебя судить,— объявил Джефффриз.

Чокрофт поднялся и обвел нас взглядом. Он был в широкой домашней куртке и неизменном зеленом галстуке. И бледен, как всегда.

— Вот как, Джефффриз?— сказал он.— Кстати, ты забыл постучаться.

Двумя пальцами Джефффриз осторожно вытянул из-за жилета его галстук.

— Вы носите зеленый галстук, сэр,— сказал он.

Лицо Чокрофта стало серым, как пепел в камине, потом побелело от сдерживаемого бешенства.

— Смотрите не на меня, сэр,— сказал Джефффриз,— смотрите на присяжных! — И он повел рукой в нашу сторону.— Мы намерены судить вас за...— И он объяснил, в каком именно непристойном поступке обвиняется Чокрофт. Это обвинение всегда пускалось в ход во время подобных веселых шуточек и, вероятно, было особенно оскорбительно для «книжных червей»: ведь они чаще всего, что называется, «постники».

Мы с гоготом и визгом расположились на стульях, а Джефффриз уселся на край стола и лениво болтал тощими ногами — он всегда носил штаны в обтяжку. Его черные глазки, казавшиеся еще меньше по сравнению с

грузным носом, алчно блестели. Чокрофт все еще стоял.

— Вот тут я впервые почувствовал угрызения совести,— продолжал П.— Он был такой бледный, сдержанный и невозмутимый; он посмотрел на меня и, когда я попытался ответить вызывающим взглядом, спокойно и презрительно отвел глаза. Помню, я подумал: «Зачем мы пришли? Мы вовсе не такие люди, чтобы забавляться подобными шутками». И это была правда. Только в Джеффриза временами точно бес вселялся, да еще был среди нас некто Эндерсон, малорослый человечек в длинном пальто, красноносый, длиннорукий и всегда полупьяный (этот отчаянный забулдыга давным-давно уже стал учителем), но, кроме них двоих, никто из нас сам по себе никогда не вошел бы незванный в чужую комнату и не стал бы оскорблять ее хозяина, каким бы тот ни был книжным червем и как бы плохо к нему все ни относились. В нашей компании были: белобрысый студент по фамилии Бийл с кривыми ногами и красивым, но невыразительным лицом, которого все звали Балбес Бийл; неуклюжий Дансдейл, длиннолицый, веснушчатый, неприменный участник всех студенческих сумасбродств, считавшийся, однако, вполне респектабельным молодым человеком; Хорден (его обычно звали просто Джоз) — рослый, ладно скроенный уроженец Кента с ласковыми глазами и кулаками, как молот; Стикленд — суетливый, благодушный; Севенокс, ныне член палаты лордов; малыш Холинброк, наш староста, и наконец мой школьный товарищ Фосдайк, которому чувство собственного достоинства уже и тогда не позволило бы принять участие в этой затее, не побывай он перед тем на веселом обеде. Словом, как видите, все мы или почти все вышли из «лучших» школ страны, считались «лучшими» студентами М.,— и, естественно, каждый в отдельности был не способен, никак не способен на поступок, недостойный порядочного человека.

Джеффриз провозгласил себя судьей, Эндерсона назначил тюремным надзирателем, Дансдейла — прокурором, всех остальных — присяжными и, даже не подумав о защитнике, открыл заседание суда. Как я уже говорил, он был малый остроумный и теперь, болтая ногами и уставясь в лицо Чокрофту злобными черными

глазками, принялся один играть все наши роли. Характер обвинения не позволяет мне пересказать вам процесс во всех подробностях, да, по правде говоря, я их и не помню; зато, как сейчас, вижу бледное, спокойное, насмешливое лицо Чокрофта в тусклом мерцании трех свечей и слышу, как он повторяет: «Я тебя слушаю, Джефффриз». Помню, только раз он запротестовал: «И ты считаешь себя джентльменом, Джефффриз?» «Нет, сэр, с благословения божьей матери я судья», — ответил тот, и мы все покатались со смеху. До сих пор помню выражение лица Чокрофта, когда прозвучал вопрос: «Подсудимый, признаете ли вы себя виновным?» Он долго молчал, потом саркастическим тоном неторопливо ответил: «Как тебе угодно, Джефффриз». Сколько невозмутимого, холодного презрения было в его ответе! Приговор гласил, что он должен выпить залпом полный бокал портвейна из собственных запасов; не знаю, был ли этот приговор приведен в исполнение: я незаметно вышел из комнаты, и вместе со мной ускользнули, кажется, еще двое.

Скверно было у меня на душе на другое утро, я не находил себе места, пока не написал Чокрофту, прося прощения. Среди дня я мельком видел его: он проходил по двору, как всегда, бледный и невозмутимый; вечером я получил от него ответ. В конце он писал: «Я уверен, ты бы на это не пошел, если бы не остальные». И уже позднее я подумал, что он, может быть, сказал то же самое каждому из нас: очень возможно, что ему писали все.

Наступило молчание. Потом Х. сказал:

— Да, стадо! И что это за дрянной бес вселяется в нас, когда мы сбиваемся в стадо?

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

— Вот вы утверждаете, — сказал Ферран, — что в жизни все вознаграждается... так укажите же мне, где это вознаграждение в том случае, о котором я вам расскажу.

Два года назад я служил переводчиком в одном из отелей в Остенде и часами торчал на берегу, дожидаясь пароходов, которые доставляли мне добычу — туристов. И здесь я постоянно встречал одного молодого человека, который торговал в палатке всякими дешевыми украшениями. Я не знал его настоящего имени, все звали его Чак-Чак; но зато я хорошо знал его самого — ведь мы, переводчики, знаем всех и каждого. Он приехал из Южной Италии и называл себя итальянцем, но по рождению скорее всего был алжирский еврей; парень он был неглупый и понимал, что в наше время везде, кроме Англии, не очень-то выгодно быть евреем. Но стоило только посмотреть на его нос и густые вьющиеся волосы, как все становилось ясно. Одежду ему подарил какой-то турист-англичанин: фланелевые брюки, старый сюртук и котелок. Хорош наряд? Зато даром! Только галстук был подходящий: он носил его без воротничка, и концы его болтались свободно. Чак-Чак был маленького роста, очень худ — и не удивительно: за целый день он съедал только полфунта хлеба или тарелку макарон с тоненьким ломтиком сыра. Только по праздникам он разрешал себе полакомиться кусочком колбасы. В своем костюме, сшитом на толстяка, он выглядел бы настоящим вороньим пугалом, если бы не большая красивая голова. Невыносимые условия жизни на родине гонят их к нам, как саранчу или как орды древних кочевников Централь-

ной Азии, это сущее нашествие. Во всех странах у них свои благотворительные общества, которые помогают им найти заработок. И, получив от общества шарманку, лавчонку с мишурой или что-нибудь другое, они отказывают себе во всем, капли в рот не берут, ни на что не тратят денег. Курят? Да, курят, когда угостите их табак. Иногда они приезжают с женами, но чаще — одни: без жены легче и быстрее можно накопить денег. Их заветная мечта — сколотить «капитал» в две-три сотни фунтов и возвратиться в Италию богатыми людьми. Если вы знавали итальянцев на их родине, вы будете поражены, увидев, как они работают на чужбине и как здесь бережливы, — настоящие китайцы. Чак-Чак жил один и работал, как вол. С утра до ночи и в зной и в ненастье он стоял за своим прилавком; частенько он промокал до нитки, но кто бы ни прошел мимо, он каждого дарил улыбкой и предлагал какую-нибудь безделушку. Он всегда старался произвести приятное впечатление на женщин, особенно кокоток, так как эти чаще всего покупали его товары. Как он смотрел на них своими большими глазами! Вероятно, у него был страстный темперамент. Но, как известно, потакать своим порокам стоит денег, а денег он не тратил. Чак-Чак в день расходовал два пенса на еду и четыре пенса на ночлег в кафе, куда к ночи набивались такие же, как он, бедняки. Шесть пенсов в день, три шиллинга шесть пенсов в неделю. Ни один человек другой породы не продержится долго в таких условиях. Мой минимум — десять пенсов, и не скажу, чтобы это было райское житье. Правда, я не могу обойтись без табака (даже в крайней нужде невозможно отказаться хотя бы от одной слабости). А вот эти итальянцы обходятся даже без табака... Чак-Чак торговал. Работа нетрудная — скажете вы. Но попробуйте делать ее хотя бы в течение получаса, попробуйте продать даже какую-нибудь хорошую вещь, а не хлам Чак-Чака — украшения из поддельного коралла, булавки и брошки, покрытые итальянской глазурью, или безделушки из целлулоида. Я часто видел, как по вечерам он стоя засыпал от усталости, но его глаза оставались полуоткрытыми, как у дремлющей кошки. Он весь ушел в свою торговлю. Он следил за всем, но только для того, чтобы сбывать свой

дрянной товар, ничто другое его не интересовало. Он презирал весь мир, окружавший его,— людей, море, развлечения; все это было для него чужим, казалось нелепым. У него была палатка, и он жил, чтобы продавать. Он был подобен человеку, запертому в сундуке,— никаких удовольствий, никаких увлечений, ничего, что могло бы затронуть тот странный мирок, в котором он жил.

«Я южанин,— говорил он мне, кивая в сторону моря.— Жизнь там, на Юге, трудная. За морем у меня есть девушка. И поверьте, она не прочь меня увидеть снова! Нет, не прочь! У нас там люди голодают. Клянусь всеми святыми (он избрал эту форму клятвы, вероятно, потому, что она казалась ему христианской), трудная там жизнь!»

Я не сочувствую Чак-Чаку и не жалею его. Он был эгоист до мозга костей, но это нисколько не уменьшало его тоски по родине, по горячему солнцу Юга и своей девушке — чем сильнее эгоизм, тем сильнее страдание. Он тосковал, как бессловесное животное, но помнил, что «там люди голодают», и не спешил вернуться. У него были надежды. «Надо немножко подождать! — частенько говаривал он.— В прошлом году я был в Брюсселе. Ничего хорошего. В конце концов они забрали все мои деньги для Общества, а мне дали эту палатку. Зато теперь все в порядке. Я кое-что заработаю за этот сезон».

Среди его покупателей было много женщин сомнительного поведения. Им нравилась его красивая курчавая голова, а к тому же они хорошо знали, что жизненный путь не усеян розами. Было что-то трогательное в стойкости Чак-Чака и в том, что одежда болталась на нем, как пустой мешок. Да и собой он был недурен, его красили большие черные глаза и тонкие хоть и грязные руки.

Как-то в дождливый день я пришел на эстакаду. Там не было ни души. Чак-Чак накрыл свой прилавок куском старого брезента. Он сидел и курил длинную сигару.

— А, Чак-Чак! — сказал я.— Куришь?

— Да,— ответил он,— хорошая сигара!

— Послушай, скряга, почему ты вообще не куришь каждый день? Ведь когда куришь, не так хочется есть.

Чак-Чак покачал головой.

— За табак надо платить, — сказал он, — а эта сигара мне ничего не стоит. Мне дал ее один тип... краснолицый англичанин. Говорит, что не может курить таких сигар. Идиот, он ничего не смыслит — табак отличный, это я тебе говорю.

Но ничего не смыслил в табаке сам Чак-Чак — слишком долго он был лишен возможности приобрести нужный опыт. Стоило посмотреть, с каким наслаждением он затягивался, жевал и обсасывал эту вонючую сигару...

Закончился курортный сезон, и все мы, перелетные птицы, что кормились за счет туристов, готовились к отлету. Впрочем, я все еще оттягивал свой отъезд: мне очень нравилось это место, окрашенные в веселые цвета дома и запах рыбы в порту, свежий воздух, безбрежное зеленое море, песчаные дюны. Все это близко моему сердцу, и мне всегда жалко с этим расставаться. Но раз сезон кончился, на курорте нашему брату делать нечего, и, как говорит Чак-Чак, «клянусь всеми святыми, люди там голодают».

Однажды вечером, уже перед отъездом, когда в Остенде оставалось не более как человек двадцать туристов, я, как обычно, зашел в кафе, где, кроме общего зала, был и второй. Сюда заходили люди сомнительной репутации: сутенеры, комедианты, шансонетки, женщины легкого поведения, мнимые «турки», «итальянцы», «греки» — словом, все, кто участвует в игре «не зевай». Это был настоящий притон мошенников и проходимцев, — народ они интересный, и я хорошо их изучил. В тот вечер почти все уже разошлись, только в ресторане было несколько человек и в задней комнате расположились три итальянца. Я присоединился к ним.

Вскоре появился Чак-Чак. В первый раз я увидел его в таком месте, где приходится тратить деньги. Как он был худ! Глядя на него, можно было подумать, что он не ел целую неделю. Неделю? Нет! Год! Он сел за столик, потребовал бутылку вина и сразу же принялся болтать и прищелкивать пальцами.

— Ха-ха! — сказал один из итальянцев. — Взгляните-ка на Чак-Чака! Весел, как птичка. Эй, друг! Ты, видно, разбогател. Угости-ка вином.

Чак-Чак отдал нам свою бутылку и заказал еще одну.

— Что такое? — удивился другой итальянец. — Уж не получил ли ты, приятель, наследство?

Мы все пили, а Чак-Чак усерднее всех. Знакома ли вам та жажда, когда пьешь только затем, чтобы почувствовать, что в жилах твоих течет кровь, а не вода? В таких случаях большинство людей не может остановиться, пока не напьется до бесчувствия. Чак-Чак был человек осторожный. И, как всегда, думал о будущем. Да, он умел держать себя в руках, однако в этих случаях бывает, что невольно заходишь дальше, чем следует... Чак-Чак развеселился. Много ли для этого нужно итальянцу, который месяцами жил на воде и хлебе или горстке макарон? Впрочем, было ясно, что у Чак-Чака есть особые причины для веселья. Он пел и смеялся, и другие итальянцы тоже пели и смеялись. Один из них сказал:

— Видно, наш Чак-Чак хорошо торговал летом. Ну-ка, скажи, Чак-Чак, сколько ты заработал в этом сезоне?

Но Чак-Чак только покачал головой.

— Ну, ну! — продолжал тот же итальянец. — Ишь, какой скрытный! Уж, наверно, отхватил порядочный куш. А вот я, ребята, честное слово, заработал только пятьсот франков, ни сентима больше. И половину заберет хозяин.

Все заговорили о своих доходах. А Чак-Чак только улыбался и молчал.

— Эй, Чак-Чак, — сказал кто-то. — Ты мог бы быть пооткровеннее. Чего скрытничаешь, как разбойник?

— Нечем ему хвастать. Уж, конечно, не заработал, как я, тысячу шестьсот франков! — сказал другой.

— Клянусь всеми святыми, — вдруг выпалил Чак-Чак, — четыре тысячи! Что скажете?

Но мы все засмеялись.

— Ля-ля! — пропел один. — Дурачить нас вздумал! Чак-Чак растянул свой ветхий сюртук.

— Смотрите! — крикнул он и вытащил четыре ассигнации, каждая в тысячу франков. Ну и вытаращили же мы глаза!

— Вот, каждый заработанный цент здесь. Я ничего не тратил. Вот что значит быть бережливым! А те-

перь я поеду домой... Женюсь на своей девушке. Пожелайте мне доброго пути.— И он опять принялся щелкать пальцами.

Мы посидели еще немного, распили третью бутылку. Платил Чак-Чак. При расставании никто не был пьян, все еще крепко держались на ногах. Только Чак-Чака здорово развезло. Он был на седьмом небе, впрочем, так и полагается после шестимесячного поста. На следующее утро я от нечего делать зашел в то же кафе, сидел там и пил пиво. И вдруг в зал ворвался — как бы вы думали, кто? — Чак-Чак! Только теперь он был далеко не на седьмом небе! Он повалился на стол, обхватил руками голову и залился слезами.

— Ограбили меня,— крикнул он,— украли у меня все, до последнего су, ограбили, пока я спал! Я положил деньги под подушку, спал на них, а они исчезли... все до последнего су! — Он ударил себя в грудь.

— Постой, постой, Чак-Чак,— сказал я,— говоришь, украли из-под подушки? Как же они могли?

— Откуда я знаю, как,— простонал он,— все украли. Все мои деньги, все мои деньги! Я опьянел...

И он снова и снова повторял: «Мои деньги, все мои деньги!»

— Ты заявил полиции?

Да, он был в полиции. Я пытался утешить его, но, сами понимаете, задача была не из легких. Бедняга был вне себя от горя.

Полиция ничего не предприняла: к чему ей было утруждать себя? Случись это с Ротшильдом, тогда другое дело. Но поскольку Чак-Чак был только бедняк-итальянец, который потерял все, что имел...

За день до кражи Чак-Чак продал палатку и весь товар, продал все, что у него было. Теперь у него не было даже денег на билет, и он вынужден был идти в Брюссель пешком. И он пошел. Как сейчас, помню его на дороге: человечек в котелке на великолепной копне черных волос, в галстук с отлетающими концами. У него было лицо демона, изгнанного из рая.

Не знаю, что с ним случилось. Но я что-то не вижу в его истории того «вознаграждения», о котором вы говорили.

И Ферран замолчал.

РАДОСТЬ ЖИЗНИ

Это было неподалку от Беркли-сквера. Я вышел на улицу из теплой гостиной, раздушенной и битком набитой «движимым имуществом». Закрылась парадная дверь, в лицо мне ударил западный ветер, и я чуть было не налетел на маленькую девочку.

Ей было, наверное, лет пять. Ветхая красная юбчонка, прикрыв ей согнутые колени, широко легла на тротуар. Девочка сидела на панели и стегала по мостовой сухой веточкой с двумя-тремя коричневыми листками и в такт напевала песенку. Темные, с каштановым отливом кудри спадали на ее круглое, замызганное личико; рядом с ней на тротуаре валялись останки шляпы, а из каждого ее глаза выглядывал черненький сумасбродный бесенок.

Она была так восхитительно непохожа на это самое «движимое имущество», что просто невозможно было от нее оторваться.

И я двигался по улице боком, наподобие краба.

Она знала, что я иду боком; знала, в каком месте на углу стоит постовой «бобби», она знала все вокруг. И, увидев, что я удаляюсь, она стала со мной кокетничать. Она склонила головку на плечо, как собачка, которая просит, чтобы ей дали печенья, и взглянула на меня сквозь спутанные кудри. Она улыбнулась — улыбнулся и я, сворачивая за угол. По улице зацокали подковки башмачков, и она тоже показалась из-за угла. Она и на тротуаре имела занятный вид, а встав на ноги, сделалась еще забавнее. От ее шляпы, а шляпа была на большую

девочку, остались одни воспоминания. Этот головной убор она нахлобучила на голову, и он съехал на затылок. Коротенькая красная юбочка светилась дырами, загорелые голые ножки были всунуты в дамские ботинки. Она шаркала за мною, стегая своей веточкой по ограде. Поравняется со мной, взглянет исподтишка на мой цилиндр и снова отстанет.

Прохожие смотрели на нее во все глаза, но она не обращала на них внимания.

На Оксфорд-стрит мы остановились и поговорили. Весь разговор состоял из одной фразы:

— Хочешь конфетку?

Я ушел, а она осталась с медяком за щекой, глядя мне вслед огромными черными глазами, стегая веточкой по стеклу витрины.

А когда я еще раз обернулся, она танцевала с другими ребятишками под звуки шарманки, и ее юбочка красным волчком вертелась по запруженной толпою улице.

BEL COLORE¹

По одну сторону дороги — оливковая роща. По другую — утопающая в розах светло-желтая вилла с выгоревшими на солнце ставнями и стертым именем владельца на воротах. Перед ней, средь густого кустарника, наклонно растет неподрезанная высокая пальма; рядом висит на веревке чье-то темно-красное платье. Откровенность постоянной сиесты!

Небо над головой сапфировое, окрашенное золотом на закате; ветерок шуршит в пальмовых листьях; позвякивает колокольчик пасущейся вблизи козы; тянет дымком, и квакают лягушки.

В потускневшей клетке на окне второго этажа желтоголовый попугай тянет гнусаво: «Никули, нико-ля!»

Трое детей, проходящих мимо, поднимают головы. Солнце бьет им в глаза. «Попка-царапка! Попка!» — кричат они. Старший из них, светлоголовый мальчик-англичанин, не торопится уходить, и, пока он медлит, на крыльце появляется девочка в красном коротком платье. Щеки у нее алеют, как мак, глаза черные, блестящие, волосы пышные, темно-русые. Мальчик порывисто снимает шляпу, краснеет и все не двигается с места. Но девочка уходит, помахивая связкой учебников; на одну секунду обернувшись, она бросает быстрый взгляд на мальчика и звонким голосом кричит, повторяя слышанное, как ее попугай в окошке:

— И-ди спать не-мед-лен-но, непослушный мальчишка!

¹ Здесь — красочная картинка (итал.).

Прокричав это, она насмешливо хохочет.

Мальчик опускает голову, стискивает в руке шляпу и убегает. А девочка идет дальше походкой взрослой женщины, полной скромного достоинства. Солнце бьет ей в лицо. Прищурив глаза, она смотрит перед собой на дорогу. И постепенно ее фигурка — воплощение южной томности, жестокости и любви — становится алым пятнышком на пыльной дороге.

ПАЛОМНИКИ

Проезжая по Хаммерсмиту, я увидел их с империала омнибуса. Они сидели на белом нарядном крыльце дома против памятника принцу Альберту. День был солнечный, очень жаркий. Мимо двигался поток кэбов и собственных экипажей, на залитой солнцем улице было много гуляющих. А три маленьких паломника все сидели на крыльце.

Старший из них, мальчик лет шести, с трудом удерживал на коленях большеголового ребенка, кажется, больного корью. Кулачок малыша, словно вылепленный из теста, подпирал щечку, глаза были полузакрыты, а ножки беспомощно висели из-под тряпья, в которое он был завернут.

Девочка была моложе мальчика. Она крепко спала, привалившись к дверному косяку. Ее миловидное грязное личико выражало терпение, под глазами были темные круги; вылинявшее голубое платье не доходило до голых коленок. Голова ее была не покрыта. Мальчик смотрел прямо перед собой большими карими глазами. Волосы у него были темные, уши торчали. Одет он был неплохо, но весь покрыт пылью с головы до ног. В этих детских глазах таилось утомление, как у людей, которые трудно провели день. Я заговорил с ним.

— Это твоя сестра?

— Нет.

— Кто же она?

— Моя подружка.

— А это кто?

— Мой брат.

— Где вы живете?

— У Риджент-парка.

— Как же это вы так далеко забрели?

— Пришли посмотреть на памятник Альберту.

— Ты, наверно, очень устал?

Он не ответил.

— Вот тебе шиллинг; теперь вы сможете вернуться домой на омнибусе.

Ни слова, ни улыбки в ответ. Только протянул за шиллингом грязную ручонку.

— Ты знаешь, сколько это?

На его лице промелькнуло презрение. Он тихонько покачал на руках братишку.

— Конечно, двенадцать пенсов.

Уходя, я оглянулся: крепко придерживая брата, он носком башмака толкал свою подругу, чтобы показать ей монету.

КОРОЛИ

Листья деревьев поникли под горячими лучами солнца. Не видно ни одной водовозной тележки. Моя собака тяжело дышит, с высунутого языка у нее каплет слюна. На этой тихой лондонской улице, круто поднимающейся в гору, все замерло: и мастерские, и конюшни, и деревья.

На мостовой перед высоким домом стоит одетая в лохмотья женщина и держит в руке веточки лаванды. Другая женщина сидит на обочине тротуара, из грязной, дырявой шали у нее на коленях выглядывает сморщенное личико ребенка, во рту у него замызганная, рваная соска, надетая на пустую немытую бутылку. Не по-детски серьезным взглядом смотрит младенец на этот громадный мир, до краев полный духоты, пыли и голода. Малютка, кажется, понимает, что выпало ему на долю. В глазах его застыла покорность, он прильнул к тощей материнской груди; та же покорность в глазах матери.

— Сестра вот моя... бедняжка... и дитя у нее малое. Муж ее бросил. Мы пришли из Брайтона, видит бог, пешком пришли! Господь вам зачтет, сударь, купите веточку лаванды!

Два шага вперед из уличной грязи и пыли; мать и ребенок поднимают глаза.

— Господь зачтет вам, сударь, купите веточку лаванды!

— Всего лишь лаванды!..

Сквозь щели в ставнях солнечные лучи пробиваются в гостиную этого богатого дома; в затемненном, скользющем свете движутся люди; перешептываются, улыбаются.

Наверху, где все дышит прохладой, на белоснежной кровати лежит молодая мать. В ногах у нее стоит няня и держит на руках новорожденного младенца — толстенького, в колпачке, словно епископ; на лицах окружающих — благоговейный восторг, все любят этим крошечным существом в ослепительно чистых пеленках и одеяльце.

Чуть пискнул — и все в смятении!

Тикают часы, няня постукивает башмаками, гул восхищения растет. Вечером в окна проникает аромат цветущих лип; и мать улыбается, лежа на подушках в своей белоснежной кровати.

Король там, на жаркой улице, и король здесь, в прохладе, — вы прибыли каждый в свое королевство!

АПОФЕОЗ

— Ого! Вот это здорово! — сказал лысый мужчина в партере, а сидевший рядом человек с миной мизантропа икнул.

— Ха-ха! — загоготал толстяк с моноклем.

— Ну, доложу я вам! — заметил четвертый просто душно.

На сцене театра «Парадиз», заключенный в плюшевую раму, лежал на спине слон.

— Взгляните на его глаз! — засмеялся лысый. — Ха, ха!

Все четверо посмотрели на сцену. Маленький глаз перевернутого на спину слона — единственное подвижное место в этой серой громаде — вопросительно осматривал публику, затем в стоической сосредоточенности остановился на передних ногах, торчавших в воздухе, словно колонны. Этот глаз заключал в себе отдельный мир, дикий мирок, чуждый всему этому театру с позолоченным куполом, залитому светом ламп, полному человеческих лиц, обращенных в одну сторону.

— Ха, ха! Ну и глаз!

Слон снова обвел взглядом зал, а простодушный зритель пробормотал:

— Это действительно очень забавно!

— Слоны — самые понятливые животные, — сказал толстяк, поправляя монокль.

— А как вы полагаете, — спросил простодушный, — это достигнуто лаской?

Лысый сложил свой цилиндр.

— Трудно сказать, — ответил он. — Посмотрите-ка на хобот этого бедняги!

Слон устал протягивать хобот публике и свернул его на груди.

— Точь-в-точь жирная гусеница! — проворчал мизантроп.

Два испуганно озиравшихся кота и два красногрудых попугая с тонкими позолоченными цепочками на ногах появились с разных сторон и расположились на ногах лежавшего на спине слона по одному на каждой ноге.

— Хорошо придумано! — сказал лысый.

После минутной нерешимости коты и попугаи начали прыгать с ноги на ногу; слон вращал маленьким глазом, и хобот его извивался.

— Ну, просто удивительно! — воскликнул лысый. — До чего умны!

— Я знал одну кошку, умную, как человек, — ворчливо заметил мизантроп.

— Скажете тоже! — возразил толстяк.

— А это как вам нравится? — нетерпеливо прервал их лысый.

Слон поднял на хоботе попугая и медленно протянул его публике.

— Неплохо! — воскликнул толстяк. — Ха, ха!

— Любая кошка, — настаивал мизантроп, — почти не уступает в уме человеку.

— Что?! — сказал толстяк. — Уж не хотите ли вы сказать, что кошки способны оценить подобное зрелище? Что кошки могут понять, как забавен этот слон?

Лысый снова перебил их:

— Я восхищен дрессировкой; вот чего можно добиться настойчивостью! Нужна сильная воля, чтобы заставить кошек и попугаев работать вместе.

— Да, черт возьми! — сказал толстяк. — Мне нравятся хорошие представления со зверями. Я очень люблю животных. А некоторые равнодушны к ним. Ну, разве это не забавно — слон, лежащий на спине!

— Вы думаете, ему это нравится? — задумчиво спросил простодушный.

Кошки и попугаи исчезли, появился маленький коте-

нок; жалобно мяукая, он взобрался на слона и свернулся клубком в его огромной пасти.

— Здорово! — сразу оживился мизантроп. — До чего естественно! Превосходная штучка, а? — И тоже зааплодировал. Маленький глаз слона, казалось, спрашивал, чему так радуется этот человек.

— Вот вам и кошачий ум! — сказал толстяк. — Вы допустили бы, чтобы ваш ребенок полез в пасть к слону?

— Это ничего не доказывает, — ответил мизантроп. — Говоря, что у кошки ум человека, я имел в виду, что люди в большинстве своем глупы.

Дрессировщик уже убрал котенка и, вскочив слону на живот, посылал воздушные поцелуи публике. Затем, знаком поманив к себе хобот, вставил в него зажженную сигарету.

— Браво! — закричал лысый. — Вот это ловко! Браво!

— А знаете, я следил за ним и должен вам сказать: это ему совсем не по вкусу, — объявил тостяк.

— Что не по вкусу? — спросил мизантроп.

— Очень немногие животные выносят дым, — пояснил толстяк. — Впрочем, когда-то у меня был пони, который с удовольствием нюхал дым.

Слон сунул сигарету в рот дрессировщику; дрожь пробежала по его огромному телу.

— Взгляните на его глаз теперь! — сказал лысый. — Чертовски странный, не так ли?

— Ну, — мизантроп зевнул, — мне надоел этот толстоногий слон.

Как бы в ответ на его замечание дрессировщик начал поспешно развязывать шнуры плюшевой рамы. И вдруг слон затрубил.

— Он просит, чтобы ему позволили встать, — прохрипел толстяк. — Что ни говорите, все это чертовски интересно! Так естественно! Но некоторым людям наплевать на животных! — добавил он раздраженно.

— А он вроде как сердится, — сказал лысый. — Глядите, как он смотрит.

— Да, — ответил толстяк, — это недостаток всех животных: у них нет чувства юмора. Обратите внимание на выражение его глаз. Хоть слон и чертовски умен, у него совершенно отсутствует чувство юмора!

И маленький круглый глаз слона — этот чуждый всему вокруг дикий мирок — быстро, уныло бегая по сторонам, казалось, подтверждал: «Увы, нет чувства юмора!»

— Никак не могу понять, нравится это животным или нет? — бормотал простодушный зритель. Ему, должно быть, очень не хотелось сомневаться в достоинствах зрелища, которым он так наслаждался.

— Нравится ли? Конечно, нравится! Они чрезвычайно умны! — сказал толстяк, вынимая из глаза монокль, когда упал занавес. — Подобное зрелище я бы назвал апо...апофеозом ума. Не каждый способен оценить его, и не всякое животное может это вынести. Вот, например, свиньи, — добавил он, рассеянно глядя вокруг, — и ослы!.. Грош им цена!

ТРУЖЕНИКИ

Приземистые, унылые домишки с заснеженными крышами и подслеповатыми оконцами нестройной шеренгой тянулись вдалеке от главной улицы. Они были выстроены так давно, что казались лишь призраками прежних жилищ. Здесь ютился рабочий люд, среди которого было множество портных, и в окна было видно, как они усердно работали иглами при желтоватом дневном свете, просачивавшемся из-за снеговых туч. Кое-где за окнами уже горели сальные свечи.

В отличие от домов, населенных людьми ленивыми или беспомощными, здесь тщательно запирали двери, на которых еще оставались следы краски, и, чтобы войти, требовалось постучаться. Дверь последнего в ряду домика всегда открывала женщина лет пятидесяти пяти на вид. Платье на ней было изрядно помято, как бывает от долгого сидения, лицо изборождено морщинами, такими глубокими, что все черты его казались расчлененными. В одной руке она держала иголку с ниткой, в другой — брюки, которые отделывала соответственно требованиям цивилизации. Без брюк в руках ее никто никогда не видал, ибо ей приходилось приводить в пристойный вид семь-восемь пар в день, работая по двенадцати часов. За каждую пару она получала семь фартингов, а ниток расходовала почти на фартинг. Таким образом, она в хорошие времена зарабатывала шесть-семь шиллингов в неделю. Но работа бывала не всякую неделю, и тогда приходилось жить воспоминаниями о тех днях, когда брюк хватало, и в ход шли отложенные на черный день гроши. За наем комнатухи надо было платить два шиллинга три пенса, и, за вычетом этих

денег, на прокорм себя и мужа,— который, к счастью, был калекой и ел очень мало,— у нее оставалось два шиллинга и девять пенсов. Глядя на ее морщинистое лицо и почти бесплотное тело, легко было угадать, что она давно уже приучила свой организм к строгой диете, как это и необходимо женщине, которая уже двадцать семь лет работает на брючную мастерскую со своим прикладом, а со времени несчастья, случившегося с ее мужем пятнадцать лет назад, только этим и кормит себя и его.

У женщины было длинное, узкое лицо, и ее серые глаза, казалось, говорили, что ей очень нужна помощь, но никогда она о ней просить не станет.

И в самом деле, она говорила мало — и только о брюках. О, они теперь такого плохого качества! Дешевка да и только! И последнее время ей дают отделявать штаны для мальчиков, застегивающиеся у колен. Всякое терпение с ними лопнет: ниток на них идет столько же, как на брюки, а платят меньше. В прежние времена брюки были куда добротнее, а в нынешних проку нет. И работа далеко не всегда бывает. Но посредница, которая берет брюки у портных для сдачи их в отделку, тут не виновата: она дает столько работы, сколько может, а сама получает только фартинг с пары. Такие вот дела!

Кровать без ножек и без постельного белья (то, что на ней лежало, невозможно было назвать бельем) занимала бóльшую часть комнатухи, и было удивительно, как это в ней еще умещалось все тряпье, накопленные кастрюли, щербатая посуда и брюки. На кровати спала черная кошка с белым носом. У камина лежали щепки от разбитых ящиков, заготовленные для поддержания слабого огня. А на стене у камина висела вилка, на которой поджаривают хлеб. Вид у этой истончившейся и погнутой железной вилки был такой унылый, как будто она давно уже не видала хлеба. Она висела на стене зубцами кверху и была похожа на темную высохшую руку со скрюченными пальцами, протянутую за подачкой.

Хозяева сидели спиной к ней, женщина — вплотную у наглухо закрытого окна, стараясь, пока можно, использовать бесплатное освещение, а ее муж — у камина, протянув изувеченную ногу чуть ли не в самый огонь. Это был человек с круглым белым лицом, седь-

ми усами, загнутыми вниз, как клюв попугая, и круглыми бесцветными глазками. Его старый расстегнутый серый костюм и привычка клонить голову набок довершали сходство с попугаем на жердочке, у которого одна серая лапка укорочена и прижата к другой. Он говорил ровным, беззвучным голосом, поглядывая на огонь поверх оправы темных очков и изредка улыбаясь своей покорной, невеселой улыбкой.

Нет, говорил он, никакого смысла роптать, от этого не станет лучше. Жизнь так идет уже много лет, и, несомненно, так оно и дальше будет. На брюках никогда нельзя было много заработать, а тем более на этой дешевке, которую теперь носят. Впрочем, он-то ни разу ни на ком не видел таких брюк — и куда они идут, неизвестно, должно быть, за границу. Да, он был возчиком, его переехал ломовик. Понятно, ему кое-что платили за увечье — четыре шиллинга в неделю, но потом старик помер, и плакали эти денежки.

— Все же живем, как видите. Мне шестьдесят, и для своих лет я не так уж плох. Она не управлялась бы и с половиной работы без меня: подаю ей, что нужно, утюжу брюки, делаю то да се — ясно, не так уж это много, но кое на что я еще гожусь.

С этими словами он поднял правую руку, в которой держал наготове подкладку, и его бесцветные глазки встретились с серыми глазами жены. Они смотрели друг на друга без особой нежности, но с полным взаимным доверием двух людей, не разлучавшихся ни на один день в течение многих лет. Потому что, как объяснил мне муж, они домоседы. Впрочем, он все-таки иногда бывает на улице в хорошую погоду, а она ходит получать работу.

Его глаза, блуждавшие по захлавленной, неудобной клетушке, которая для них была целым миром, как камера для заключенного, остановились на кошке, свернувшейся на прикрывавшем постель рваном одеяле. Ах, да! Еще у них есть кошка. Вот она, спит, как всегда. С ней все-таки веселее. В гости к ним никто не ходит, они всегда только вдвоем. Соседи — народ неподходящий, люди с большими странностями! Правда, за углом есть довольно приличные дома. Но там жить им не по средствам! Семь шиллингов шесть пенсов в не-

делю, и вносить точно в срок! Правда, они привыкли и здесь аккуратно платить за квартиру. Ведь они снимают комнату у рабочего человека, он сам платит за квартиру,— как же можно его подводить? Слава богу, сейчас работы подвалило, благодаря Рождеству. Но потом опять будет полный застой, это уж как пить дать!

Улыбаясь своей странной улыбкой, как человек, которого даже забавляет выпавшая ему доля, он нагнулся и подбросил в огонь дощечку от ящика, затем снова выпрямился, склонив набок голову, так что шея казалась искривленной, как его больная нога. «Поговаривают,— сказал он,— что пора как-нибудь облегчить участь «брючников». Но что поделаешь, когда шьется такая дешевка, по полкроне за пару? Раз они нужны людям, так приходится их шить. Так было и так будет. Она ходила на собрание. Там очень хорошо говорили. На собрания ходить полезно, это шевелит мозги». Но сам он не мог пойти из-за своей ноги. А он с удовольствием послушал бы, что там говорят. Да, с большим удовольствием!

Он замолчал, глядя в огонь, как будто в слабом потрескивании загоревшейся дощечки слышал отголосок этих речей, которых ему не довелось слышать.

— О господи!—воскликнул он вдруг.—Ничего у них не выйдет. Не смогут! —И, протянув грязную руку, он взял с колен жены брюки и поднял их.—Вы только посмотрите на них, да они насквозь светятся! Кто же станет платить за них больше полукроны? Ума не приложу, куда их только сбывают! Кто их носит? Наверно, они идут для каких-нибудь казенных надобностей. Сколько ни говорят на собраниях, а сделать ничего не удастся, пока есть тысячи таких, как мы, готовых работать за любую плату. Лучше не ломать себе над этим голову, вот что!

И, положив брюки обратно на колени жены, он снова стал смотреть в камин.

Небо, обложенное снеговыми тучами, казалось, нависло еще ниже, и скудный свет едва проникал в комнату. В ней стало очень тихо, будто сказано было последнее слово. Огонь угас, и в этом безмолвном застывшем сумраке только большая вилка на стене казалась живой, и своими тонкими искривленными зубцами она словно просила того, чего эти двое никогда не просили у людей.

МЕЛЬНИК ИЗ ДИ

Маккриди был человек солидный, но у себя в деревне он считался чужаком.

За ним не водилось ничего плохого — наоборот. Он исполнял должность паромщика: перевозил через реку обитателей поместья и каждый вечер объяснял завсегдатаям кабачка, что если бы он не стоял так бдительно на страже своих прав, быть бы ему уже слугой на жалованье. «На постоянном жалованье, понимаешь ли, и никакой возможности честно подработать лишний пенни».

Лишние пенни он честно подрабатывал тем, что со всякого, кто был не из господской семьи, взыскивал за переправу шестипенсовик. Он был непоколебимо уверен, что «джентри» — мелкопоместные дворяне — специально объединились, чтобы лишить бедняков их прав. Это свое убеждение он проповедовал каждый вечер, что, казалось, должно было бы снискать ему всеобщую симпатию. Однако нечто загадочное и неуловимое заставляло всех в деревне чувствовать в нем чужого. Никто никогда не слышал, чтобы он выразил недовольство этим неписанным, негласным приговором. Никто, собственно говоря, и не знал, догадывается ли он о чем-либо. Тихими вечерами люди видели, как он сидит в лодке у заводи, неподалеку от поместья, под крутым лесистым обрывом, будто думая невеселую думу о своих затаенных обидах. Иногда он любил спеть, но всегда пел одну и ту же песню: «Мельник из Ди». Песню эту он пел во всех случаях жизни; при этом у него от усердия потеш-

но кривился рот под каштановыми с проседью усами. С террасы господского дома поздно вечером было слышно, как, возвращаясь вниз по реке к своему домику на том берегу, Маккриди распевает свою песню и немилосердно фальшивит.

Откуда он был родом, никто доподлинно не знал. Одни говорили, из Ирландии, другие были склонны считать, что он шотландец, а один, человек с богатым воображением, был убежден, что Маккриди — выходец из Исландии. Вся деревня изнывала, терзаясь этой загадкой, — это была маленькая деревенька, где слышался резкий северный говор, а над белыми домиками всегда поднимались пушистые дымки. Да и насчет денег Маккриди был прижимист — не известно, много у него было денег или нет.

Как-то ранней весной он отпросился в отпуск и на месяц куда-то пропал. Возвратился он с женой — молоденькой, бледной женщиной, судя по выговору, южанкой. Интересная она была, эта самая жена Маккриди; держалась очень тихо, смиренно и будто посмеивалась слегка над собственной невольной покорностью.

Пришел май, и каждое утро видно было, как движется по саду стройная фигура, такая тонкая в талии, что, казалось, вот-вот переломится. Развешивает белье для просушки, наклоняется над грядками, а с порога на нее хозяйским оком взирает Маккриди. Быть может, он видел в ней символ своей победы — победы над одиночеством, а может, просто считал, что теперь в его кубышке прибавилось капитала. Ни с кем в деревне она не подружилась: она ведь была женою Маккриди, да еще южанкой к тому же. Да Маккриди и не хотел, чтобы у нее заводились друзья. Если он куда-нибудь отлучался, то с лодкой управлялась она, и когда пассажиры сходили на берег, она оставалась на веслах, не двигаясь, глядя вслед уходящим, и ловила звук их шагов, как будто ей не хотелось, чтобы они затихли. Потом медленно гребла обратно по бурливой серебристо-бурой реке и, привязав лодку, долго стояла на берегу, прикрыв глаза рукой от солнца.

Маккриди по-прежнему проводил вечера в кабачке, но о жене никогда не говорил ни слова, и если кто-

нибудь спрашивал, как она поживает, здорова ли, он так и впивался в собеседника злыми, как у мопса, глазами. Он как будто подозревал, что деревня задумала отнять у него жену. Инстинкт, который заставлял его прятать деньги в кубышку, подсказывал, что надо прятать и жену. Раз ему никто ничего не дает, значит, никто не должен поживиться и за его счет.

Созрело, налилось соком и миновало лето; наступила осень. Речка текла багряная от листьев, и часто в сырую погоду деревенька совсем терялась в мягкой дымке, окутывавшей ее. Маккриди становился все менее словоохотлив, все реже приходил в кабачок и, бывало, выпив всего полбутылки, ставил рюмку на стол и уходил, как будто вспомнив о чем-то. В деревне болтали, что у миссис Маккриди несчастный вид. Она перестала ходить по воскресеньям в церковь. О самом Маккриди и говорить нечего — он туда и раньше-то никогда не ходил.

В один прекрасный день в деревне узнали о том, что заболела теща Маккриди и миссис Маккриди уехала ухаживать за нею. И правда, больше никто уж не видел, как мелькает ее фигура в садике под утесом. У Маккриди стали спрашивать, как чувствует себя его теща, а потом это вошло в привычку, потому что вопрос этот явно раздражал его. Он отворачивался и, злобно рванув весла, отвечал:

— Э-э! Да будто получше!

Должно быть, ему надоели расспросы, потому что он и вовсе перестал бывать в кабачке, и каждый вечер, когда на реке смыкались густые тени деревьев, видно было, как он глядит в воду, перегнувшись через борт своей лодки, стоящей на причале в глубокой заводи прямо под его домиком. И никогда уже больше не слышали, как он поет свою любимую песню.

«По жене скучает», — говорили в деревне и в первый раз с тех пор, как он здесь поселился, к нему стали относиться, пожалуй, чуть ли не сочувственно.

Но как-то ранним утром помощник лесника, издавна затаивший на Маккриди обиду, пошел к заводи и, терпеливо провозившись целый час, выудил со дна миссис Маккриди, аккуратно зашитую в мешок, куда для

тяжести были положены камни. Лицо ее почернело. В убийстве обвинили Маккриди. Маккриди рыдал и не говорил ни слова. Его забрали в окружную тюрьму.

На суде он оставался нем как рыба. Его признали виновным. Помимо всего прочего, было установлено, что у миссис Маккриди нет никакой матери.

Ожидая, когда его повесят, Маккриди попросил, чтобы к нему прислали священника, и сказал ему:

— Послушай, отец, плевать мне на то, о чем ты собрался здесь рассуждать. Успеешь поговорить, когда меня не будет в живых. Не с тобой я веду разговор, да и вообще ни с кем — просто я здесь один, и для меня это роскошь видеть лицо человека, а не пустые глаза старикана стражника. Я не верю, что ты лучше меня, а если бы и верил, какая разница? Мне надо примириться с самим собой, а не с кем-нибудь. Думаешь, я бы смог жить сам по себе, если бы верил таким, как ты? Для меня ни разу не нашлось доброго слова — что у деревенских, что у господ — все едино. Стадо ослов! А почему не нашлось у них доброго слова? Да только потому, что я сам по себе. Они тебе станут говорить, что я скупой, скаред по-ихнему. Почему же я был скуп? А потому что знал, что они все против меня. С какой же радости мне им что-то давать? Они только и ждали, как бы забрать у меня все! Они тебе скажут, что я в грош не ставил жену. Это вранье, поп. Да у меня только и было, что она. И если бы я с ней так не поступил, я бы все равно потерял ее, это так же верно, как то, что я с тобой сейчас говорю. Я чуял это всю осень. Я, знаешь, не из тех, кто боится глядеть правде в глаза, меня разными там словечками с толку не собьешь. Вот ты рассуди: у тебя, допустим, есть бриллиант, и его собираются украсть. Так чем стоять, смотреть, уж лучше ты его сам бросишь в море, верно ведь? Сам знаешь, что верно. Ну, она померла — только-то. И я помру, когда меня удавят. Ты, поп, смотри, не болтай языком, что она, мол, грешница. Она ни разу не согрешила — не успела. Я не хочу, чтоб ты ее ославил, когда меня не будет и я не смогу вступиться. Но она бы согрешила, это уж точно. Что правда, то правда. К тому дело шло, понятно? Да, я бы наверняка ее потерял, и я тебе скажу, как я узнал это доподлинно.

Дело было в конце октября. Я, значит, высыпал всю выручку за перевоз и говорю жене. «Дженни,— говорю,— сегодня ты поработаешь на перевозе. Я еду в город, хочу купить кое-что из одежды. Ты смотри,— говорю,— чтоб никто не пролез на лодку, если не выложит тебе, честь по чести, шесть пенсов».

«Ладно, Маккриди»,— говорит. Я завернул себе в бумагу мяса, хлеба и велел ей меня перевезти на тот берег. Отошел немного по дороге, обождал, сколько ей надо, чтобы добраться назад, а потом повернул и потихоньку опять подкрался к воде. Смотрю, она так и сидит, как я ее оставил. Я опешил — сам понимаешь, как бывает, когда думаешь одно, а выходит по-другому. «Дженни,— сказал я ей, как будто нарочно для этого вернулся,— ты хорошенько смотри, чтобы все платили, ладно?»

«Хорошо, Маккриди»,— говорит. И поворачивает лодку назад. Ну, немного времени прошло, я снова спустился к реке, спрятался в кустах на берегу и просидел там целый день, смотрел, что будет. Видел ты когда-нибудь, как кролик попадает в силос? Четырех она перевезла через реку, и я каждый раз видел, как ей платят за перевоз. Но позднее, под вечер, к реке спустился тот самый, кого я подстерегал,— сам нечистый. Спустился и кричит: «Перевоз!» Жена подгребла к этому берегу, и он сел в лодку. Я с нее глаз не сводил. Я видел, как они разговаривают в лодке, видел, как он вылез на берег и взял ее за руки. Больше видеть было нечего, он ушел. Я дождался вечера, вылез из кустов и позвал: «Перевоз!» Жена тут как тут: она всегда была наготове. Перевезла меня. Я первым делом открываю кассу и вынимаю четыре медяка.

— Вот как, Дженни,— говорю.— Значит, четырех переправила сегодня?

— Да,— говорит,— всего четырех.

— Точно? — спрашиваю я.

— Точно,— говорит,— Маккриди.

Видел ты, какие бывают глаза у кролика, когда лиса уж рядом?

Я ее спросил, кого она перевозила, и когда она назвала только первых четырех, я понял, что потерял ее. Скоро она пошла спать. Она легла, а я все сидел у ог-

ня и вот о чем себя спрашивал: «Уступлю ли я им ее? Дам ли ее отнять?» Меня даже пот прошиб. Может, думал я, она забыла его назвать. Но ее глаза! И потом — где же его шесть пенсов? В этой жизни, поп, бывают вещи, от которых никуда не денешься.

«Нет,— сказал я себе.— Или ты с ним уже поладила, или собираешься поладить. Иначе бы ты взяла с него шесть пенсов». Я почувствовал, что весь наливаюсь тяжестью, как свинцом. «Ты взяла бы с него шесть пенсов,— сказал я себе.— Тут, как ни кинь, деваться некуда». Надо тебе сказать, жена у меня была женщина послушная, что ей ни скажи, все сделает, и уж раз она не взяла с него шесть пенсов, стало быть, причина была нешуточная, тут не приходится сомневаться. Я не из этих слабодушных, кто думает, что брак — дело святое. Мне никто не указ. Я говорю так: каждый мужчина — сам за себя, каждая женщина — тоже, и чем меньше лицемерить, тем лучше. Я не желаю, чтобы после моей смерти ты воспользовался случаем и стал трепать мое имя в дурацких разговорах. Не в браке дело, а в том, что меня собирались ограбить. Я никому из них ничем и никогда не был обязан — ни добрым делом, ни деньгами, а меньше всех — ему. Так что ж мне было сидеть и смотреть, как ее украдут и оставят меня ни с чем? Они точно так же крали бы у меня и плату за перевоз, тянули бы кровные мои денежки — им только позволь. Я тебя спрашиваю: значит, надо было им это позволить? Видеть собственными глазами, как на тебя снова надвигается одиночество? «Нет,— сказал я,— держите свое при себе, а мое останется при мне!» Я пошел взглянуть, как она спит, и мне почудилось, что она улыбается, как будто рада, что разделалась со мной и уйдет вместе с ним в деревню, ко всем этим, чтобы выставить меня на посмешище. И я подумал: «Надо что-то делать, Маккриди, а не то ты им просто-напросто поможешь ее украсть у тебя». Но что же я мог сделать? Я — такой человек, я все обдумаю со всех сторон и не один раз, но уж зато увижу, что к чему. А здесь дело было ясное, как ни поверни. И все же, поп, я плакал, когда прижимал ей к лицу подушку. Она и противилась-то едва, бедняжка, она всегда была послушная. Я зашил ее тело в мешок и думал все время одно: «Тут тебе крышка,

Маккриди». И ведь не то, чтобы я действительно расказывался. Человеческая душа—штука не очень-то простая. Торчал я потом все время над этим местом — вот что меня погубило. Но ведь если у тебя спрятано что-то дорогое, поневоле приходится держаться к нему поближе, а то очень уж одиноко.

Утром накануне казни Маккриди плотно позавтракал и даже попытался — еле слышно — спеть себе свою любимую песенку:

Какое мне дело до вас до всех,
А вам до меня,

ПРОЩАНИЕ

Когда бродишь среди деревьев, на которых еще висят кое-где золотые листочки, и в воздухе стоит запах сухой бурой листвы, покрывающей землю, и сладковатый едкий запах костров, на которых сжигают опавший лист, а крадущиеся шаги собаки, ступающей по настилу из палых листьев, неотступно следуют за тобою, тогда вся эта красота, и прощальный бледный свет солнца, и грусть становятся почти невыносимы. Все это — словно печальное воплощение призрака, который является иногда даже самой трезвой душе, вопрошая: «Смерть — а что же потом?»

В такой день человеку ни в чем не найти прибежища. Что может его занимать в мире, где все бrenно? Нельзя даже провести грань между благополучием и несчастьем, потому что все человеческие радости и страдания, богатство и бедность в этом шорохе мертвых листьев кажутся близнецами. Тусклый огонек жизни трепещет, готовый погаснуть и слиться с мраком.

В такой день одно утешение — небо; пусть даже человек с ужасающей ясностью чувствует, что оно никогда не разверзнется и не даст взору, потонувшему в этих далях, увидеть вершины вечности, — небо все же высокое, вольное, в нем есть какое-то подобие бессмертия, и, быть может, создано оно из того нетленного духа, который покидает тела умерших и облетевшие листья.

В такой день, когда любовь, как усталая птица, едва шевелит крыльями, хорошо остановиться и долго глядеть в небо. Неотвязные запахи, назойливый шорох пе-

рестают ненадолго тебя преследовать, потому что там, в вышине, все еще плавно движутся крылья Гармонии.

Вот в такой именно день в Кенсингтонском саду я увидел прощание двух несчастных. Они сидели рядом в сумрачной аллее каштанов, что ведет мимо памятника Спеку к озеру Серпентайн,— высокий, грузный мужчина с бородкой и бледная миниатюрная девушка. В них не было ничего примечательного: он на вид — деловой человек обычного типа, она, вероятней всего, гувернантка. И сидели они так неподвижно, говорили так тихо, что я совсем забыл о них. Это был один из тех дней, когда люди мало интересуют друг друга. Неожиданно я заметил, что они уже не сидят, а стоят у скамейки. Полускрытые стволом каштана, чьи широкие листья так были похожи на протянутые к бледному солнцу ладони, они стояли тесно, почти вплотную, не обращая внимания на то, что они не одни, и смотрели они друг на друга так, что у меня сжалось сердце. В глубине их глаз жизнь угасала, угасала так же неотвратно, как умирают осенью сухие листья. Вся их нехитрая история словно открылась мне вдруг, я понял ясно, что это — последнее свидание. Какая-то роковая сила разлучала их, и, хоть они и не признавались в том, каждый знал, что это навсегда.

— А ты будешь писать мне?

— И когда я вернусь...

Но говорилось это так, что я почувствовал: никакие слова уже не имеют значения для этих людей, потерявших надежду и пытающихся только утешить друг друга.

Из разговора можно было понять, что они не муж и жена, но по тому, как они смотрели, как касались друг друга, видно было, что это прощаются люди, которые были любовниками. Каждый их взгляд, каждое прикосновение были полны страсти, трепетной, живой. У девушки на груди висел золотой крестик, и во время их разговора неловкие пальцы мужчины играли этим крестиком, тербели его, видимо, совершенно бессознательно. Наше у нее была еще узенькая пунцовая бархотка, и когда он поглаживал ее, глаза девушки, голубые, как цветы льна, темнели, словно от глубокого наслаждения. В ее лице, обращенном к нему, было что-то неанглийское: вы-

сокие скулы, пепельные волосы, и было оно бледно белизной чуть привядшего цветка; руки ее, ни на минуту не находя покоя, все теребили и поглаживали его рукав, а голос так же безостановочно и торопливо шептал что-то с легким иностранным акцентом. А он, этот грузный мужчина... странно было видеть, как трепетало и подергивалось его лицо,— казалось, маска плоти силится удержать рвущиеся наружу сокровенные и дорогие для него и для нее воспоминания.

Только что-то неумолимое, роковое могло разъединить их в полном расцвете страсти; или, может быть, то была лишь одна из тех печальных историй, когда жестокие братья — Деньги и Репутация — вмешиваются и попирают любовь?

Трудно сказать, что сильнее выражалось на этих лицах, почти касавшихся друг друга: жалость к себе или жалость к другому сердцу, которое должно было осиротеть так скоро, лишиться своей маленькой доли бессмертия.

И тут, даже не оглянувшись, чтобы убедиться, что никто не смотрит, они прильнули друг к другу. Они понимали: на улице или на станции это будет уже невозможно, а здесь, в уединении, под деревьями, так хорошо знавшими, что такое прощание, здесь, где никто не мог их видеть, кроме равнодушного незнакомца и спаньеля, ворошившего остреньким черным носом мертвые листья, можно было еще раз попытаться забыть.

Пусть их печальная история была банальна, быть может, не совсем пристойна в глазах света — они, стоя так вот, прижавшись друг к другу, любя и прощаясь со своей любовью, казались символом этого осеннего, уже дышавшего смертью дня, такого дня, когда, кажется, все в природе любит и все расстается с любовью, переходя в небытие. Ни одна скульптура во всем Кенсингтонском саду не сравнилась бы с этой темной печальной группой — слившимися в объятии людьми, которые в последнюю минуту пытались задушить горе сомкнутыми в поцелуе губами.

Но потом, когда губы их разомкнутся, что же потом? Найдут ли они в себе силы отвернуться и пойти каждый своей дорогой, оставив сердце здесь, в воздухе этой

аллеи, в обрамлении редких поблекших листьев, и унося в себе пустоту, налитую их шелестом?

У них не хватило на это сил. Они пошли вместе, вяло опустив руки; мужчина старался казаться спокойным, девушка тихонько плакала. Чем ближе к воротам, тем медленнее они шли. И наконец, выйдя из парка, остановились на краю тротуара. И, словно впрямь они оба оставили сердца на веки вечные там, под деревьями Кенсингтонского сада, они, почти не коснувшись друг друга, простясь только долгим и грустным взглядом, расстались.

Небо переменилось. Оно было еще высокое, но без солнца стало сизым, как крыло голубя, и как будто все налилось невыплаканными слезами. Поднялся ветер, холодный, шумливый, так что теперь лист, оторвавшись от ветки, стремительно уносился, долго кружил и трепетал в воздухе и потом уже падал. Люди невольно ускоряли шаги, словно ветер нашептывал им такое, чего им не хотелось слышать, а птицы на оголенных ветках примолкли — должно быть, и им было невесело.

В аллее каштанов я силился отыскать место, где оставили сердца те двое. Над ним пронесся ветер, и оно затерялось в чаще серого сумрака. Но, хоть я и не мог видеть его, я знал, что он здесь, этот поцелуй, навсегда запечатленный в лучах бледного солнца. И я искал его, жаждал его тепла в тот день, похожий на конец любви. Я так и не нашел его и тихо побрел домой; в похолодевшем воздухе умирали все запахи; шуршание сухих листьев под шагами собаки следовало неотступно за мною.

ВЬЮЧНОЕ ЖИВОТНОЕ

В один зимний день я сидел в вагоне второго класса парижского поезда. Около меня оставалось свободное место, и вскоре его занял появившийся с узелком в руках французский матрос, неуклюжий, крепко сбитый молодой парень, похожий на диванный валик, в синей форме и берете с темно-красным помпоном. Он сидел, подавшись вперед, упершись руками в бока, и его обветренное бритое лицо, своим выражением напоминавшее лицо некрасивого заброшенного ребенка, было так неподвижно, словно у этого человека совершенно не работала мысль. Вдруг, прикрыв рот рукой, он закашлялся долгим, почти беззвучным кашлем.

Поезд тронулся. Пассажиры занялись чтением или улеглись спать, но матрос сидел неподвижно, и время от времени слышен был его приглушенный, свистящий кашель.

В Амьене проверяли билеты, и кондуктор потребовал с матроса доплату — разницу между ценой билета второго и третьего класса. Медленно достал огорченный матрос эти деньги из старого кожаного кошелька.

Мы снова тронулись. Видно, этот инцидент сломил стоицизм матроса: он зашевелился и заговорил со мной по-французски. Говорил он нескладно и с фламандским акцентом, так что я с трудом понимал его. После каждой фразы он опускал нижнюю губу, как будто это было его последнее слово. Он, насколько я понял, возвращался из Дюнкерка на свой корабль в Шербур, и это был последний поезд, которым он мог добраться до

места, не опоздав. Дома он оставил мать-вдову совершенно без денег, и поэтому дополнительная плата за билет его так расстроила. Восемнадцать месяцев он прослужил на чужбине, восемнадцать дней прожил дома; теперь он ехал дослуживать свой срок где-то в Китае. Его брата убили японцы, совершенно случайно, приняв его за русского. А отец во время летнего лова утонул где-то около Исландии.

— C'est mè qui a une mère, c'est mè qui est seul à la maison. C'est elle qui n'a pas le sou¹.

Это была его единственная связная фраза, и, сказав ее, он сплюнул. Затем, поняв по выражению лиц пассажиров, что этого делать не следовало, он медленно, скрипя башмаком, растер свой плевок. И, глядя на меня маленькими, глубоко посаженными глазами, сказал:

— Я болен.— И добавил медленно:— А что, климат в Китае вреден для больных?

Я пытался успокоить его, но он только качал головой и после долгой паузы опять повторил:

— Мать у меня, я единственный кормилец в доме. У нее нет ни гроша.

Скажите — казалось, вопрошали его глаза — почему это так? Вот у меня мать, у которой я один кормилец, а меня посылают умирать.

Он потер ладонями свои округлые бедра, затем, не меняя положения рук, наклонился вперед и сидел молча, глядя куда-то в пространство темными глазами. Больше он не беспокоил меня разговором — он уже облегчил душу. И вскоре на вокзале ушел от меня как бессловесное, терпеливое животное, покорно несущее свою ношу. Но я долго не мог забыть его лицо и монотонный голос, твердивший: «У меня есть мать, я у нее один, у нее нет ни гроша».

¹ У меня есть мать, я ее единственный кормилец. У нее нет ни гроша (франц.).

БРОДЯГИ

Было тихо. Солнце заходило, в теплом сонном воздухе не чувствовалось даже легкого ветерка.

Неяркий свет падал на беленые дома, беспорядочно разбросанные вдоль улицы, округляя углы и бросая на стены, крыши, пороги тусклый розоватый отблеск. На пустыре перед церковью Утоления Печалей и у магазинов и домов виднелись люди,— они стояли в ленивых позах и молчали или вяло судачили, мягко, по-девонширски, растягивая слова.

Перед кабачком развалился щенок-спаньель; головастый и неуклюжий, он играл собственными ушами и беспомощно глазел на детей, которые выбегали из переулков, лениво гонялись друг за другом и исчезали. У стены старик в бумазеевом костюме, с густой бородой торчком, грузно опираясь на палку, сонно переговаривался с кем-то внутри. Издалека доносилось воронье карканье, пахло свиной грудинкой и прелым сеном, горящими дровами, жимолостью.

Потом над дремлющей деревней возник звук колес и с ним какое-то движение и шорох.

Шум колес становился громче, потом затих; напротив церкви остановился цыганский фургон, похожий на пещеру — черный, заляпанный грязью, с корзинками, связками лука, сковородками, вьющейся струйкой синего дыма, запахом поношенной одежды.

Лошадь стояла там, где ее остановили, не шевелясь, устало понуриив голову; рядом потягивалась девушка-цыганка, стоя на одной ноге и заложив руки за голову;

обманчивая игра света превращала в бронзовые ее иссиня-черные волосы.

Гибкая, как змея, она сверкала во все стороны темными глазами, одергивая юбку и поправляя на груди истрепанную шаль. В ее угловатых чертах заметно было кошачье хитроватое выражение, присущее людям ее племени.

Широкоплечий старик с проседью и медно-красным лицом наклонился над оглоблей и заговорил с кем-то в фургоне.

Движение и шорох возобновились.

Из домов, переулков, отовсюду выбежали дети — мальчики и девочки. В белых платьях и цветных, с чистыми рожицами и с неумытыми; они сначала суетились и подталкивали друг друга, потом притихли.

Они держались за руки, рты их были широко открыты. Стояли полукругом, пестрой примолкшей толпой в двух-трех ярдах от фургона, взрывая ногами пыль, шепчась. Порой немного расступались, будто хотели убежать, потом сдвигались еще теснее. Из фургона вылезла с малышом на руках старуха с густыми волосами и крючковатым носом. За ней, цепляясь за ее подол, пряталась маленькая девчушка. В кругу детей непрерывно слышались тихие, взволнованные восклицания, точно гул телеграфных проводов.

Старуха положила малыша на руки старому цыгану, посадила девчушку на козлы и отошла от фургона, торопливо и негромко разговаривая с девушкой. Обе скрылись среди домов, и круг детей придвинулся ближе к фургону; кулачки начали разжиматься, пальцы — указывать; мальчишки уже носились взад и вперед.

Свет постепенно утратил розовый оттенок, контуры предметов стали резче; послышалось слабое жужжание комаров; и внезапно тишину раскололи спорящие голоса.

Старик у стены кабачка сплюнул сквозь веник своей бороды, разогнулся, раздраженно буркнул что-то и заковылял прочь, опираясь на палку; щенок-спаньель смущенно ретировался в кабачок, отрывисто таякая и оглядываясь на бегу; люди выходили из домов, глазели на фургон и, повернувшись на каблуках, тут же исчезали. То новое, что принесли чужаки в деревню, было так же трудно уловить, как игру света.

Старый цыган облокотился на оглоблю, посвистывая и набивая трубку; над ним, на краю козел, сидели малыш и девочка с льняными волосами и загорелыми лицами; они были немые, как куклы, и глядели на все как-то по-кукольному, будто их выставили напоказ.

Так, видно, и думали дети, которые подталкивали друг друга и шушукались; две-три девочки постарше тянулись к малышу, но тотчас отдергивали руки, испуганно хихикая.

Мальчики затеяли игру. Интерес новизны, который вызвали в них цыгане, уже сменялся пренебрежением, но девочки стояли, как зачарованные, вертя светлыми головами, указывая пальцами на детей или маня их к себе.

Свет снова смягчился, став более серым и таинственным; предметы теряли определенность, отступая и растворяясь в сумраке; мерцавший в окне огонек лампы разгорелся ровным пламенем.

Раздался голос старого цыгана, отчетливый и убедительный — он что-то говорил детям. Концертино на улице заиграло «Правь, Британия» в ритме польки; уже слышался шум танцев и драки; во дворе кабачка кричали два голоса.

Чья-то тележка, дребезжа, двигалась между темными домами. Залаяла собака; крики играющих мальчишек стали пронзительней; сквозь них прорывались плач ребенка и протяжные звуки концертино, то усиливавшиеся, то затихавшие. Из дома вышла женщина и, бранясь, увела двух девочек: «На что вам сдались эти цыгане? Дуры!»

Кучка мужчин столпилась у входа, оживленно разговаривая, смеясь; лица их были не видны в темноте, горящие трубки рассыпали брызги искр. Из окон сквозь синеватую тьму пробивались веерообразные огни ламп. В свете одной из них обрисовывались голова старого цыгана и головки обоих детей, казавшиеся золотыми на фоне мрачной дыры фургона.

Затем, будто из-под земли, снова возникли фигуры двух цыганок; старый цыган снял руки с оглобли, послышалось несвязное бормотание, быстрое движение, беспокойный смех девушки; старая лошадь дернулась вперед, и фургон двинулся. Впереди, держась за поводья, бесшумно ускользала в ночь темная, изогнутая

фигура девушки-цыганки; с тяжелым громыханьем черный фургон исчез вдали.

На улице раздался звук, похожий на вздох, топот ног. Кто-то зевнул с растяжкой, другой сказал:

— Так не забудь об этом, ладно?

О дерево с резким стуком выколотили трубку.

— Ну, может, и твоя правда. Видно, погода продержится.

— Покойной ночи, Веллем.

— Покойной ночи.

— Так возьмешь эту старую клячу?

— Там видно будет... Ну, прощай!

Голоса и замирающие шаги сменились безмолвием, мягким и глубоким, как чернота августовской ночи. Сонный воздух был напоен запахом остывающей земли; над деревней затрепетал слабый ветерок — словно дух пролетел.

Кто-то темный неподвижно стоял на улице, прислушиваясь к концертино, тянувшему последние ноты песни «Родина, милая родина». Мерцая, исчезали со стен всеобразные блики света; место их заняла тьма.

ЖЕНЩИНА

Путешественник писал другу:

«...Мы сидели на веранде перед домом. Длинная цепь Столовых гор казалась темно-фиолетовой тенью, вдвое темнее неба. Светил нам только Южный Крест и рой других звезд. То была редкостная ночь, совсем как черный хрусталь.

После танцев дамы отправились спать. Все ставни были прикрыты, и старый дом за нашими спинами притих, стал каким-то плоским и длинным. Открытой оставалась только дверь, у которой мы сидели. Вылетая из наших трубок, искры зигзагами устремлялись вверх или, падая на пол, затухали, как и слова, слетавшие с наших уст. Вам легко представить себе, что это была за беседа. Утром дамы играли с нами в крикет меж деревьями; если шар попадал в виноградник, это считалось аутом и означало проигрыш пяти очков. Днем мы вместе с дамами играли в теннис на недостроенном корте. Вечером танцевали. Потом, распрощавшись, одни ушли домой, другие легли спать. Остались мы вчетвером, да старый пойнтер Джуно, который, положив голову на лапы, морщил нос всякий раз, когда из темноты доносился писк какого-то зверька.

Маленький Бинг сидел, расстегнув жилет, выпрямившись и расставив ноги. Вы знаете этого круглолицего человека небольшого роста, с короткой шеей, с волосами цвета соломы и глазами без ресниц, похожими на очищенное яйцо, маленького Билли Бинга, сердечнее которого, как говорят, во всей кейптаунской колонии не

сыщешь. Рядом молодой Сэнли, женатый на одной из дочерей Детвелля, уже сладко спавшей в доме,— такой опрятный спокойный малый, истый шотландец, но до чего же стандартный тип с бесцветными усами, высоким лбом и тонким носом, в хорошо сшитом костюме и аккуратно завязанном галстуке. И наш хозяин — вы с ним знакомы — немного слишком живой, слишком смуглый, очень хороший парень, помолвленный с другой дочерью Детвелля, которая, лежа в своей постели как раз над нашими головами, возможно, думала о нем, а возможно, и нет.

Словом, мы вели беседу, прохаживаясь то насчет одного, то насчет другого, не давая, однако, воли злословию, а как бы чуть-чуть пачкая людей дегтем. Нам было скучновато, хотелось спать, а потому мы нарочито старались казаться веселыми. Даже Джуно, умудренный жизнью не меньше любого из нас, мрачно размышлял о намерении своего хозяина повести нас с рассветом, пока не наступила жара, охотиться на фазанов.

Нам уже случалось бывать на такой охоте, и мы знали, что она сулила: лазанье по густо заросшим каменистым склонам, самое большое пару выстрелов, а в результате одну выпотрошенную птицу. Время от времени кто-нибудь из нас вставал, подходил к краю веранды, всматривался в темный виноградник, делал движение, словно намереваясь уйти, но в конце концов подавался уговорам нашего хозяина: «Еще по трубке, мальчики!»

Вдруг молодой Сэнли пробормотал:

— Я слышу шаги.

— Это кто-нибудь из негров,— сказал наш хозяин.

Но тут в дальнем конце веранды появилась женщина. Она прошла прямо к нам и села. Это было так неожиданно и нелепо. Маленький Бинг сидел, точно пригвожденный к месту, он заморгал глазами без ресниц, и лицо у него искривилось. Сэнли побледнел и нервно забарабанил пальцами по столу. Только наш хозяин сохранил дар речи.

— Корри! — воскликнул он.

— А почему вы так удивляетесь? Дайте мне чего-нибудь выпить, Джек Аллен.

Наш хозяин налил в стакан коньяку и добавил сельтерской.

Женщина протянула руку за стаканом, и когда она подняла голову, чтобы выпить, плащ соскользнул у нее с плеч, и нашим глазам открылись прелестные шея и руки, которых не скрывало вечернее платье.

— Благодарю,— сказала она.— Мне так хотелось выпить.— Затем, опершись на стол, склонила голову на руку.

Мы все молчали, тайком оглядываясь на дом. Сэнли спокойно протянул руку и прикрыл дверь.

Женщина сказала:

— Я видела, как прыгали огоньки ваших трубок, и услышала ваши голоса. А теперь у вас беседа что-то не клеится.

Голос у нее был негромкий, но звучал нарочито грубо. Ее губы слегка раскрылись над указательным пальцем, согнутым у подбородка. Видно было, как ноздри ее расширялись, когда она пристально и недоверчиво вглядывалась в каждого из нас. Она была без шляпы, ее волосы походили на сгусток темноты над лбом. А ее глаза... Как мне описать их? Было похоже, что они видят все и в то же время ничего. Взгляд их был таким пристальным, печальным и вызывающим, суровым, если угодно, и трагичным.

Только теперь я вспомнил, что уже видел эту женщину, хотя с тех пор, как я приехал в колонию, не прошло и десяти дней. Это было после театра, на званом ужине, очень шумном и беспорядочном, у человека по имени Браун.

Женщина с самой дурной репутацией в Кейптауне! Мне показали ее дом на самом краю Малайского квартала — небольшой розовато-лиловый домик, фасад которого украшали большие красные цветы.

Женщина с самой дурной репутацией в Кейптауне! Я взглянул на нашего хозяина. Он грыз ногти. Потом на Бинга. Он приоткрыл рот, словно собираясь сделать какое-то глубокомысленное замечание. Сэнли поразил меня своим видом — жалким и в то же время сдержанным. Молчание прервал наш хозяин:

— Какими судьбами вы здесь?

— Я остановилась у Чарли Леннарда. Какой это скот! О-о! Что за скот!

Ее глаза с тоской, как мне показалось, останавливались на каждом из нас по очереди.

— А какой прекрасный вечер, не правда ли? — сказала она.

Маленький Бинг выбросил вперед ногу, словно отшвырнул что-то, и начал было, заикаясь:

— Прошу прощения, прошу прощения...

Я увидел, что старый пойнтер терся носом о колени женщины. Позади нас, в доме, что-то задвигалось. Вздвогнув, мы оглянулись. Тут женщина рассмеялась тихо, почти беззвучно, словно она обладала сверхъестественной способностью читать наши мысли. Казалось, она не может остановиться. Я увидел, что Сэнли дернул себя за волосы, а потом незаметно снова пригладил их. Наш хозяин сердито нахмурился и засунул руки так глубоко в карманы, что, казалось, вот-вот их провет. Маленький Бинг ерзал на стуле. И тут женщина перестала смеяться так же внезапно, как начала. Наступила томительная тишина. Был слышен только писк какого-то зверька. Наконец она сказала:

— Сегодня вечером здесь так чудесно пахнет; и такая тишина! Налейте-ка мне еще! — Она протянула нашему хозяину стакан. — За ваше доброе здоровье, почтенные друзья, — провозгласила она.

Вдруг наш хозяин снова сел на свой стул и, скрестив на груди руки, испустил жалостный, еле слышный вздох.

— Я не собираюсь причинять вам неприятности, — сказала она. — Сегодня вечером я не обижу и мухи. Здесь пахнет домашним уютом. Поглядите-ка! — Она показала нам подол своей юбки. — Роса! Я промокла от росы! Как она дивно пахнет!

Ее голос утратил всякую грубость. Так могла говорить мать или сестра. Это было очень странно, и маленький Бинг пролепетал:

— Очень плохо! Очень плохо!

Но никто не знал, относились ли эти слова к женщине или к нам.

— Я прошла сегодня много миль, — сказала она. — Такой прогулки мне не случалось совершать с самого детства.

В ее голосе звучали такие нотки, которые отдались во мне болью. И тут молодой Сэнли внезапно встал.

— Извини меня, Аллен,— запинаясь, сказал он.— Уже очень поздно, мне пора.

Я заметил, как блеснули его глаза, когда он взглянул на женщину.

— Вы уходите? — спросила она.

В ее голосе прозвучало что-то похожее на сожаление, наивное и неосознанное, и тут этого приглаженного молодого человека точно прорвало:

— Да, мадам, уйду. Позвольте спросить, зачем вы сюда пожаловали? Моя жена...

Он остановился, ощупью нашел дверь, распахнул ее и, улыбнувшись своей заученной улыбкой, удалился. Женщина встала и деланно рассмеялась.

— Его жена! О-о! Ну что ж, желаю ей счастья. Ах, боже мой! Конечно же, я желаю ей счастья. И вашей жене, Джек Аллен; и вашей, если она у вас есть. Билли Бинг, вы помните меня, помните, когда я в первый раз... сегодня вечером я подумала, что... подумала...

Она закрыла лицо руками. Один за другим, крадучись, мы покинули веранду, дав женщине возможность выплакаться в одиночестве.

Кто знает, о чем она думала? Одному небу известно, какие еще дела творятся вокруг нас. Они выплывают на свет, слава богу, не слишком часто.

Позже я подкрался к веранде. Женщина все еще была там, а рядом с нею — маленький Бинг, склонившийся к ней. Потом я увидел, как он взял ее за руку, погладил и, поглядывая на небо, увел женщину в темноту».

ЧУДАК

В нем чувствовался сильный характер, если можно утверждать это о человеке, который еще ходит в детских платьицах. Да, платьице было совсем коротенькое — всего в девять дюймов длиной, — зато его носило существо с сильным и решительным характером. На корабле все называли его Чудаком. Почему? Трудно сказать. Может быть, за то, что он презабавно ковылял целые дни по всему кораблю, был толстый, как мячик, и казался отчаянным забиякой. Настоящее имя его было Фердинанд, но родители называли его «малыш», а мы прозвали «Чудаком».

Два месяца мы плыли под парусами на запад, к мысу Доброй Надежды. Почти все время держалась ясная, тихая погода, а в такую погоду его выпускали на палубу, где он ходил вперевалячку или стоял, прижавшись к чьим-нибудь коленям. Если вы начинали его разглядывать, он в ответ принимался изучать вас, и становилось ясно, что он дает вам ничуть не более лестную оценку, чем вы ему. Он всегда брал над вами верх.

Вместо того чтобы спорить, с какой скоростью идет наш корабль, мы усвоили привычку ежедневно биться об заклад, сколько раз в этот день наш Чудак будет плакать. Десять считалось наименьшей цифрой, а сорок — наибольшей. Однажды в жаркий безветренный день, когда Чудаку нечего было делать, выиграла цифра тридцать семь; в бурную погоду победа доставалась тем, кто называл наименьшие цифры: он любил смот-

реть, как катятся большие волны, и проводил почти все время в шпигатах¹, куда неизменно скатывался. Он никогда не плакал от боли, но гнев или уязвленное чувство собственного достоинства всегда вызывали у него слезы. Чудак был славный малыш; во время нашего плавания ему исполнилось три года. Старый матрос Энди, который шил и чинил у нас на корабле паруса, готов был биться об заклад, что Чудак положит на обе лопатки своего братишку Фредди, которому скоро должно было исполниться пять лет.

Он был неразговорчив, наш Чудак,— он берег свои легкие для других целей; не обещал он и стать когда-нибудь великим мыслителем, но все мы гордились им и жаждали сравнить его с другим ребенком такого же возраста и веса, если бы только такого можно было найти.

Если кто-нибудь захотел бы как следует рассмотреть Чудака, то увидел бы сверху шапку жестких золотисто-каштановых кудрей, торчащих наподобие маленьких крутых штопоров, широкий лоб, украшенный синяками и шишками, пару бесстрашных серых глаз, круглые румяные щеки, курносый нос, широко открытый рот с пухлыми красными губами, из-за которых виднелось несколько зубов, двойной подбородок, множество веснушек и бесшабашно-воинственное выражение этого детского личика. А еще ниже — нечто вроде круглого свертка в платице голубого или белого цвета и пару толстых, основательно исцарапанных ножек. Мне никогда не приходилось видеть, чтобы Чудак чего-нибудь испугался; он никогда никого не слушался. Мать Чудака обожала сына; отцу его, человечку маленького роста, приходилось несладко от капризов Чудака. Малыша часто пороли. Но с таким же успехом можно пороть баранью ногу. Когда его поведение требовало уже самого сурового наказания, Чудака отводили к нашему капитану, толстогубому старику с седыми бакенбардами, и он получал свою порцию шлепков в торжественной обстановке, при всех, но выходил из этого испытания еще более закаленным, как всякая сильная личность. Он ни

¹ Ш п и г а т — отверстие в борту судна для удаления с палубы воды.

минуты не мог постоять на месте и всегда пускал в ход кулачки, барабания по палубе, на которой споткнулся, или по тому, что мешало ему идти вперед. Надо признаться, Чудак наш вел себя ужасно, когда ему что-нибудь не нравилось. Как и все дети на корабле, он ел вместе со взрослыми за стоявшим посреди салона длинным обеденным столом, как бы составленным из множества гладильных досок. И если б вы только видели, какой это был едок! То, что не попадало ему в рот, летело через плечо или оказывалось на коленях у соседа. Рядом с ним за столом сидела рыжая, всегда чем-то недовольная особа, его няня, а по другую сторону — второй помощник капитана, единственный человек на корабле, который пользовался уважением нашего малыша. Поистине удивительное влияние оказывал на Чудака этот второй помощник: он мог делать с ним все, что хотел. Чудак знал, что в свое время второй помощник был таким же точно Чудаком, как и он: они, несомненно, сразу поняли друг друга по какому-то тайному знаку, как масоны. Да, второй помощник капитана стал повелителем нашего Чудака; он даже мог заставить его съесть саговый пудинг, а уж это было пределом человеческого могущества. Румяный и светлоусый второй помощник был молод и резковат, он молча восседал рядом с Чудаком, важный, как судья, и когда малыш вел себя неподобающим образом, стучал его по голове десертной ложкой. Чудак подсакивал и с выражением покорного изумления принимался разглядывать третью медную пуговицу на мундире помощника капитана, являя собою в высшей степени поучительное зрелище. Сидевшие за этим концом стола постоянно втайне забавлялись, наблюдая Чудака.

Однако нам никогда не приходило в голову, что Чудак слушается второго помощника из страха перед ним. Все знали: если он и ползает перед помощником на четвереньках, то делает это по той простой причине, что считает того достойным этой чести и ставит выше всей команды. Поэтому мы им гордились.

Однажды, поднявшись на палубу, я увидел, как по бизань-вантам карабкается вверх наш Чудак, круглый, как шар, карапуз в полотняном платице, из-под которого торчат голые ножки. Ниже медленно и спокойно под-

нимался второй помощник капитана, крепко вцепившись рукой в платье Чудака. Малыш в восторге верещит, второй помощник улыбается, а под ними молча стоит вечно недовольная няня.

Мы многим обязаны Чудаку: он был для нас объектом размышлений и споров, оселком для наших языков, источником огорчений и смеха. И в штиль и в шторм, когда корабль спокойно плыл и когда паруса полоскались на ветру, он был все тот же — существо, исполненное величайшей серьезности, крошечная частица балласта. До сих пор помню, как во время захватившего нас своим хвостом циклона недалеко от мыса Лувин¹, когда корабль наш стонал, в каютах царил хаос и у всех душа уходила в пятки, мы вдруг услышали заглушивший свист ветра рев Чудака, которого шлепали в соседней каюте, и к нам снова вернулось чувство уверенности, покоя и незыблемости всего сущего...

Сейчас он, наверное, уже вырос, выбрал себе дорогу, открытую для Чудаков, и занимается торговлей, произносит проповеди или вершит дела государства, действуя со спокойной, но непобедимой напористостью, как это свойственно людям его породы.

Его можно встретить на любой дороге в любой стране, куда бы вы ни поехали, почти в каждом учреждении, в парламенте, в церкви на кафедре, в наемном экипаже и на палубе корабля; слегка оскалив зубы, он как будто готов вцепиться в любое дело, совершенно невозмутимый, бодрый, готовый к нападению, но редко нападающий; его волосы слегка растрепаны, ходит он немного вразвалку, и никто не может выдержать пристального взгляда его серых глаз. Он веселый спутник, добрый друг, честный враг, который не спешит вступить в драку, но, раз начав ее, совершенно не допускает, что ему придется увидеть опущенные вниз большие пальцы зрителей², точно так же, как он не в состоянии себе представить, что может вызвать у кого-нибудь улыбку.

¹ Юго-восточная оконечность Австралии.

² В древнем Риме существовал обычай опускать в цирке большой палец правой руки вниз в знак того, что побежденный гладиатор должен умереть.

В жилах Чудака течет древняя кровь англосаксов. В жизни для него не существует ничего, кроме фактов, всякие идеи ему ненавистны.

Долго может носить нас с Чудаком старый челн по зеленым морям истории в нашем великом плавании. Но пока он с нами, Судьба никогда не занесет наши имена в «Книгу потерь» Ллойда, боясь, что Чудак поднимется из волн и, пристально глядя на нее своими голубыми глазами, назовет ее лгуньей,— весь мокрый, сердитый, он упрямо откажется верить, что утонул.

НАВСЕГДА

Из передних вагонов поезда для эмигрантов неслись пьяные голоса, певшие патриотические песни. Проводники проверили время — большие часы Пэддингтонского вокзала показывали четырнадцать минут нового дня.

Плотник взглянул на меня.

— Жаль, теперь уже не успеют, — сказал он.

Стрелка часов подползла к пятнадцати, и проводники начали закрывать двери; плотник поднялся к себе в вагон, его круглое бледное лицо выражало растерянность и печаль.

— Видно, придется ехать одному, — сказал он.

Но тут в конце длинного перрона показалась группа бегущих мужчин и женщин. Впереди — солдат, за ним — Генри-Огастес, очень бледный, запыхавшийся; вскочить в вагон им обоим пришлось уже на ходу.

— Куча неприятностей с самого начала! — сказал Генри-Огастес. — Вот уж не везет, так не везет!

Поезд пошел быстрее, уже не видно было друзей солдата, махавших ему шапками, скрылось вдали и лицо жены Генри-Огастеса и красная шляпа ее приятельницы. Плотник не глядел назад: его никто не провожал.

После ночи в поезде я вошел на станции Честер в их вагон и застал моих трех безработных уже проснувшимися: солдат и плотник сидели на скамье спиной к движению, а Генри-Огастес — напротив них и дымил всю своей глиняной трубкой. Солдат указал на плотника и сказал с веселой улыбкой.

— Все в порядке, сэр, наш друг о нас уже позаботился.

Плотник слабо усмехнулся. От него изрядно несло спиртным.

Генри-Огастес сказал:

— Мне всю ночь мерещилось, что я на пароходе и даю гудки в тумане.

В свете наступавшего дня его глаза с красным ободком вокруг радужной оболочки казались мертвыми; лицо, белое, как рыбье мясо, сморщилось в улыбке; он махнул трубкой в сторону окна.

— Как нас еще встретит эта Канада?

Ночью был сильный мороз; вдоль полотна железной дороги намело большие сугробы пушистого снега; дома в Порт-Санлайте были словно покрыты белыми крышами с закругленными краями; в воздухе стояла та особая тишина, какая бывает только тогда, когда много снега, а над всем этим простиралось дивное зимнее небо, разорванное солнцем на опаловые клочья.

Через полчаса мы высадились в Биркенхеде и среди молчаливой толпы эмигрантов стали спускаться к парому. Плотник в своем длиннополом пальто, с коричневым ковриком под мышкой и кошелкой с инструментами в одной руке шагал впереди с таким сосредоточенным видом, точно его ноги пришиты к торчащему животу, и поэтому он должен передвигать их осторожно. Его крупные голубые глаза над дряблыми щеками были устремлены вперед, с каждым вздохом он источал винный перегар — свидетельство ночной попойки. Рядом со мной, вытянув вперед шею, шел солдат, преждевременно поседевший человек со здоровым румянцем на высоких скулах. В глазах его был тот особый блеск, какой бывает у людей, которым приходилось глядеть в необъятные пространства впереди и видеть смерть лицом к лицу. А позади, насмешливо скаля черные зубы, в пальто нараспашку и скрученном веревочкой галстук, выглядывавшем из-под ворота бумазейной рубашки, трусил с беспечным и независимым видом Генри-Огастес.

В четверти мили от нас, на серой глади реки уже ждал большой однострубный пароход, покрытый пятнами выпавшего ночью снега.

С трудом выговаривая слова, плотник сказал:

— Еще час или два, и он нас заберет!

Мы повернули головы, чтобы взглянуть на бездушное чудовище, которое скоро поглотит много сотен людей. Сзади раздался голос Генри-Огастеса:

— И будем надеяться, что обратно сюда ему не придется нас доставлять!

Мы переправились через реку и пошли в городок завтракать. Процессию возглавляли плотник и я.

— Мне все кажется, что это сон,— сказал он, обдавая меня благословенным ароматом виски.

Вестибюль, коридор и лестница небольшой гостиницы, как и тесный обеденный зал, сразу оказались битком набиты эмигрантами. Бородатые мужчины и юноши, женщины и маленькие дети сидели за длинным единственным здесь обеденным столом, остальные толпились у стен, ожидая своей очереди.

Пожилая женщина в очках, с отсутствующим выражением не улыбчивого лица наливала чай из громадного жестяного бака в толстые кружки и сурово командовала двумя молоденькими румяными служанками, которые разносили на тарелках яичницу с беконом. За длинным столом, в коридоре и на лестнице никто не говорил ни слова. В этом странном молчании чувствовалось какое-то нечеловеческое терпение и покорность судьбе. Тишину нарушали лишь громкий плач ребенка да непрерывный стук тарелок. Сесть за стол вчетвером нам не удалось, но я и Генри-Огастес устроились все-таки рядом. Каждому из нас подали яичницу с беконом, несколько ломтиков черствого хлеба, кусочек белесого масла и кружку жидкого чая. Генри-Огастес взял нож и вилку, приставил их к тарелке справа и слева, потом вылил на яичницу добрые полбутылки уксуса и долго сидел молча, не начиная есть.

— Я все силы приложу, чтобы чего-нибудь там добиться,—наконец заговорил он.—И если что у меня выйдет, пришлю вам письмо, оно вам немножко откроет глаза. Вы меня не знаете, у меня дурная репутация, но много грязи, что ко мне пристала, можно смыть.

Он пыхтел, как паровоз, говоря это, точно у него тоже внутри бушевало пламя. Потом начал медленно есть.

— Да, сэр, вы меня не знаете,—продолжал он еще

более резким тоном.— Я никогда не зевал, если только бывала возможность. Я уезжаю навсегда! — И он уставился на меня странным неподвижным взглядом своих безжизненных глаз.

К нам подошел плотник.

— На том конце стола ничего не добьешься! — раздраженно сказал он.

Очкастая распорядительница сразу же напустилась на него:

— Минутку подождать не можете!

Он покорно поплелся на свое место, глядя прямо перед собой, ступая очень осторожно. Снова поднял крик младенец, которого было укачала мать. Вдруг появился паренек, одетый в куртку с галунами, и с важным видом объявил, что подана линейка и пора ехать на пристань.

Кое-кто из эмигрантов вышел из-за стола; их места тут же заняли другие.

— Я с людьми умею ладить,— снова начал Генри-Огастес, медленно жуя бекон и глядя к себе в тарелку.— А детей своих я воспитал так, что для них одного этого достаточно.— Он поднял палец с грязным ногтем.— Меня весь Ноттингдейл уважает как хорошего отца, да! И что бы вам ни рассказывала моя супруга о подбитых глазах и перерезанных глотках... Ладно, из моего письма вы все поймете! — Он покрутил вилкой и поглядел на меня: мол, выговорился, и мне полегчало.— Только покойником они смогут притащить меня обратно, я еду навсегда. Бог даст, на новом месте будет больше жратвы, чем было у меня здесь.— Он ухмыльнулся и, уже повеселев, стал описывать свои похождения, в которых оказывался куда храбрее, чем другие. На другом конце стола плотник и солдат с бешеной скоростью поглощали свой завтрак.

Паренек с галунами снова появился в дверях.

— Кто еще желает ехать на пристань? — пропихивал он.

Мы все четверо вышли на улицу, но в линейке оставалось только три места, и плотнику пришлось простоять всю дорогу, держась за верхнюю перекладину. Какой-то здешний мальчуган-оборвыш бежал за линейкой по снегу босиком. Генри-Огастес ткнул пальцем в его сто-

рону: «Такому не помешало бы иметь пару башмаков!» Он всю дорогу старался грубовато шутить, но не находил ни у кого отклика.

Катер только что отчалил, когда мы подъехали, и нам пришлось долго ждать его на мокрой от талого снега пристани. Светило солнце; баркасы на берегу лежали, словно вписанные в рамку ослепительного снега; над широкой серой рекой по временам кружила чайка, стремительно спускаясь из холодного поднебесья.

Все больше эмигрантов кучками толпилось вокруг нас. Но не заметно было ни оживления, ни спешки, ни волнения, ни печали. Чувствовалось только удивительное, безграничное терпение. Лишь один человек, бородастый ирландец, выражал недовольство и время от времени что-то бурчал скрипучим голосом. Подле нас безмолвно стоял седой мужчина с краснощеким флегматичным на вид мальчиком. Позади них целое семейство окружало молодую мать с грудным ребенком на руках. Рядом, под навесом, сложив на коленях руки в теплых перчатках и хмуро глядя перед собой, сидели две хорошенькие черноглазые девушки в заплатанных черных платьях.

Плотник принялся задавать нам разные загадки.

— Ты, я вижу, духом не падаешь,— заметил с усмешкой солдат.

— Надо же подбодрить компанию! — ответил ему плотник.

Генри-Огастес тоже включился в эту игру, он знал не меньше загадок, чем плотник, только у того они были поинтереснее. Солдат помалкивал, оглядываясь по сторонам; по выражению его лица можно было догадаться, что мысли его далеко. Он отступил несколько в сторонку и лишь изредка вторил нашему смеху.

— А для чего известь кладут между кирпичами? — спрашивал плотник.

— Чтобы их соединять,— отвечал Генри-Огастес.

— Вот и неверно — чтобы их разделять!

На реке вдоль борта парохода закрутился пар: это тендер отчалил в нашу сторону. Толпа эмигрантов сбилась теснее, но, как и прежде, без спешки, без волнения, без печали. Только двое молодых ребят справа от нас затеяли резкий спор между собой.

Седой мужчина рядом с нами сказал сыну:

— Занимай место, Джо!

Теперь загадки-головоломки плотника сыпались, как из рога изобилия, словно это была его лебединая песня перед предстоящим вечным молчанием. Не уступал ему и Генри-Огастес. А солдат все торопливее озирался по сторонам, хотя глаза его казались невидящими. Впрочем, может быть, они видели четверку малышей в приюте, жену, ищущую заработка «на панели», и город Лондон, который он столько раз безуспешно исходил вдоль и поперек в поисках работы, и ярко освещенные прилавки магазинов, и бесконечные ряды домов, двери которых были для него всегда на замке, и парки, где можно было лечь на землю и отдохнуть... И все же сейчас он жадно озирался по сторонам, словно стараясь запомнить то, что скоро скроется от него навсегда. Пошел мелкий колючий снег.

Вдруг Генри-Огастес возвестил насмешливым тоном:

— А вот и он!

Плотник взглянул на меня и улыбнулся, глаза его увлажнились, из них, казалось, смотрела его душа. Солдат нервно стиснул мне руку. Генри-Огастес не спеша оглядел все вокруг своими мертвыми, рыбьими глазами.

— Прощай навсегда, старушка Англия! — сказал он.

Еще минутка, поспешные рукопожатия, и вот уже все занимают очередь на посадку. Плотной вереницей сотни людей проходят без единого звука мимо контролера на сходни. Без спешки, без волнения, без печали, полные непонятной, терпеливой покорности.

Катер дает гудок. Сквозь солнце и снежную пыль еще видны лица уезжающих, сотни лиц, повернутых к берегу. Но ни радости, ни печали, ни прощальных криков и возгласов... И в этой жуткой тишине они уплывают вдаль.

СОВЕРШЕНСТВО

Году в 1889-м жил в Лондоне некто Харрисон, человек добродушный, но упрямый. Однажды утром на вокзале Чаринг Кросс дама, которой он был увлечен, сказала ему:

— Кстати, мистер Харрисон, почему вы не пишете? У вас должно получиться!

Мысль эта запала Харрисону в голову, и за два года он написал одиннадцать рассказов, из которых два считал не очень удачными, но, поскольку ему, естественно, не хотелось их выбрасывать, он приложил их к остальным и отослал издателю. Через некоторое время он получил от издателя письмо; тот сообщал, что за некоторое вознаграждение или комиссионные готов рискнуть и охотно издаст рассказы, если автор возьмет на себя все расходы. Это обрадовало Харрисона, и, желая поскорее увидеть свой «труд» напечатанным, он попросил издателя не откладывать дела в долгий ящик. Тогда издатель прислал ему смету расходов и договор, на что Харрисон ответил чеком. Издатель немедленно отозвался любезным письмом и предложил, чтобы Харрисон для собственной же выгоды добавил известную сумму на рекламу. Харрисон принял это как должное и ответил еще одним чеком — ведь между джентльменами не принято спорить о деньгах.

Через некоторое время книга вышла в свет под названием «Звездный путь». Она была подписана полным именем автора — Катберт Харрисон, и не прошло и двух недель, как он начал получать отзывы. Он читал

их с огромным удовольствием, ибо они были полны неприкрытой лести. Один рецензент спрашивал, не себя ли автор изобразил в «Переодетом Ланселоте». Две либеральные газеты называли его рассказы шедевром; одна сравнивала их с лучшими произведениями Эдгара По и Мопассана; другая величала автора новым Редьярдом Киплингом. Харрисон воодушевился, но, будучи по натуре скромен, только запросил издателя, что он думает о втором издании. Тот прислал смету, упомянув вскользь, что уже продано около четырехсот экземпляров книги. Харрисон заглянул в свою чековую книжку — первое издание составляло тысячу экземпляров. Поэтому он ответил, что подождет. Он ждал полгода, затем написал снова. Издатель сообщил, что продано уже четыреста три экземпляра, но так как мистер Харрисон пока не пользуется известностью, то он не советует переиздавать книгу: в данное время на короткие рассказы нет спроса. Однако рассказы мистера Харрисона приняты публикой так хорошо, что ему следовало бы написать большую повесть. Его книга, без сомнения, имела успех, насколько вообще может иметь успех книга рассказов... Издатель прислал Харрисону чек на небольшую сумму и целую кучу рецензий, которые тот уже читал.

Харрисон решил обойтись без второго издания и удовольствоваться своим *succès d'estime*¹. Все его родственники были в восторге, и он почти сразу же принялся за повесть. Однако среди друзей Харрисона был один гениальный человек, и этот гений прислал ему следующее письмо:

«Я не представлял себе, что вы можете так писать. Разумеется, дорогой мой, рассказы ваши сыроваты; да, в этом не приходится сомневаться, они еще сыроваты. Но у вас много времени впереди. Вы молоды, и я вижу — у вас есть способности. Приезжайте, потолкуем о ваших планах».

Получив это приглашение, Харрисон не стал долго раздумывать и поехал. Сидя с ним в летний день за графином красного вина, гениальный человек объяснил, почему его рассказы «сыроваты».

¹ Умеренный успех, успех у немногих (франц.).

— Они дают ощущение внешнего драматизма,— сказал он,— но драматизма подлинного, психологического в них нет.

Харрисон показал ему рецензии. На другой день он с чувством некоторой обиды покинул гениального человека. Однако через несколько недель обида рассеялась, и слова гениального человека начали приносить плоды. На исходе второго месяца Харрисон написал ему:

«Вы совершенно правы, рассказы сыроваты. Но теперь, по-моему, я на верном пути».

Прошел еще год, и, раза два показав рукопись гениальному человеку, Харрисон закончил вторую книгу под названием «Джон Эндекотт». К этому времени он перестал уже говорить о своих «трудах» и стал называть их «писаниной».

Он послал повесть издателю с просьбой напечатать ее и выплатить ему гонорар. Ответ последовал несколько позднее, чем обычно. Издатель писал, что, по его мнению (мнению профана), «Джон Эндекотт» не вполне оправдал большие ожидания, вызванные первой, столь много обещавшей книгой мистера Харрисона; и, чтобы показать свое полное беспристрастие, он вложил в письмо выдержку из «отзыва рецензента», где утверждалось, что мистер Харрисон «сел между двух стульев и не послужит своей книгой ни искусству, ни английскому читателю». А потому он, издатель, скрепя сердце пришел к выводу, что при существующих неблагоприятных условиях сбыта он мог бы пойти на риск лишь в том случае, если бы мистер Харрисон обязался возместить все расходы.

Харрисон рассердился и ответил, что не может взять на себя такое обязательство. Издатель вернул рукопись и написал, что, по его мнению (мнению профана), мистер Харрисон пошел по ложному пути, о чем он, издатель, весьма сожалеет, ибо он очень высоко ценил те приятные отношения, которые с самого начала сложились между ними.

Харрисон послал книгу издателю помоложе, и тот принял ее с условием, что выплатит авторский гонорар после продажи книги. Книга вышла.

Недели три спустя Харрисон начал получать рецензии. Они были разноречивы. В одной его упрекали за

то, что сюжет примитивен, в другой, по счастью пришедшей с той же почтой,— за то, что сюжет излишне замысловат. И во всех отзывах сквозило сожаление, что автор «Звездного пути» не оправдал надежд, которые пробудил своей первой книгой,— ведь тогда казалось, что он поистине будет радовать читателей. Этот натиск поверг бы Харрисона в уныние, не получи он письма от гениального человека, которое гласило:

«Дорогой мой, вы себе не представляете, как я рад. Теперь больше, чем когда-либо, я убежден, что в Вас есть искра божия».

Харрисон тут же сел за третью книгу.

Из-за злополучного условия, что авторский гонорар выплачивается не сразу, Харрисон за вторую книгу ничего не получил. Издатель продал триста экземпляров. За то время, пока Харрисон писал третью книгу (полтора года), гениальный человек познакомил его с неким критиком, сказав при этом:

— Можете положиться на его мнение, у него глаз безошибочно верный.

А критику он сказал так:

— Поверьте мне; у этого малого есть способности.

Критику понравился Харрисон, который, как уже говорилось, отличался общительным и добродушным нравом.

Закончив третью книгу, Харрисон назвал ее «Лето» и посвятил гениальному человеку.

«Дорогой мой,— ответил ему гениальный человек, когда получил экземпляр рукописи,— книга хороша! К этому нечего прибавить — она по-настоящему хороша! Я читал ее с неопишуемым наслаждением».

В тот же день Харрисон получил письмо и от критика. Он писал: «Да, это, несомненно, шаг вперед. Еще не шедевр, но, тем не менее, большой шаг вперед!»

Харрисон воодушевился еще больше. Тот же издатель выпустил его книгу и продал целых две сотни экземпляров; однако в письме к Харрисону он довольно уныло сообщал, что спрос на книгу, кажется, «почти иссяк». Сравнения не всегда приятны, поэтому Харрисон старался не вспоминать, как раскупали его «Звездный путь», которым он доказал, что способен «угодить читателям». Он уже всерьез начал подумывать о том, что-

бы отказаться от всяких других доходов и зажить подлинно литературной жизнью. Рецензий на сей раз было немного, и он приступил к четвертой книге.

Два года потратил он на этот труд и, дав ему название «Заблудший», посвятил критику. Один экземпляр книги он послал в подарок гениальному человеку, и тот не замедлил ответить:

«Дорогой мой, это поразительно, просто поразительно, какие Вы делаете успехи! Никому бы и в голову не пришло, что Вы — тот самый человек, который написал «Звездный путь»; и все же я горжусь тем, что даже по первой Вашей книге угадал в Вас талант. Хотел бы я сам так писать! «Заблудший» изумительно хорош!»

Гениальный человек написал все это совершенно искренне после того, как прочел первые шесть глав книги. Надо вам сказать, что он так и не дочитал ее до конца, ощутив страшную усталость, словно сочинение Харрисона отняло у него все силы,— и, однако, он всегда повторял, что книга эта «изумительно хороша», будто и впрямь одолел ее до последней страницы.

Другой экземпляр Харрисон послал критику, и тот откликнулся очень теплым письмом, в котором уверял, что наконец-то он, Харрисон, «достиг вершины».

«Это шедевр,— писал он.— Вряд ли Вам удастся создать что-либо лучшее... Горячо поздравляю».

Не теряя времени, Харрисон взялся за пятую книгу.

Он трудился над этим новым произведением больше трех лет и назвал его «Паломничество». Добиться издания книги было нелегко. Через два дня после того, как она вышла в свет, критик написал Харрисону:

«Не могу выразить, как высоко я ценю Вашу новую книгу. Мне кажется, она сильнее, чем «Заблудший», да и оригинальнее. Пожалуй, она слишком... Я еще не дочитал ее, но решил написать Вам, не откладывая».

По правде говоря, критик книгу так и не дочитал. Он не мог.... Она была слишком... Жене своей он, однако, сказал, что это «изумительная вещь», и ее заставил прочитать книгу.

Гениальный человек между тем прислал телеграмму: «Собираюсь писать Вам о Вашей книге. Безусловно,

напишу, но сейчас у меня «прострел», и он не дает мне взять в руки перо».

Харрисон так и не получил обещанного письма, но критику гениальный человек написал: «Вы в состоянии читать эту книгу? Я нет. Автор уж слишком намудрил».

Харрисон ликовал. Его новому издателю было не до ликования. Он писал, что книгу никто не покупает и мистеру Харрисону следует подумать о том, что он делает, иначе он утомит своих читателей. К письму прилагалась единственная рецензия, в которой среди других замечаний было и такое: «Может быть, эта книга и высокохудожественна. Но не чересчур ли? Нам она показалась скучной».

Харрисон уехал за границу и начал писать шестую книгу. Он назвал ее «Совершенство» и трудился над ней, живя в полном одиночестве, словно отшельник; впервые работа давала ему такое удовлетворение. Он писал, как говорится, кровью сердца, с каким-то почти мучительным наслаждением. И часто улыбался про себя, вспоминая, как первой своей книгой «порадовал читателей» и как о его четвертой книге критик сказал: «Это шедевр. Вряд ли Вам удастся создать что-либо лучшее». Как далеко он шагнул! О! Эта книга действительно совершенство, о каком можно только мечтать.

Спустя некоторое время Харрисон вернулся в Англию и снял домик в Хэмпстеде. Здесь он закончил свою книгу. На другой день он взял рукопись и, отыскав на вершине холма уединенное местечко, лег на траву, готовясь спокойно все перечитать. Он прочел три главы, отложил рукопись и сел, подпирая голову руками.

«Да,— подумал он,— наконец-то я достиг совершенства. Книга хороша, изумительно хороша!»

Два часа просидел он так. Что и говорить, читателей своих он утомит! Книга слишком хороша — он и сам не в силах ее дочитать!

Вернувшись домой, он спрятал рукопись в ящик письменного стола. Больше он не написал в своей жизни ни строчки.

ВЫБОР

Несколько лет тому назад на углу одной из улиц в Челси, выходящей на набережную, стоял старичок, чей заработок целиком зависел от того, сколько грязи тащат на ногах прохожие. Он усердно орудовал метлой, а в свободную минуту садился на опрокинутый вверх дном деревянный ящик и беседовал с большим своим другом, ирландским терьером из соседнего дома. Родом старичок был из Корнуолла, а по профессии водопроводчик. Румяный, седенький и бородатый, с маленькими, весело поблескивающими серыми глазками, слегка водянистыми, он всегда был бодр и держался независимо. А между тем это был страдалец, которого одолевали многочисленные недуги. И подагра-то у него была, и бок болел, а уж ноги — просто барометры какие-то, так они были чувствительны к погоде. Обо всех этих несчастьях он, бывало, беседовал с нами, вовсе не жалуясь, будто и не о нем шла речь, перечисляя свои болезни, только, так сказать, чтобы доставить удовольствие собеседникам. Он был, как видно, один-одинешенек на свете, и нечего ему было ждать от жизни, даже пенсии; да и вспомнить, наверное, тоже особенно нечего — разве что как умирали родные да приходило в упадок водопроводное дело. Сам он тоже из года в год все больше приходил в упадок вместе со своим ремеслом. Долгая болезнь заставила его уступить место тем, кто помоложе, но серьезные перемены наступили гораздо раньше, и он их переживал очень тяжело. В прежние

времена водопроводное ремесло было делом надежным, спокойным: «Живешь сам по себе и знаешь, что к чему». Но потом «приходилось делать все, как велят подрядчики, а уж они, конечно, ни с чем не станут считаться. Раз не можешь угнаться за молодыми — значит, проваливай, вот и весь разговор». Вот почему после своей долгой болезни и смерти жены (эти беды случились одна за другой и унесли последние его сбережения) он твердо решил купить себе метлу и сменить профессию. Правда, подметать мостовую на перекрестке — не то занятие, какое он выбрал бы, если бы мог выбирать. Но все же это лучше, чем инвалидный дом. Здесь ты по крайней мере сам себе хозяин. Погода в те дни стояла не слишком-то подходящая для человека, который по роду своей профессии постоянно находится во власти всех стихий, кроме, пожалуй, огня; и недуги нашего старичка соответственно не дремали. Однако постоянные его болезни обладали одним удивительным свойством: ему всегда было «лучше», чем несколько дней назад. Мы порой невольно думали, что, если человеку непрерывно становится все лучше и лучше, — значит, он в конце концов должен стать идеалом здоровья, и грустно было видеть, как вопреки всем его уверениям старик, наоборот, потихоньку слабеет, как все хуже гнутся у него суставы и медленно, но верно растут на пальцах и запястьях узлы, которые он с такой гордостью показывал нам.

Он был твердо убежден, что лучше в воду, чем в инвалидный дом. Как тут было сказать ему, что недалек тот час, когда нельзя уже будет проводить целые дни под открытым небом. Он и сам, видно, долго размышлял и философствовал на эту тему, припоминая все, что знал по слухам.

«Дом» — не место для уважающего себя человека», — не раз говорил он. Таково было его твердое мнение, и уважающим себя людям никак нельзя было уговаривать его поступить вопреки своим взглядам. А между тем, когда мы проходили мимо него, все чаще думалось, что еще немного, и ему придется искать приют в той самой стихии, которая так нещадно обрушивалась на него с небес день за днем.

Трудно с уверенностью сказать, обсуждался ли во-

прос «река или «дом» с ирландским терьером, его постоянным собеседником. Но, во всяком случае, их, по-видимому, сближали одни и те же мысли о надвигающейся старости, холодах и непогоде. Наш старик сам говорил, что у бедняги терьера выпадают зубы, а спина деревенеет — особенно в сырую погоду. Да, жаль, конечно, но, видно, пес и вправду стареет! А пес мог терпеливо сидеть целый час и глядеть своему другу в лицо, стараясь, быть может, понять по его выражению, как должна поступить собака, когда какая-то злая сила давит и душит так, что выносить больше невозможно. Откуда ему было знать, что сердобольные люди позаботятся о том, чтобы он не страдал сверх меры. На его поднятой вверх сидящей морде со слезящимися глазами никогда не было и тени сомнения, она выражала полную уверенность в том, что какое бы решение его друг ни принял по этому важному вопросу — «река или «дом», — оно, безусловно, будет правильным и во всех отношениях подходящим и для собак и для людей.

Однажды летом — а оно выдалось в тот год особенно дождливое — наш старый приятель в порыве откровенности поведал нам свое заветное желание: еще хоть раз побывать на Корнуолле, в своем родном Фови, где он не был вот уже пятьдесят лет. Так или иначе, но только деньги на это нашлись, и он, взяв двухнедельный отпуск, отправился туристским поездом в родные места. Накануне отъезда видели, как он долго беседовал с собакой и кормил ее из бумажного пакета тминным печеньем. А потом от него пришло письмо, написанное каким-то невероятным почерком и начинавшееся словами: «Почтенный сэр и леди». Письмо целиком состояло из восторженных, почти страстных описаний лодочных гонок, некоего «Джо Пезерика», который вспомнил его, «отменной погоды» и других источников его удивительного счастья. Подписано оно было: «Покорный слуга». А на пятнадцатый день после отъезда он уж снова сидел под проливным дождем на опрокинутом ящике, говоря, что чувствует себя «другим человеком, лет на десять моложе и готов теперь выходить в любую погоду». Кроме того, он был уверен — и разубедить его было невозможно, — что мы ниспосланы в этот мир самым господом богом, по его личной просьбе.

Но прошло всего четыре дня, и даже солнце в виде особого исключения появилось на небе, а наш старичок, когда мы с ним поздоровались, так долго не отвечал, что мы испугались, уж не хватил ли его какой-нибудь удар.

Лицо его, казалось, окаменело, румянец исчез, глаза совсем ввалились.

После настойчивых расспросов выяснилось, что он-то себя чувствует гораздо лучше, но вот песик умер. Оказывается, собаку прикончили, когда наш друг был в отъезде, и теперь он боится, что будет скучать без «верного старого друга».

— Он очень меня любил,— говорил он.— Всегда, бывало, приходит за куском хлеба или сухариком. И потом, с ним не соскучишься — никогда не встречал такой разумной твари.— Старик, оказывается, думал, что после его отъезда пес затосковал и это ускорило его конец: хозяева решили, что он совсем одряхлел, а ведь дело было совсем не в этом.

Смерть пса и сырая холодная осень тяжело сказались на здоровье нашего приятеля, но лишь в середине ноября мы заметили, что его нет на месте. А так как он не появился и на другой день, мы стали наводить справки, где он живет. Жил он в бедном квартале, но домик был чистый и опрятный, да и хозяйка показалась нам женщиной доброй, хотя и простой. Она сказала, что наш старый друг лежит «с плевритом, ревматизмом и подагрой», что по-настоящему ему бы сейчас самое место в больнице, но ей не хочется гнать его из дому, хотя кто ей будет платить за квартиру, неизвестно, а уж о еде и говорить не приходится — не может же она допустить, чтобы человек умер с голоду, если он лежит пластом, охает от боли и некому помочь ему, а так он у себя наверху, дверь открыта и если ему что понадобится, всегда можно кликнуть ее. И потом очень уж он независимый старичок, жаль его, а не то стала б она еще думать — выставила бы, да и дело с концом, потому что где ж ему и место, как не там? Родных у него ни души, некому и глаза будет ему закрыть, а дело-то ведь к тому идет. А может выйти и по-другому: вот завтра же возьмет он, встанет на ноги и пойдет работать — такой упрямый, просто беда.

Предоставив ей заниматься делами, от которых мы ее оторвали, мы поднялись наверх.

Дверь дальней комнатки наверху, как мы и ожидали после беседы с хозяйкой, была приоткрыта, и из-за нее слышался голос нашего старого друга:

— Господи боже, ты, отнявший у меня собаку и пославший мне этот самый ревматизм,— помоги мне, укрепи мой дух и даруй мне смирение. Я человек старый, боже, и не мне идти туда. Поэтому, господи, дай мне сохранить твердость, и я буду благодарить тебя в молитвах, ибо больше я ничего теперь и не могу, господи. Я всегда был добрым человеком, боже, зла, кажется, никому не делал. Это меня только и поддерживало. Так ты уж, боже милостивый, не забудь, вспомни меня теперь, когда я захворал и лежу здесь целыми днями, а квартирная плата все идет и идет. Во веки веков, господи. Аминь.

Мы вошли не сразу: нам не хотелось, чтобы он знал, что мы слышали эту молитву. Он лежал на маленькой шаткой кровати, а рядом на ветхом жестяном сундучке стоял пузырек с лекарством и стакан. Огня в камине не было.

Ему, как он сказал, стало гораздо лучше, средство, которое прописал доктор, хорошо помогает.

Мы сделали все возможное, чтобы ему действительно стало лучше, и не прошло и трех недель, как он уж снова сидел на своем углу.

Весной мы уехали за границу и пробыли там несколько месяцев. Когда мы наконец вернулись, его на месте не было, и мы узнали от полицейского, что вот уже несколько недель, как он не появляется. Мы вторично предприняли паломничество к нему домой. Оказалось, что дом перешел в другие руки. Новая хозяйка, тонкая, озабоченная молодая женщина, говорила тонким и озабоченным голосом. Да, старик тяжело заболел — кажется, двустороннее воспаление легких и что-то с сердцем. Во всяком случае, она не могла взять на себя такую ответственность и обузу, да к тому же он и за квартиру не платил. Она позвала врача, и его увезли. Да, он малость расстроился: будь его воля, он бы ни за что не поехал, но ей ведь тоже нужно чем-то жить. Вещички его она заперла, уж это будьте покойны; он ей еще кое-что задол-

жал за квартиру. Если хотите знать, ему оттуда уже не выйти. Конечно, жаль беднягу. От него и беспокойства-то никакого не было, покуда он не заболел.

Узнав все это, мы с тяжелым сердцем отправились в тот самый «дом», о котором он так часто говорил, что ноги его там не будет. Справившись, в которой он палате, мы поднялись по безукоризненно чистой лестнице. На пятой койке лежал наш старый друг и, казалось, спал. Однако, присмотревшись, мы заметили, что его впалые губы, почти скрытые под белоснежными усами и бородой, непрерывно шевелятся.

— Он не спит,— сказала сиделка.— Вот так и лежит все время. Беспокоится.

Услышав свое имя, он открыл глаза — они стали совсем маленькими, поблекли, еще больше слезились, но все-таки в них и теперь теплилась искорка. Он поднял их на нас с совершенно особенным выражением, которое говорило: «Эх вы, воспользовались моей бедой, чтобы увидеть меня в этом месте!» Мы едва могли вынести этот взгляд и поспешили спросить, как он себя чувствует. Он попробовал приподняться и охрипшим голосом сказал, что ему гораздо лучше. Мы взмолились, чтобы он не вставал, и стали ему объяснять, что нас не было в Англии, и все такое. Казалось, он просто не слушает. Потом вдруг он сказал: «Вот попал все-таки сюда. Но я здесь не останусь. Выйду денька через два». Мы постарались уверить его, что так и будет, но он смотрел на нас такими глазами, что наша способность утешать куда-то улетучилась, и нам совестно было взглянуть на него. Он поманил нас к себе.

— Если б меня слушались ноги,— прошептал он,— я никогда бы им не дался. Давно утопился бы. Но я и не думаю здесь оставаться — я уйду домой.

Сиделка сказала, однако, что об этом не может быть и речи, он все еще серьезно болен.

Четыре дня спустя мы опять пошли его проведать. Но его там уже не было. Он и в самом деле ушел. Его похоронили в то же утро.

ЯПОНСКАЯ АЙВА

Когда мистер Нилсон, джентльмен, хорошо известный в Сити, распахнул окно своей ванной в Кемпден Хилле, он ощутил какое-то сладкое волнение, комком подступившее к горлу, и странную пустоту под пятым ребром. Стоя у окна, он заметил, что небольшое деревце в парке Сквер-Гарден уже в цвету и что термометр показывает шестьдесят градусов. «Чудесное утро,— подумал он,— наконец-то весна!»

Продолжая размышлять о ценах на картины Тинторетто, он взял ручное зеркало в оправе слоновой кости и стал внимательно рассматривать свое лицо. Лицо это с упругими розовыми щеками, аккуратно подстриженными темными усами и ясными серыми глазами говорило о завидном здоровье. Надев черный сюртук, он сошел вниз.

В столовой на буфете лежала утренняя газета. Не успел мистер Нилсон взять ее, как его опять охватило то же странное чувство. Несколько обеспокоенный, он вышел через стеклянную дверь и спустился по винтовой лестнице на улицу. Часы с кукушкой пробили восемь.

«До завтрака еще полчаса,— подумал он,— пройду по парку».

В парке было безлюдно, и он, держа газету за спиной, неторопливо шагал по круговой дорожке. Сделав по ней два рейса, он убедился, что на свежем воздухе странное ощущение не только не исчезло, но, наоборот, усилилось. Он вспомнил совет доктора, лечившего жену, и сделал несколько глубоких вдохов, но и это ничуть

не помогло. Он ощущал легкое покалывание в сердце, и что-то сладостно бродило в крови, как после выпивки. Мысленно перебирая блюда, поданные накануне вечером, он не мог припомнить ничего необычного и подумал, что, возможно, на него так действует запах какого-нибудь растения. Но от залитых солнцем цветущих кустов до него доносился только нежный, сладковатый аромат лимона, скорее приятный, нежели раздражающий. Он уже собрался продолжать прогулку, но в эту минуту где-то поблизости запел черный дрозд. Посмотрев вверх, мистер Нилсон заметил его среди листвы небольшого дерева, ярдах в пяти от дорожки. Пристально и с удивлением вглядывался мистер Нилсон в деревце, то самое, которое он увидел из окна. Оно было покрыто ярко-зелеными листьями и белыми с розовым цветами, а на листве и на цветах ослепительно сияли солнечные блики. Мистер Нилсон улыбнулся: деревце было такое живое и прелестное.

Забыв о прогулке, он стоял и улыбался...

«Какое утро! — думал он. — И в парке я один.. Только я один догадался выйти и...» Но не успел он это подумать, как увидел около себя человека, который так же стоял, держа руки за спиной, и с улыбкой смотрел на деревце. Застигнутый врасплох, мистер Нилсон перестал улыбаться и искоса взглянул на незнакомца. Это был его сосед, мистер Тандрам, хорошо известный в Сити. Он жил здесь уже пять лет. Мистер Нилсон сразу понял неловкость своего положения: оба они были женаты и до сих пор не имели случая оказаться вдвоем и заговорить друг с другом. Сомневаясь в правильности своего поведения, мистер Нилсон все же пробормотал: «Прекрасное утро!» Мистер Тандрам ответил: «О да, чудесное для этого времени года!» Уловив некоторое волнение в голосе соседа, мистер Нилсон отважился взглянуть на него прямо. Мистер Тандрам был примерно одного роста с мистером Нилсоном. У него были такие же упругие розовые щеки, аккуратно подстриженные темные усы и круглые ясные серые глаза. На нем также был черный сюртук. Мистер Нилсон заметил, что, любясь деревцем, сосед держал за спиной утреннюю газету. И, чувствуя необходимость объяснить свое поведение, он спросил отрывисто:

— Э... Вы не скажете, что это за дерево?

Мистер Тандрам отозвался:

— Я как раз хотел спросить об этом у вас.

Он подошел к дереву. Мистер Нилсон тоже.

— На нем, должно быть, указано,— сказал мистер Нилсон.

Мистер Тандрам первый увидел табличку, близко от того места, где прежде сидел черный дрозд, и прочел вслух:

— Японская айва.

— А! — сказал мистер Нилсон.— Я так и думал. Рано же она зацветает!

— Да, очень рано,— согласился мистер Тандрам и добавил: — В воздухе сегодня словно носится что-то.

Мистер Нилсон кивнул.

— Это пел черный дрозд,— сказал он.

— Да,— подтвердил мистер Тандрам,— я предпочитаю их простым. В их пении звучности больше.

И он посмотрел на мистера Нилсона уже почти дружелюбно.

— Совершенно верно,— пробормотал мистер Нилсон.— Эти экзотические деревья не приносят плодов, но цветы их прелестны! — И он снова взглянул на дерево, думая: «А сосед-то, кажется, славный малый, он мне нравится».

Мистер Тандрам тоже смотрел на цветущую айву. А деревце, как будто обрадованное их вниманием, трепетало, и цветы его пылали. Где-то вдали опять запел черный дрозд. Мистер Нилсон опустил глаза. Ему внезапно пришло в голову, что мистер Тандрам имеет несколько глупый вид; и, словно увидев в нем самого себя, он сказал:

— Ну, мне пора домой. Всего хорошего!

По лицу мистера Тандрама пробежала тень, как будто он тоже заметил вдруг что-то в мистере Нилсоне.

— До свидания,— ответил он, и они разошлись, держа газеты за спиной.

Мистер Нилсон медленно пошел к дому, стараясь отстать от соседа. Он видел, как мистер Тандрам, подойдя к своему дому, поднялся по железной винтовой лестнице. Мистер Нилсон стал подниматься по своей. На верхней ступеньке он остановился.

Косые лучи весеннего солнца, пронизывая цветущие ветви, словно превращали японскую айву в живое существо. Черный дрозд возвратился на старое место и теперь изливал душу в песне.

Мистер Нилсон вздохнул; он снова ощутил странное волнение, сжимавшее ему горло.

Какой-то звук — не то кашель, не то вздох—привлек его внимание. Там, за стеклянной дверью, стоял мистер Тандрам и тоже смотрел в сторону парка, на цветущую айву.

Безотчетно чем-то расстроенный, мистер Нилсон быстро вошел в комнату и раскрыл утреннюю газету.

ЕЩЕ РАЗ

Она проснулась оттого, что малыш толкал ее в грудь; спеленав его потуже, она легла на спину и установилась в закопченный потолок. В окошко, завешенное до половины рваной ситцевой занавеской, проникал слабый мартовский рассвет. Жалкая каморка окном во двор ничем не отличалась от других подобных каморок на этой улице, простившихся с надеждой, и в ней не было ничего мало-мальски ценного, ничего радующего глаз, если не считать нескольких букетиков фиалок — остатков товара в круглой плетеной корзинке.

Согретый теплом материнского тела, ребенок снова заснул, уткнув в ее шею головку, покрытую мягким пушком; над детской головкой застывшее лицо матери напоминало лицо сфинкса.

Два дня назад ее оставил муж, сказав, что больше к ней не вернется. Но это не испугало ее: житейская мудрость человека, с малых лет познавшего лишения, давно подсказала ей, что ее ждет в будущем — с ним или без него. Они оба торговали цветами, но она зарабатывала больше, чем муж: случалось, какой-нибудь важный господин, тронутый видом молодой цветочницы, ее красивым усталым лицом и девичьей фигурой, согнувшейся под тяжестью ребенка, расщедрится и даст ей лишнюю монетку. А муженек — он брал у нее больше, чем давал на расходы, и уже два раза бросал ее, — впрочем, скоро возвращался. Сразило же ее неожиданное открытие. Вчера вечером, когда она, смертельно усталая, плелась

домой, он проехал мимо нее в автобусе, и она видела, что он обнимает за талию какую-то женщину. Она почувствовала жар в груди, с корзинкой и с ребенком на руках пустилась бежать за ним, но автобус, конечно, перегнал ее и скрылся. Дома она долго сидела у огня, а перед глазами у нее был он и эта женщина с ним рядом. Когда уголь прогорел, она легла в постель, но заснуть не могла — глаза были открыты, слух напряжен, тело дрожало от холода. Так вот к кому он уходил! И разве можно терпеть это дольше? Так размышляла она трезво, не давая воли отчаянию, все с тем же застывшим, как у сфинкса, выражением лица.

В комнате стало светло. Поднявшись с постели, она подошла к треснувшему зеркальцу и долго смотрелась в него. Если прежде она и считала себя хорошенькой, то, живя с мужем и нередко терпя от него обиды, всегда плохо одетая, всегда испытывая нужду, она уже успела позабыть об этом. А та женщина, которую он держал за талию в автобусе, была здоровая, румяная, в шляпе с перьями. И, глядя в зеркало, молодая цветочница лихо-радочно искала в себе чего-нибудь такого, что могло бы конкурировать с румяными щеками и пышными перьями той. Зеркало отражало бледное печальное лицо да большие глаза — и только. Не найдя ничего утешительного в этом созерцании, она отошла, затопила камин и села кормить ребенка. И, только протянув босые ноги к огню и ощущая сосущий ротик у груди, она впервые после того, как увидела мужа в автобусе, почувствовала, что отогрелась. Безотчетно ища в мыслях чего-нибудь, что может заглушить ревность, она вспомнила один случай и немножко повеселела. Вчера вечером какой-то хорошо одетый господин купил у нее перед калиткой своего дома букетик фиалок и заплатил полкроны. Почему он улыбался и дал ей столько денег?

Ребенок жадно сосет, ей уже совсем тепло, и приятное возбуждение нарастает. Если бы этот господин не нашел ее хорошенькой, он бы так на нее не глядел и не стал бы ей улыбаться!.. Но тут ребенок оторвался от груди, и ее возбуждение прошло. Она завернула маленького в шаль и положила обратно на кровать, потом согрела воду и принялась мыться — усердно, как никогда. Только бы выглядеть лучше, чем та с перьями на

шляпе! Той не улыбнулся бы никакой джентльмен, хотя она нарядно одета и ее платье не в ломбарде!

И недалекую девочку, оцепеневшую от грустных мыслей, терзаемую ревностью, вдруг охватывает страстное желание нарядиться. Но весь ее гардероб перед нею на двух гвоздях — потрепанная юбка, рваный вязаный жакет и черная соломенная шляпа. Накинув единственную нижнюю юбку, она подходит к стене и, глядя на это жалкое имущество, начинает смутно ощущать иронию судьбы. Три недели назад она заложила свой воскресный костюм за четыре шиллинга шесть пенсов: надо было купить мужу товар — его цветы испортил дождь. Лишилась лучшего наряда, чтобы помочь ему сбежать к другой! Из тайника, где спрятаны ее сокровища, она вытаскивает пачку ломбардных квитанций и, найдя нужную, зажимает ее в зубах. Из разбитой чашки, прикрытой тряпочкой, извлекает вчерашние полкроны и еще пять пенсов — все свое богатство. А домохозяину за эту неделю не плачено! Она оглядывает комнату — даже одеяла и те заложены. Осталась только шаль. Шаль толстая, обязательно дадут за нее восемнадцать пенсов. Но за костюм надо уплатить проценты — три пенса, и тогда для выкупа не хватит еще четырех. Цветы? Она подходит к корзине, поднимает грязную мешковину... Букетики завяли. Вчера, когда пришла злая и расстроенная, она забыла смочить тряпку. Она сидит на кровати неподвижно минут пятнадцать, больше чем всегда похожая на сфинкса своим худощавым лицом цвета слоновой кости с черными глазами, сдвинутыми прямыми бровями и плотно сжатым алым ртом. Вдруг она вскакивает, стаскивает с себя нижнюю юбку и принимается ее разглядывать. Дырок нет! Она заворачивает ее в шаль, надевает жакет и юбку, прикалывает к темным волосам шляпку и, схватив ломбардную квитанцию и деньги, сходит по грязной лестнице вниз, на улицу.

Она бежит в лавчонку, в которой сейчас сосредоточен для нее весь мир. Там еще пусто — только что открыли, — и она терпеливо ждет среди множества вещей — каждая из них попала сюда вместе с куском чьей-то души. Наконец через стеклянную дверь в глубине лавки ее замечает хозяин, плечистый брюнет. С одного

взгляда, таящего в себе вежливую непреклонность, он узнает ее шаль.

— Была уже у меня, помню. Восемнадцать пенсов, верно? — Он разворачивает шаль, достает юбку и придирчиво ее осматривает: слишком проста, материя грубая, никакой отделки, хорошо еще, что новая. — Шесть пенсов, — изрекает он, — минус полпенса за стирку. — Но тут, видимо, что-то шевельнулось у него в душе, и он добавляет: — Ладно уж, за стирку не вычту!

Она молча протягивает маленькую шершавую руку, в которой зажаты деньги и квитанция. Проверив все, он говорит:

— Так. Стало быть, теперь с меня два пенса.

Получив два пенса и свой костюм, она уходит. Дома она надевает его поверх юбки и вязаного жакета — так теплее и та женщина вон какая полная! Несколько минут она приглаживает волосы и трет застывшее от холода лицо, потом относит ребенка к соседке на первый этаж и отправляется на ту улицу, где ходит автобус. Она сгорает от желания встретить эту женщину, отомстить ей, отомстить обоим. Все утро она ходит взад и вперед по тротуару. Изредка подойдет какой-нибудь молодой парень, сделает попытку заговорить, но тут же отказывается от своего намерения, испугавшись выражения ее лица. За два пенса она покупает себе булку с колбасой, потом идет кормить ребенка, а покормив, возвращается на улицу. Время близится к вечеру, но она все ходит и ходит взад и вперед, подчиняясь властному желанию. Порой улыбнется какому-нибудь мужчине — почему, трудно объяснить. Улыбка была невеселая, и никто на нее не отвечал, но она испытывала непонятное злорадство, словно это была своего рода месть мужу. Сильный ветер гнал облака по голубому небу, в садах трепетали ветки с набухшими почками и немногие сохранившиеся крокусы. Кое-где в скверах ворковали голуби, все люди куда-то спешили, все казались счастливыми. Но для этой молодой женщины, весь день слонявшейся по улице, где ходил автобус, весна напрасно расточала свои чары.

В пять часов это неосознанное желание отомстить заставило ее пойти на другую улицу, к тому дому, куда

вошел вчера господин, давший ей полкроны. Она долго не решалась позвонить, но когда ей открыли, довольно уверенным тоном потребовала, чтобы ее провели к хозяину. Голос у нее был сиплый: торгуя на улице, она вечно простуживала горло. Пока горничная ходила докладывать о ней, она ждала в передней. Там висело зеркало, но она даже мельком не заглянула в него, а стояла неподвижно, глядя себе под ноги.

Наконец ее позвали в гостиную. В такой необыкновенной комнате, теплой, светлой, она в жизни еще не была. Она испытывала такое чувство, словно ей подали тарелку мягкого, жирного, румяного рождественского пудинга. Стены и деревянные панели здесь были белые, портьеры из коричневого бархата, и все картины в золотых рамах.

Она вошла, улыбаясь так, как улыбалась мужчинам на улице. Но улыбка сразу исчезла. На диване сидела дама в белом платье. Повернуться и убежать? Они наверняка заметили, что она без нижней юбки! Хозяин предложил ей стул, и она села. Они стали задавать ей вопросы, и она рассказала им, что у нее погиб весь запас цветов, что она задолжала домовладельцу за неделю, что ее с ребенком бросил муж. Но, рассказывая это, она все время сознавала, что шла сюда говорить о другом. А они чего-то не понимали и переспрашивали по нескольку раз. И вдруг она выпалила, что муж ушел к другой женщине. Дама тихонько заохала, как бы выражая этим понимание и сочувствие. А она принялась рассказывать, как увидела его с этой женщиной в автобусе. «Какие у этой дамы красивые маленькие ушки!» — некстати мелькнуло у нее в голове. «Не знаю, чем можно вам помочь, — сказал джентльмен. — Вы решили разойтись с ним, да?» И она поспешно откликнулась: «Ну, конечно, я не могу с ним теперь жить!» «Конечно, конечно, нет!» — прошептала дама. А ее муж спросил, что же она все-таки намерена делать. Она уставилась глазами в пол и молчала. Уж не подумали ли они, что она пришла просить у них денег? И в самом деле хозяин вынул из кошелька золотой соверен и сказал: «Это вам, я думаю, пригодится!» Она сделала неловкий поклон и, взяв монету, крепко зажала ее в кулаке. Наверно, они

хотят, чтобы она ушла. Что ж! Она встала и направилась к выходу. Хозяин пошел проводить ее и, открывая дверь на улицу, улыбнулся. Но она не улыбнулась ему в ответ: она поняла, что вчера это была просто жалость с его стороны. И ей стало обидно, что и тут месть мужу не удалась.

Она вернулась домой, даже не разменяв золотой. Изнемогая от усталости, накормила ребенка. Потом затопила камин и села к огню. Был седьмой час, и уже довольно темно. В прошлый раз и в позапрошлый он вернулся на третий день и в это же время. Ах, если бы он пришел сейчас!

Зябко ежась, она придвинулась к огню. За окном уже совсем стемнело. Она взглянула на ребенка: он спал, прижав кулачки к щекам. Она подсыпала угля в камин и снова отправилась на добровольную вахту, туда, где ходил автобус.

Двое-трое мужчин пытались заговорить с ней; она даже не удостоила их улыбкой, и они ретировались. Вечер был очень ясный, очень холодный, но она не чувствовала холода. Взгляд ее был прикован к большим машинам, которые, казалось, излучали тепло. Завидев издали приближающийся автобус, она начала искать глазами среди пассажиров ту женщину. И после того как автобус с грохотом проносился мимо, долго еще глядела ему вслед из-под полей своей черной шляпы. Но та, которую она искала, так и не появилась. Грохот колес сменялся внезапной тишиной, свет фонарей — тревожным мраком, и так же тревожно и черно было у нее на душе. И вдруг она вспомнила о ребенке и побежала домой. Он спал, в камине все еще горел огонь. Не раздеваясь, она без сил повалилась на кровать. Похожая и днем на маленького сфинкса, она еще больше напоминала его ночью, погруженная в таинство сна, с полуоткрытым ртом и опущенными на щеки темными ресницами. Во сне она стонала и ломала руки.

Проснувшись в полночь, она увидела в свете тлеющих углей своего мужа, крадущегося мимо кровати. Ничего не сказав, даже не взглянув на нее, он сел у камина и принялся стаскивать башмаки. Эта мирная картина вызвала у нее приступ бешеного гнева. Значит, он мо-

жет уйти, куда захочет, и делать, что ему вздумается, а потом вернуться как ни в чем не бывало? Этакий... Но гневный окрик не шел из горла, она не находила достаточно злых слов. Прошлялся три дня, она видела с кем, заставил ее столько ждать, мучиться, бродить по улицам — и вот полюбуйтесь — сидит и снимает башмаки! Она тихонько приподнялась, чтобы получше наблюдать за ним. В эту минуту она могла бы только криком облегчить душу. А он все молчал и не глядел на нее. Потом сполз с табуретки, будто хотел полезть в самый огонь. «Пусть сгорит этот...» Бранное слово вертелось на языке. Она видела, как он, скорчившись, сел на пол, слышала, как он стучит зубами, и злорадствовала. Наконец он притих. Она затаила дыхание. Спит? Неужели заснул, когда она тут лежит и все в ней кипит от возмущения? Нет, это уж слишком! Она сердито хмыкнула. Но он не посмотрел на нее, только шевельнул ногой. Из камина выпал кусок прогоревшего угля. И снова стало тихо. Она переползла на другой конец кровати и, став на корточки, свесив голову, вытянула руки. Теперь он так близко, что можно схватить его и свернуть ему шею. Мысленно она уже впивалась зубами ему в лоб и ощущала во рту вкус его крови. Но вдруг она отпрянула и, закрыв лицо руками, уткнулась в ветхое покрывало. Как дикая кошка, притаившаяся на дереве, она несколько минут оставалась неподвижна. Нестерпимая обида жгла ей сердце. Вспомнилась их первая ночь в этой комнате, его поцелуи... Что-то сжало ей горло. Бить и кусать его уже не хотелось. Она подняла голову. Он не шевелился. Ей были видны его щека и подбородок, гладкие, без растительности, как у мальчика. Ее охватил ужас. Почему вдруг стало так тихо? Дышит ли он? Она соскользнула на пол и увидела его открытые глаза, устремленные на гаснущий огонь. Запавшие щеки, бескровные губы. Но они шевелятся, нервно трясутся. Значит, жив! Только озяб и ослабел от голода, таким он уже два раза возвращался к ней. Ее лицо казалось маской — без мысли, без чувств, и только крепко прикушенная нижняя губа выдавала ее. Итак, пришел опять — и вот каким!

Последние угольки вдруг вспыхнули ярким пламенем. Он повернул к ней лицо. В свете огня его глаза

были точно такие, как у ее ребенка. Они словно просили о чем-то, жалкие, беспомощные, как и его дрожащее тело. Он что-то пробормотал, но нервная дрожь мешала ему говорить, и она слышала только лепет, похожий на лепет ее ребенка. Эти звуки растопили лед в ее сердце. Она притянула его голову к своей груди. Камин уже остыл, а она еще долго прижимала к себе мужа, плача и баюкая его, как ребенка, силясь согреть его теплом своего худенького тела.

НАСЛАЖДЕНИЕ

Однажды вечером приятель пригласил меня в театр. При поднятии занавеса сцена была совершенно пуста, и лишь длинные серые полотнища обрамляли ее, но вдруг, раздвигая широкие складки, стали соло или парами появляться танцующие дети, пока на сцену не вышла вся труппа из десяти — двенадцати человек. Это были одни девочки, не старше, должно быть, четырнадцати лет, а две-три из них никак не старше восьми. Их едва прикрывала легкая ткань, оставляя обнаженными руки и босые ноги. Волосы были распущены, серьезно улыбающиеся лица — так прелестны и радостны, что, глядя на них, вы чувствовали себя как бы перенесенными в сады гесперид, где, отрешившись от всего личного, ваш дух свободно парил в эфире. Были тут белокурые и пухленькие девочки, были темноволосые, похожие на эльфов, но все до одной казались совершенно счастливыми, танцуя поистине самозабвенно, и в них не чувствовалось никакой театральности, хотя, разумеется, они прошли самую тщательную тренировку. Они взлетали, они кружились так, словно повиновались внезапному порыву, рожденному радостью бытия, словно танец совсем и не требовал от них упорного труда на репетициях и представлениях. Вы уже не замечали ни пуантов, ни поз, ни совершенства мускульной работы — был только ритм, музыка, свет, воздух, и прежде всего было счастье. Улыбкой и любовью было проникнуто это представление, улыбкой и любовью веяло от каждого личика, от каждого целомудренного и четкого движения маленьких танцорок.

Все девочки были прелестны, но две особенно привлекли мое внимание. Первая — темноволосая и тоненькая, выше всех остальных; каждое ее движение, каждый

жест и выражение лица выражали глубокую, пламенную любовь.

В одном из танцев ей приходилось преследовать белокурую девочку, все движения которой были полны непередаваемой мягкой красоты. И преследовательница, напоминая то стрекозу, вьющуюся вокруг водяной лилии, то манящий лунный луч июньской ночью, источала магическое обаяние страсти. Темноволосая, нежная, вся — пламя, вся — томление, она обладала поразительной способностью воплощать в себе как бы само страстное желание и властвовать над сердцами. В этой томительно пылкой погоне за милым образом, ускользающим в то самое мгновение, когда вот-вот уже можно его настигнуть, как бы выражалась великая тайная сила, мятущаяся во вселенной, трагически неумная и бесмертно прекрасная.

Очаровала меня и другая девочка, самая маленькая из всех: полумесяц из белых цветов красиво венчал ее каштановые волосы, восхитительно реяла вокруг нее нежно-розовая ткань легкой туники. Трудно было поверить, что ребенок может так танцевать. Все ее существо, каждая жилка горели священным огнем движения; исполняя свое соло, она стала словно олицетворением самого танца. Все чувствовали, как Радость сошла в этот зал, всем чудились серебристые переливы Ее смеха. По театру и в самом деле пронесся тихий шелест и шепот, а затем у зрителей вырвался вдруг радостный смех восторга. Я взглянул на своего приятеля. Он украдкой смахивал что-то пальцем с ресниц. Я и сам почувствовал, что какой-то туман заслонил сцену, и все в мире казалось мне бесконечно прекрасным, словно эта танцующая маленькая чародейка зажгла его, и он вспыхнул золотым огнем.

Один бог знает, откуда почерпнула она эту силу, дарящую радость нашим черствым сердцам. Один бог знает, надолго ли сохранит она такую силу! Но эта маленькая порхающая Любовь обладала свойством, которое присуще глубоким тонам красок, музыке, ветру и солнцу и некоторым из великих произведений искусства, — властью разрушать все преграды, освобождая сердца, и затоплять их волнами наслаждения.

СОДЕРЖАНИЕ

Из сборника

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ДЕВОНА»

Человек из Девона. Перевод <i>Н. Шерешевской</i>	5
Спасение Форсайта. Перевод <i>Н. Шебеко</i>	52
Рыцарь. Перевод <i>Н. Шебеко</i>	91
Молчание. Перевод <i>Е. Лидиной</i>	126

«КОММЕНТАРИЙ»

Комментарий. Перевод <i>Л. Биндеман</i>	153
Пропащий. Перевод <i>О. Атлас</i>	160
Демос. Перевод <i>З. Масленниковой</i>	165
Старость. Перевод <i>В. Рогова</i>	171
Осторожный человек. Перевод <i>И. Гуровой</i>	177
Страх. Перевод <i>Б. Носика</i>	183
Мода. Перевод <i>И. Гуровой</i>	188
Охота. Перевод <i>И. Гуровой</i>	192
Деньги. Перевод <i>Б. Носика</i>	196
Прогресс. Перевод <i>Б. Носика</i>	206
На отдыхе. Перевод <i>В. Смирнова</i>	212
Факты. Перевод <i>Б. Носика</i>	216
Власть. Перевод <i>В. Смирнова</i>	224
Дом безмолвия. Перевод <i>Н. Дынник</i>	229
Порядок. Перевод <i>Л. Биндеман</i>	235
Мать. Перевод <i>В. Смирнова</i>	240
Благополучие. Перевод <i>М. Абкиной</i>	245
Ребенок. Перевод <i>В. Смирнова</i>	252
Справедливость. Перевод <i>В. Смирнова</i>	256
Надежда. Перевод <i>В. Смирнова</i>	262

«СМЕСЬ»

Портрет. Перевод <i>Г. Злобина</i>	269
Ловец человеков. Перевод <i>И. Воскресенского</i>	285
Заключенный. Перевод <i>М. Кан</i>	295

Мужество. Перевод <i>Н. Шебеко</i>	302
Встреча. Перевод <i>Е. Элькинд</i>	309
Стадо. Перевод <i>И. Воскресенского</i>	313
Вознаграждение. Перевод <i>Г. Журавлева</i>	318
Радость жизни. Перевод <i>М. Кан</i>	324
Vel cologe. Перевод <i>Е. Лидиной</i>	326
Паломники. Перевод <i>Е. Лидиной</i>	328
Короли. Перевод <i>И. Воскресенского</i>	330
Апофеоз. Перевод <i>М. Поповой</i>	332
Труженики. Перевод <i>Э. Масленниковой</i>	336
Мельник из Ди. Перевод <i>М. Кан</i>	340
Прощание. Перевод <i>Е. Элькинд</i>	347
Вьючное животное. Перевод <i>О. Атлас</i>	351
Бродяги. Перевод <i>А. Ильф</i>	353
Женщина. Перевод <i>Л. Завьяловой</i>	357
Чудак. Перевод <i>Ю. Жуковой</i>	362
Навсегда. Перевод <i>В. Лимановской</i>	367
Совершенство. Перевод <i>И. Воскресенского</i>	373
Выбор. Перевод <i>М. Кан</i>	379
Японская айва. Перевод <i>Г. Журавлева</i>	385
Еще раз. Перевод <i>В. Лимановской</i>	389
Наслаждение. Перевод <i>Н. Дынник</i>	397

Джон Голсуорси.
Собрание сочинений в 16 томах.
Том XI,

Иллюстрации художника
Л. Х а й л о в а.

Оформление художника
А. В а с и н а.

Технический редактор
А. Ш а г а р и н а

Подп. к печ. 1/VI 1962 г. Тираж 375 000 экз. Изд. № 1052. Зак. 1028.
Форм. бум, 84×108¹/₃₂. Бум. л. 6,25. Печ. л. 20,5+4 вкл. (0,41 печ. л.).
Уч.-изд. л. 20,07. Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина,
Москва, А-47, улица «Правды», 24.